АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XII

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1963

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, И. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов, Н. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-21, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б. 8-75-55

СОДЕРЖАНИЕ

Передовая 3
В. К. Журавлев (Минск). Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода 8

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. Георгиев (София). Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка 20
В. Г. Руделев (Оренбург). К фонологической интерпретации русского аканья 30
А. В. Исаченко (Берлин). Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения 39
С. К. Шаумян (Москва). Порождающая лингвистическая модель на базе принципа двухступенчатости 57
Н. А. Баскаков (Москва). К критике новых классификаций тюркских языков 72

Обсуждение вопросов русской орфографии

М. В. Панов (Москва). Об усовершенствовании русской орфографии . . 81

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Е. Н. Прокопович (Москва). Функции многократных бесприставочных форм глагола в русском литературном языке второй половины XIX в. 94
Н. Ф. Алиева (Москва). Соотношение словообразовательных и синтаксических функций глагольных аффиксов в индонезийском языке 103
Э. А. Макаев (Москва). Структура слова в языке древнейших рунических надписей 112

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

О. Н. Селиверстова (Москва). *G. F. Meier.* Das Zéro-Problem in der Linguistik 124
Ю. М. Скребнев (Уфа). *V. Mathesius.* Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém 128
А. Н. Кононов (Ленинград). «Историческое развитие лексики тюркских языков» 133
Г. Д. Санжеев (Москва). *St. Kałużyński.* Mongolische Elemente in der Jakutischen Sprache 141
А. С. Бархударов (Москва). *Г. А. Зограф.* Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала 144

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

И. И. Ревзин (Москва). Об одной синтаксической модели 148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Г. Ф. Благова (Москва). Координационная конференция, посвященная закономерностям развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху 151
Хроникальные заметки 157
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 163

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

Т-03340. Подписано к печати 13.III. 1963 г. Тираж 6000 экз. Зак. 1592.
Формат 70×108¹/₁₆. Печ. л. 14,04. Бум. л. 5¹/₈. Уч.-изд. листов 16,3

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

XXII съезд КПСС и принятая на нем партийная программа подчеркнули возросшую роль социальных наук в строительстве нового коммунистического общества как научной основы руководства развитием нашей страны. Вся система наук, все их отрасли — и при этом общественные науки не меньше, чем естественные,— становятся прямо и непосредственно на службу народу.

В высшей степени продуктивно и важно усиливающееся сближение и взаимодействие общественных и естественных наук. В сфере языкознания наглядные проявления этих тенденций ощутимы по разным направлениям: это расширение сферы проникновения математики в лингвистику, лингво-статистические наблюдения и обобщения, развитие теории и практики машинного перевода, устанавливающаяся связь языкознания с кибернетикой, семиотикой, математической логикой и мн. др.

В решении тех грандиозных задач, которые стоят перед нашей страной, ни одна из наук не может участвовать плодотворно и целеустремленно без глубокого и тесного взаимодействия с другими науками. Акад. Л. Ф. Ильичев в своем докладе «Научная основа руководства развитием общества. Некоторые проблемы развития общественных наук» на общем собрании Академии наук СССР 19—20 октября 1962 г. говорил: «Такая важная область культурного развития человечества, как языкознание, также обогащается естественнонаучными приемами исследования. Современная техника уже дает практические результаты в организации машинного перевода с одного языка на другой. Еще недавно считалось, что язык и различные аспекты его изучения представляют интерес лишь для лингвистов. Ныне же мы являемся свидетелями интенсивного развития прикладного языкознания» (стр. 22) [1]. Все это свидетельствует о необходимости широкой и хорошо организованной координации творческих усилий лингвистов с представителями других областей научного знания — философии, психологии, литературоведения, истории, математики, кибернетики и др.

Такое расширение фронта синтетических научно-лингвистических исследований поможет изменить саму атмосферу научной работы, преодолеть вредную привычку мыслить традиционными, иногда ставшими уже архаическими формулами, увидеть много нового даже в прежнем материале. Но самое главное — ответить на волнующие, важные вопросы жизни, сблизить свою науку с действительностью и с живыми потребностями современного общества. «В научном творчестве надо идти не от формул, а от жизни» (стр. 39). Между тем подлинно научных и плодотворных для роста советской науки и культуры дерзаний и предприятий широкого общегосударственного масштаба не так много в современном советском языкознании.

Л. Ф. Ильичев так охарактеризовал современное состояние советского языкознания: «Проведенная в 1950 г. дискуссия по вопросам языка сыграла свою роль и помогла избавиться от ряда неверных оценок языковых явлений. Однако культ личности нанес большой ущерб и языкозна-

[1] См. сб. «Строительство коммунизма и общественные науки. Материалы сессии общего собрания АН СССР 19—20 октября», М., Изд-во АН СССР, 1962.

нию. Выступление И. В. Сталина в ходе дискуссии содержало немало неверных и путаных положений, но его статьи были провозглашены новым высшим этапом в развитии советского языкознания. А тем временем предали забвению положения Маркса — Энгельса — Ленина о языке и его общественной роли.

Казалось бы, преодоление последствий культа личности в области науки, в идеологии вообще должно было вызвать коренную перестройку всей научной работы в области языкознания, вплотную приблизить лингвистические исследования к жизни.

Однако научная общественность справедливо выражает известное беспокойство, поскольку дело еще радикально не сдвинулось с места. Создается впечатление, что некоторые из языковедов испытывают теоретическую робость, стремятся уйти от постановки и решения новых теоретических проблем. Вместо того, чтобы углубленно заняться актуальными проблемами советского языкознания, изучать закономерности взаимодействия современных языков и перспективы их дальнейшего развития, наши лингвисты предпочитают исследовать языковые явления, имевшие место в весьма отдаленные от нас времена.

Необходимо перестраивать научно-исследовательскую работу в области языкознания. Основное внимание лингвистов надо направить на изучение таких проблем, как язык и общество, язык и мышление, национальные литературные языки и диалекты, развитие и взаимообогащение национальных языков, пути сближения национальных культур и языков в нашей стране, вопросы алфавитов, орфографии и терминологии в языках народов СССР и другие.

Очень важным разделом работы советских языковедов должны быть вопросы культуры речи. Как известно, органы печати опубликовали большое число писем трудящихся, справедливо упрекавших наших языковедов за их полное пренебрежение к вопросам культуры речи. Однако Отделение литературы и языка Академии наук СССР и в первую очередь Институт русского языка, где имеется специальный сектор культуры речи, пока ничего или почти ничего не сделали в этом направлении. А между тем хорошо известно, что без культуры речи нет и культуры мышления» (стр. 34).

В «Постановлении общего собрания Академии наук СССР» от 20 октября 1962 г. констатируется, что, «преодолевая элементы догматизма и схоластики, отрыв теории от практики, укоренившиеся в период культа личности, работники гуманитарных наук укрепляют связь с жизнью, обобщают исторический опыт СССР и других стран, приступают к разработке актуальных вопросов теории...». Однако в качестве основного недостатка развития всей области гуманитарных знаний указывается на то, что здесь «исследования нередко ведутся по узким, малоактуальным и случайным темам, не связанным с главными проблемами общественной жизни, с опытом коммунистического строительства и международного развития. Порой личные интересы научных работников в области гуманитарных наук преобладают над общественными».

И в этой связи отмечается отставание языкознания от растущих потребностей культуры и общественного развития: «Научная деятельность в ряде отраслей языкознания еще не отвечает требованиям жизни; слабо разрабатываются теоретические вопросы общего языкознания; не подвергнуты должной критике последствия ущерба, нанесенного советскому языкознанию культом личности Сталина; крайне недостаточна связь исследовательской работы в области филологии между отделениями литературы и языка и исторических наук Академии наук СССР».

Характерны также такие обобщения из оценки существующего поло-

жения в науке: «Организация научной работы по общественным наукам нередко отстает от организации исследований в области естественных наук. Все еще слабо применяются в гуманитарных науках точные методы научных исследований... Крайне слаба связь гуманитарных научных учреждений с учеными, работающими в области естествознания и технических наук».

Необходимы общие инструктивные советы и предложения, направленные к разным представителям гуманитарных и в первую очередь филологических наук: «Советские литературоведы и искусствоведы призваны создать работы, раскрывающие идейное и художественное богатство литературы и искусства, способные оказать благотворное влияние на идейное и эстетическое воспитание народа, особенно молодежи. Советские языковеды должны расширить и углубить исследования проблем развития и взаимообогащения национальных языков народов Советского Союза, вопросов культуры речи, орфографии русского языка, а также усилить изучение языков зарубежного Востока и Африки».

Мобилизуя кадры языковедов нашей страны на дружную творческую работу по расширению и углублению исследования актуальных лингвистических проблем, по преодолению наших недостатков и укреплению слабых мест в области лингвистической теории и практики, мы должны воспользоваться важными и ценными соображениями, которые содержатся в докладе акад. Б. Н. Пономарева «Задачи исторической науки и подготовка научно-педагогических кадров в области истории» на Всесоюзном совещании историков 18—21 декабря 1962 г. Сюда принадлежит, прежде всего, общее принципиальное положение об историзме как основе всех гуманитарных наук. «...знание истории, именно знание, а не поверхностное ознакомление, обязательно для любого серьезного специалиста, в какой бы области общественных наук он ни работал. Без знания истории не может быть ни настоящего экономиста, ни философа, ни филолога, ни искусствоведа, ни правовика» [2].

К литературоведению и языкознанию, конечно с соответствующими коррективами, а в сфере языкознания особенно к вопросу о роли русского языка как языка межнационального общения народов Советского Союза и к вопросу о процессах взаимодействия и взаимообогащения национальных языков в пределах СССР в социалистическую эпоху может быть отнесен и такой выдвигаемый Б. Н. Пономаревым принцип: «...необходимо, чтобы история отдельных республик освещалась как часть истории всей страны, в тесной связи с историей других народов нашей Родины, то есть так, как это было»[3].

Интересно и ценно такое замечание Б. Н. Пономарева: «Требование актуализации исследований, концентрации усилий на решение вопросов, диктуемых жизнью, не должно быть понято как призыв покончить с изучением отдаленного прошлого»[4].

Наконец, нельзя не считаться и с таким методическим обобщением: «Практика убедительно подтверждает плодотворность и перспективность коллективных форм работы. Именно они помогают преодолевать мелкотемность, поверхностность, эмпиризм. Дело не просто в кооперации отдельных ученых, не в собирании под одним названием различных работ,— коллективность предполагает сплочение ученых для изучения темы, для выработки общей точки зрения»[5]. Такая коллективность исследования достигается лишь при высоком научно-теоретическом уров-

[2] «Коммунист», 1963, 1, стр. 12.
[3] «Коммунист», стр. 22.
[4] «Вестник АН СССР», 1963, 2, стр. 23.
[5] «Коммунист», стр. 27.

не коллектива и при наличии крупных творческих сил; к этому идеалу необходимо стремиться.

В связи с обостренным общественным интересом к путям развития советского языкознания и с некоторой тревогой относительно состояния разработки ряда общих теоретико-лингвистических проблем (например, таких, как язык и общество, язык и мышление и др.), а также таких вопросов языковой практики, как вопросы культуры речи, вопрос об упрощении или реформе русской орфографии и т. п., Президиум Академии наук СССР на специальном заседании подверг критическому анализу деятельность наших «головных» (как их теперь иногда называют) языковедческих институтов — Института языкознания и Института русского языка — и в особом постановлении наметил те основные направления, по которым должно развиваться советское языкознание.

Согласно этому постановлению, общие задачи лингвистических институтов, имеющие большое общественное значение, должны состоять: 1) в обеспечении развития советского языкознания на основе марксистско-ленинской методологии; 2) в активном научном воздействии на все виды применения языка в современной жизни в соответствии с задачами строительства коммунизма; 3) в разработке теоретических и практических вопросов русского языка, ставшего языком межнационального общения народов СССР, и других языков; в содействии научным учреждениям советских республик в разработке проблем национальных языков.

В свете этих общих задач дана оценка состояния работы в лингвистических институтах и обозначена центральная основная проблематика советской языковедческой науки. Так, например, указывается на неудовлетворительное состояние разработки ряда проблем теоретического языкознания. «Несмотря на то, что культ личности Сталина нанес огромный ущерб советскому языкознанию, языковедческие институты Отделения литературы и языка АН СССР не сделали для себя необходимых выводов, вытекающих непосредственно из решений XX и XXII съездов КПСС о борьбе с культом личности и ликвидации его последствий».

Институтами недостаточно исследуется такая важнейшая проблема советского языкознания, как закономерности развития национальных языков в эпоху развернутого строительства коммунизма. Не уделяется должного внимания изучению русского языка как языка межнационального общения, его роли в развитии национальных языков Советского Союза.

Недостатком в деятельности Института русского языка является то, что он не оказывает должного воздействия на общественную языковую практику. В институте не поставлено широко изучение языка массовой коммуникации. Языковедческими институтами мало разрабатываются такие проблемы общего языкознания, как соотношение описательного, исторического, сравнительно-исторического и сравнительно-типологического языкознания, соотношение традиционных и новых методов лингвистического исследования (в том числе структурных, математических и других); ими не подвергнут специальному рассмотрению вопрос о характере и структуре языкознания как научной дисциплины и о месте этой дисциплины в общей системе наук; не изучаются вопросы семиотики (общей теории знаков); недостаточно исследуются проблемы структурной лингвистики и языковой типологии, а также вопрос о характере языкового знака и отношении языка к различным знаковым системам, о языковых и внеязыковых факторах в функционировании и развитии языка; мало продвигается вперед разработка общей теории грамматики, теории лексикологии и семасиологии. Недостаточно анализируются философские (гносеологические) корни современных буржуазных концепций в языко-

знании. Работа в области культуры речи в Институте русского языка носит узкий характер, не организована «служба языка», отсутствует широкий контакт с работниками печати, школы, радио, телевидения и пр.

В связи с этим Президиум Академии наук СССР предлагает считать первоочередной задачей лингвистических исследований творческую разработку теоретических вопросов языкознания на основе марксистско-ленинской методологии в свете решений XXII съезда партии и Программы КПСС, предлагает подготовить ряд работ по актуальным вопросам современного языкознания (язык и общество, язык и история, язык и мышление, национально-языковые вопросы, проблемы языка и школы и др.) на основе марксистско-ленинской методологии в свете решений партийных съездов и ЦК КПСС.

Рекомендуется лингвистическим институтам Академии наук развернуть исследовательскую работу в первую очередь над следующими вопросами советского языкознания: а) язык и общество; национальные литературные языки и диалекты; развитие и взаимообогащение национальных языков в СССР; пути сближения национальных культур и языков в СССР: вопросы нормирования языков и культуры речи; общая теория письменности; б) язык и мышление; построение научной терминологии и роль терминов в научном мышлении; общая семасиология; соотношение языка с различными видами знаковых структур в обществе (семиология); в) сравнительно-типологические исследования в области фонологии, морфологии, синтаксиса и семантики; г) проблема метода в языкознании; традиционные и новые (структурные, математические) методы, а также технические приемы лингвистического исследования; методы лингвистического исследования с применением машинной техники: звукоанализирующие и звукосинтезирующие устройства, счетно-решающие установки; применение математики, математической логики, теоретической акустики и других научных дисциплин.

Важно также расширить работу по изучению грамматического строя русского языка, стилистики и культуры речи, а также по языку советской художественной литературы, по орфографии и пунктуации; активизировать работу по созданию на высоком научном уровне учебников и пособий для высшей и средней школы, принять меры для коренного улучшения работы сектора современного русского языка и культуры речи; сектор должен быть превращен в научный центр по наблюдению над современной устной и письменной речью, по изучению живых процессов современного русского языка в области грамматики, лексики, стилистики и языка советской художественной литературы, по разработке рекомендаций для практики.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

В. К. ЖУРАВЛЕВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОКАЛИЗМА В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА

Изофона рефлексов праславянского * *ě*, как заметил еще в 1929 г. Т. Лер-Сплавинский [1], полностью совпадает с изофоной рефлексов праславянских носовых: там, где на месте праславянского * *ǫ* наблюдается *u*, в качестве рефлексов праславянского * *ě* представлены гласные, легко возводимые к «узкому» *ê*. Наоборот, где рефлексы *ě* возводятся к «широкому» *ä*, нет регулярного перехода *ǫ* → *u*, деназализация вообще задерживается (польский и болгарский языки). Это замечательное наблюдение теперь почти забыто, несмотря на возросший интерес к различным общеславянским изофонам в связи с начавшейся работой над общеславянским лингвистическим атласом. Замеченный факт до сих пор не получил никакого объяснения, если не считать тогда же высказанного Лером-Сплавинским предположения о тенденции к суженной артикуляции *ě* и *ǫ* у всех славян, кроме ляхитов, болгар и словенцев, сохранивших былую широкую артикуляцию [2]. Но и это беглое замечание Лера-Сплавинского ни им самим, ни кем-либо другим далее не разрабатывалось. Настоящая работа посвящена проблеме генезиса данной изофоны в связи с некоторыми общими вопросами развития праславянского вокализма (праславянские дублеты *ǫ*: *u*, дифтонгическое или монофтонгическое качество праславянского *ě*, «широкое» или «узкое» *ě*, *ê* или *ä* и некоторые другие).

Система вокализма в период, непосредственно предшествовавший процессу монофтонгизации дифтонгов, т. е. в период до появления носовых и *ě*, имела такой вид:

$$\breve{\bar{I}} \qquad \breve{\imath} \,/\, \breve{y}$$

или

$$\breve{\bar{A}} \qquad \breve{e} \,/\, \breve{a}$$

В этой системе [3], линейной по своей структуре, дифференциальные признаки (ДП) количества и подъема являются релевантными, а тембровые различия (передний — задний ряд) составляют нерелевантный признак; $\breve{\imath}$ и $\breve{y}$, $\breve{e}$ и $\breve{a}$ выступают в качестве диезных — недиезных (передний

---

[1] См. сб. «Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego», Warszawa, 1957, стр. 168—173 и 207—214.

[2] Там же, стр. 173. О какой-либо общей тенденции к сужению артикуляции гласных, об антропофоническом объяснении в стиле Б. Каллемана (B. Calleman, Zu den Haupttendenzen der urslavischen und altrussischen Lautentwicklung, Uppsala, 1950) здесь не может быть и речи, так как именно там, где наблюдается сужение *ǫ* (→ *u*), часто находим «расширение» *ę* (→ *ą̈* → *ä* → *'a*).

[3] Систему вокализма из двух гласных, качественно отличавшихся друг от друга по подъему и входивших в «фонологические соотношения по признакам тембра и количества», предполагает и В. Ф. Марешн (см. его работу «Фонологическая система праславянского языка и ее развитие в отдельных славянских языках», «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II, М., 1962, стр. 297).

ряд — задний ряд) вариантов соответственно в диезной или недиезной группо-фонеме (ГФ) [4].

$\bar{I}$ и $\check{I}$, $\bar{A}$ и $\check{A}$ различаются лишь признаком долготы, $\bar{\imath}$ и $\bar{y}$ различаются лишь признаком диезности (как и $\check{\imath} : \check{y}$, $\check{e} : \check{a}$, $\bar{e} : \bar{a}$). В качестве основных фонологических единиц здесь выступают ГФ, ибо ни гласные (V), ни согласные (C) нигде не выступают самостоятельно, но лишь в сочетании друг с другом ($C + V$); признак диезности (D) является релевантным только для целых ГФ, но не для гласных и согласных в отдельности (согласные выступают в диезном — недиезном варианте лишь в соответствующих ГФ).

В результате процесса монофтонгизации дифтонгов претерпела существенные преобразования не только система вокализма (добавились новые гласные: $\check{e}$, i_2, u, ϱ, q, новые дифференциальные признаки: лабиальность, назальность), но и вся фонологическая система в целом. До монофтонгизации дифтонгов ГФ с дифтонгами $ei : ai$ были противопоставлены так же, как и ГФ с монофтонгами $\breve{\bar{e}} : \breve{\bar{a}}$, т. е. по ДП диезности. А именно:

$$\widehat{'Cei} : \widehat{Cai} = \widehat{'C\breve{\bar{e}}} : \widehat{C\breve{\bar{a}}}.$$

Другими словами, как $\bar{e}/\bar{a}$ (и $\check{e}/\check{a}$) представляют одну фонологическую единицу, так и ei/ai представляют одну фонологическую единицу $\widehat{AI}$, существующую в диезном и недиезном вариантах $\widehat{ei}$ и $\widehat{ai}$. В ГФ с $\widehat{ei}$ согласный выступал в диезном варианте ($\widehat{'Cei} = C' + \widehat{ei}$), а в ГФ с $\widehat{ai}$ согласный был недиезным.

Если в результате монофтонгизации дифтонга $\widehat{ei}$ получается $\bar{\imath}_2$, то и в результате монофтонгизации дифтонга $\widehat{ai}$ должен быть звук т о г о ж е п о д ъ е м а, что и $\bar{\imath}_2$; таковым может быть лишь закрытое $\hat{e}$. Различие между ними лишь в том, что перед $\bar{\imath}_2$ возможен только согласный диезный (смягченный), а перед $\hat{e}$ — не смягченный (т. е. такое же различие, которое существовало ранее для $\breve{\bar{e}}$ и $\breve{\bar{a}}$, для $\breve{\bar{\imath}}$ и $\breve{\bar{y}}$). Иными словами, если верна пропорция

$$\widehat{'C\breve{\bar{e}}} : \widehat{C\breve{\bar{a}}} = \widehat{'Cei} : \widehat{Cai},$$

то должна быть верна и пропорция

$$\widehat{'C\breve{\bar{e}}} : \widehat{C\breve{\bar{a}}} = \widehat{'Ci_2} : \widehat{C\hat{e}}.$$

Но так как в ГФ $\widehat{C\breve{\bar{a}}}$ согласный недиезный, то и в сочетании $C + \hat{e}$ согласный недиезный [5], поскольку сочетание $C + \hat{e}$ является прямым наследником недиезной ГФ $\widehat{Cai}$, где согласный был несмягченным.

В данном случае имеет место обычное явление диахронической фонологии — «сохранение полезного противопоставления». Противопоставление диезная — недиезная ГФ $\widehat{'Cei} : \widehat{Cai}$ сохранилось и на новом этапе — $C'i_2 : C\hat{e}$. Однако если на первом этапе носителем ДП диезности была целая группа $\widehat{'Cei}$ как $\widehat{'C\breve{\bar{e}}}$, то теперь этот ДП различает консонантные части сегментов $C' : C$. Отличие новой группы $C\hat{e}$ от всех других заключалось

[4] См. В. К. Ж у р а в л е в, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1961, 4.

[5] Различие между $\check{e} < oi$, с одной стороны, и $i < ei$, $\bar{\check{e}}$ (долгое, очень открытое $\bar{e}$), с другой, А. М е й е видит именно в том, что «приступ старого oi... п е р в о н а ч а л ь н о н е д о п у с к а л „й о т а ц и и “(разрядка моя.— *В. Ж.*) («Общеславянский язык», М., 1951, стр. 48), в то время как «$\check{e}$(< $\bar{e}$) было сильно „йотировано“» (там же, стр. 39).

в том, что после недиезного согласного оказалась диезная гласная (гласная переднего ряда). Если раньше ДП диезность был общим для целой группы, был цементирующим ДП в системе ГФ, то теперь ДП диезность стал характеризовать отдельно вокальную и консонантную части прежних ГФ. Здесь можно видеть начало распада ГФ как минимальных фонологических единиц, начало формирования гласных и согласных фонем; появилась возможность сочетания недиезных согласных с диезными гласными. Типологически аналогичную картину представляют те говоры украинского языка, в которых перед $i<o$ отсутствует смягчение предшествующих согласных и сохраняется прежнее различие диезной — недиезной: **носъ** : **несъ** = *ніс* : *н'ік*.

Свидетельством того, что *ѣ* дифтонгического происхождения имело некогда такую же дистрибуцию, как и гласные заднего ряда, может послужить сопоставление падежных флексий так называемого мягкого и твердого вариантов склонений в старославянском языке:

«Мягкий» — ѣ е и ѧ и
«Твердый» — ъ о ѣ ы ъ

Из сопоставления видно, что ѣ дифтонгического происхождения в определенных условиях входит в ту же категорию, что и гласные заднего ряда. Если их не может объединять ДП диезности, то мог бы объединить в одну категорию факт отсутствия смягчения предшествующей согласной.

Новый гласный $i_2/\hat{e}$ ($\hat{E}$) в системе вокализма, состоявшей до этого из четырех единиц, занимает место м е ж д у $\bar{I}$ и $\bar{A}$:

$$\begin{matrix}\bar{I}\\ \hat{E}\\ \bar{A}\end{matrix}\quad\begin{matrix}\breve{I}\\ \breve{A}\end{matrix}\quad\text{или}\quad\begin{matrix}\bar{\imath}/\bar{y}\\ i_2/\hat{e}\\ \bar{e}/\bar{a}\end{matrix}\quad\begin{matrix}\breve{\imath}/\breve{y}\\ \\ \breve{e}/\breve{a}.\end{matrix}$$

Гласный $\hat{E}$, по происхождению двухморный, не мог встать в один ряд с краткими гласными и занял место среди долгих, отличаясь от них только степенью подъема. Если $\bar{I}$ — верхнего, а $\bar{A}$ — нижнего подъема, то, чтобы не совпасть с ними, $\hat{E}$ может быть лишь среднего; он как бы раздвинул $\bar{A}$ и $\bar{I}$, которые теперь должны стать соответственно более открытым и более закрытым. У $\breve{I}$ и $\breve{A}$ не было соответствующих условий для соответствующего изменения, они сохраняли прежнюю степень открытости и закрытости.

Здесь можно видеть первый шаг к качественному различию гласных, ранее различавшихся лишь количественно. Теперь $\bar{I}:\breve{I}$ и $\bar{A}:\breve{A}$ различаются не только по ДП долготы, но и по степени открытости. Новые члены системы вокализма *ę/ą*, *u* также заняли место в системе долгих гласных, отличаясь от других гласных посредством ДП назальности (*ę/ą*) или ДП лабиальности (*u*). Их дистрибуцию можно представить на следующей таблице:

После диезных ($+D$)	—, $\bar{\imath}$, i_2, $\bar{e}$, *ę*, $\breve{\imath}$, $\breve{e}$
После нейтральных по ДП диезности ($\pm D$)	*u*, $\bar{\imath}$, i_2, $\bar{e}$, *ę*, $\breve{\imath}$, $\breve{e}$
После недиезных ($-D$)	*u*, $\bar{y}$, $\hat{e}$, $\bar{a}$, *ą*, $\breve{y}$, $\breve{a}$

Монофтонгизация дифтонгов и появление не свойственных для структуры ГФ сочетаний [недиезный согласный + диезный гласный, диезный согласный + бемольный (лабиализованный) гласный] [6] послужили началом распада ГФ и формирования гласных и согласных фонем как ми-

[6] Диезный согласный перед *u* (< *eu*) переводился в нейтральный.

нимальных фонологических единиц [7]. Система вокализма после монофтонгизации дифтонгов может быть представлена таким образом:

$\bar{\imath}$	$\bar{y}$	u		
$i_2/\hat{e}$			$\check{\imath}$	$\check{y}$
ϱ	ϱ		$\check{e}$	$\check{a}$
$\bar{e}$	$\bar{a}$			

Эта система не была фонологически однородной и устойчивой. Не все ее члены были включены в корреляции и пучки: здесь было большое количество пустых клеток, были изолированные противопоставления (для u и $i_2/\hat{e}$); другими словами, система была асимметричной [8]. Известно, что тенденция к фонологической симметрии является одной из определяющих в фонологических процессах. Следовательно, ожидается целая серия изменений данной системы.

Как видно из таблицы, i_2 и $\hat{e}$ оказались в одной клетке. Для ликвидации этого положения существовали три возможности: 1) совпадение i_2 и $\hat{e}$, 2) совпадение i_2 и i, 3) совпадение $\hat{e}$ и y. При этом i_2 и $\bar{\imath}$ ($< * \bar{\imath}$) имели одинаковую дистрибуцию, так же как $\bar{y}$ и $\hat{e}$.

Для реализации первой возможности в качестве препятствия выступает различие в дистрибуции (перед i_2 смягченный согласный, перед $\hat{e}$ — твердый). Для реализации второй и третьей возможностей препятствием служит различие в подъеме, а для третьей возможности, кроме того, и различие по ДП диезности гласных ($\bar{y}$ — заднего, $\hat{e}$ — переднего ряда). Возможности, следовательно, не являются равновеликими. Наибольшую вероятность реализации имеет, очевидно, вторая возможность. И действительно, $\bar{\imath}$ и i_2 совпали. В исторический период жизни славянских языков, как известно, различия между прежними $\bar{\imath}$ ($<\bar{\imath}$) и i_2 ($< ei$) не наблюдается.

В некоторых категориях представлены результаты реализации первой возможности (совпадение i_2 и $\hat{e}$ в i_2 с дальнейшим переходом в i) [9]. Ср. ст.-слав. **плоди** ($<* plŏdăi$), **бери** ($<* bĕrăis$). Вполне вероятной реализацией третьей возможности ($\hat{e} \rightarrow y$) представляется случай с флексией **-ы** твор. падежа мн. числа прежних основ на *-o*. Ср.: **вльі**, литов. *vilkaĩs*, санскр. *vṛ́kaiḥ*, греч. λύκοις и т. д.

После совпадения i_2 с $\bar{\imath}$ система вокализма приняла такой вид[10]:

i	y	u		
$\hat{e}$			$\check{\imath}$	$\check{y}$
ϱ	ϱ		$\check{e}$	$\check{a}$
$\ddot{a}$	$\bar{a}$			

Включение в систему долгих гласных трех новых членов как бы раздвинуло прежнюю двухподъемную систему, сделав $\bar{a}$ и $\bar{e}$ более широкими; при этом отношения между прежними $\bar{e} : \check{e}$ заменились отношениями $\ddot{a} : e$. Отношения же $\bar{e} : \bar{a}$ сохранились: они остались на одном уровне подъема (самый нижний). Изменились отношения $\bar{\imath} : \check{\imath}$. Теперь $\bar{\imath}$ включает в себя, кроме $\bar{\imath}$, противопоставленного $\check{\imath}$, еще и i_2, не входившее в корреляцию

[7] Ср. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 39.

[8] Впервые на асимметричность праславянской системы вокализма после монофтонгизации дифтонгов обратил внимание Н. Ван-Вейк («К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода», «Slavia», XIX, 3—4, 1950, стр. 303).

[9] Выбор i_2 или $\hat{e}$ на месте $*oi$, как показал Милевский, не зависит от качества интонации, но определяется морфологическим фактором (T. Milewski, Rozwój fonetyczny wygłosu prasłowiańskiego, «Slavia», XI, 1, 1932, стр. 21 и сл.; ср. J. Otrębski, Przyczynki słowiańsko-litewskie, Wilno, 1930, стр. 1 и сл.).

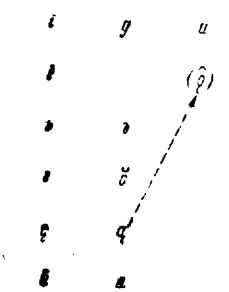
[10] Аналогичную систему дает Н. Ван-Вейк («К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода», стр. 312).

долготы — краткости. Кроме того, теперь $\bar{\imath} : \check{\imath}$ различает не только долгота — краткость, но и подъем, поскольку $\bar{\imath}$ стал более высокого подъема в связи с тем, что между $\bar{\imath}$ и $\ddot{a}$ теперь находятся две единицы ($\hat{e}$ и ϱ); отношения же между $\check{\imath}$ и $\check{e}$ сохранились прежними. Следовательно, в новой системе отношения $\bar{\imath} : \check{\imath}$ заменились отношениями $i : ь$. Вслед за тем и отношения $\bar{y} : \check{y}$ заменились отношениями $y : ъ$. Аналогичным образом и в отношении $\bar{a} : \check{a}$ возникло различие по подъему: $\bar{a}$ стал гласным более низкого подъема, чем $\check{a}$.

Как видно из таблицы, новая система вокализма обогатилась новым ДП — ДП лабиализации, носителем которого был u. На пересечении ДП лабиализация — средне-верхний подъем в системе была пустая клетка для лабиализованного закрытого $\hat{o}$. Ближайшим членом системы, который мог бы заполнить эту лакуну, был ϱ, в результате чего возникла тенденция к изменению $\varrho \rightarrow \hat{\varrho}$.

Видимо, одновременно с этим шел еще один процесс, имевший исключительно важные последствия для славянского вокализма. Как уже отмечалось, перед $\hat{e}$ сохранялся несмягченный согласный ($C\hat{e}$), перед $\ddot{a}$ же — смягченный (диезный) согласный, так как сочетание $C' + \ddot{a}$ было прямым продолжением диезной ГФ $'\widehat{C\bar{e}}$, где каждый элемент сегмента был диезным. Сочетания $C' + \ddot{a}$ и $C + \hat{e}$ коренным образом отличались от других сочетаний согласного с гласным (например, $C + a$ или $C' + i$): если в сочетаниях $C + a$ на всем протяжении сегмента сохранялся широкий резонатор, а в сочетании $C' + i$ — узкий, то в сегментах $C'\ddot{a}$ и $C\hat{e}$ резонатор изменялся от узкого к широкому ($C' + \ddot{a}$) или от широкого к узкому ($C + \hat{e}$). Сегменты $C'\ddot{a}$ и $C\hat{e}$, следовательно, отличались друг от друга лишь последовательностью смены резонаторов (узкий — широкий). Ни в фонологической системе прежнего состояния, ни в фонологической системе данного синхронного среза не было другого случая, где последовательность ДП имела бы различительную функцию. Сегменты $C'\ddot{a}$ и $C\hat{e}$ должны были совпасть и не различаться.

Для данного синхронного среза систему вокализма можно представить так:



В связи с тем, что количественные различия между $\bar{\imath} : \check{\imath}$, $\bar{e} : \check{e}$ и т. д. трансформировались в качественные, ДП долготы утратил свою фонологическую актуальность[11]; утратило актуальность и наличие двух систем (долгие — краткие). Образовалась единая система вокализма.

Две подсистемы вокализма не могли сохраняться еще и потому, что

[11] К данному периоду прежнее различие по долготе имело для фонологической системы не большее значение, чем различие в длительности звучания глухих и звонких согласных в современных славянских языках (ср.: H. K o n e c z n a, Studium eksperymentalne artykulacji głosek polskich, «Prace filologiczne», XVI, 1934, стр. 119—122; A. F u r d a l, Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego, Wrocław, 1960, стр. 38, 45 и примеч. стр. 46), и держалось главным образом на

такая система имела бы весьма значительное число «пустых клеток», особенно в системе кратких гласных. Ср. таблицу (нулем обозначены «пустые клетки»):

i	*y*	*u*	ø	ø	ø
ê	ø	ø	*ĭ*	*ў*	ø
ę	*ǫ*	ø	*ě*	*ă*	ø
ä	*a*	ø	ø	ø	ø

Образование единой системы не только сократило количество возможных «пустых клеток», но и содействовало развитию тенденции увеличения качественных различий между прежними долгими и краткими.

Гласный *ă*, отличавшийся от прежнего *ā* к моменту включения в общую систему по признаку подъема (подобно *ĕ* : *ē* → *e* : *ä*), получил возможность увеличить различие путем занятия «пустой клетки» в серии губных. Действительно, все славянские языки свидетельствуют об относительно позднем переходе *ă* → *ŏ*[12].

Переход *ă* → *o* связан с общей тенденцией увеличения качественного различия между фонемами, выступавшими в предшествующем состоянии фонологической системы вариантами единой фонемы *ĕ*/*ă*, что выражалось в увеличении «зоны безопасности»[13]. Этот переход увеличил различия между *ĕ* и *ă* : *ă* перешло теперь в более задний ряд. С появлением в системе серии губных как новой серии гласных заднего ряда гласные серии *y*, *a*, *ъ* по существу превратились в гласные среднего ряда. Прежний *ă* перешел в серию гласных заднего ряда. Вполне вероятно, что переход *ă* → *o* затронул первоначально не всякое *ă*, но только *ă*, находившееся под интонацией циркумфлекса[14].

В связи с объединением в единую систему прежних кратких и долгих гласных вокализм по признаку раствора (полнозвучности) стал, если не считать пару носовых, пятиступенчатым. По свидетельству Н. С. Трубецкого, пятиступенчатый вокализм встречается чрезвычайно редко[15]. В данной системе праславянского языка по признаку раствора (подъема), кроме *ę*, различались три единицы класса *e* : *ä*, *e*, *ê*. Естественно, что такая система должна была упроститься, три единицы должны были быть сведены по крайней мере к двум. Здесь было три возможности: 1) совпадение *ä* и *e*; тогда сохранялось бы противопоставление *ä* : *ê* или *e* : *ê*; 2) совпадение *e* и *ê*; тогда различалось бы *ä* : *ê* или *ä* : *e*; 3) совпадение *ä* и *ê*; тогда различалось бы *ä* : *e* или *e* : *ê*.

Эти возможности не являются равновеликими: *ä* и *e* (первая возможность) и *e* и *ê* (вторая возможность) разграничивались еще по прежнему признаку долготы[16], а *ê* и *ä* (третья возможность) — только по подъему.

интонации (K. Horálek, Úvod do studia slovanských jazyků, Praha, 1955, стр. 122). Одним из толчков к дефонологизации ДП долготы, кроме случаев, указанных выше, послужило наличие долгих *u*, *i*₂/*ê*, *ę*/*ǫ*, не противопоставленных кратким.

[12] Ср.: T. Milewski, O powstaniu prasłowiańskich samogłosek nosowych, «Rocznik slawistyczny», X, 1931 стр. 82; F. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj..., «Slavia», XXV, 1956, стр. 445—449. Относительно хронологии *ă* → *ŏ* см.: P. Kretschmer, Die slavische Vertretung von idg. *o*, AfSlPh, XXVII, 2, 1905, стр. 228—270; E. Schwarz, Zur Chronologie von asl. *a* → *o*, AfSlPh, XLI, 1—2, 1927, стр. 124—136.

[13] См. А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 70—71.

[14] Ср. замечания Ф. Рамовша в рецензии на статью Э. Шварца [«Južnoslovenski filolog» (JФ), VII, 1927/1928, стр. 246—247].

[15] См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 125.

[16] ДП долготы после слияния долгих и кратких в одну систему из дифференциального стал лишь интегральным признаком. Здесь, видимо, можно было бы применить понятия дифферентора и дифферентоида С. К. Шаумяна. Однако уточнения этих понятий для диахронической фонологии могут быть сделаны лишь в специальной статье.

Естественно, реализация третьей возможности была более вероятной. Как уже отмечалось, сочетания согласных с *ä* и *ê* различались лишь последовательностью дифференциального признака, что было своеобразным исключением из системы. Это должно было способствовать совпадению сегментов *C'ä* и *Cê*, что еще более увеличило вероятность реализации третьей возможности. При совпадении сегментов *C'ä* и *Cê* могло быть четыре возможности:

Генерализация	*ê*	*ä*
C'	1) *C'ê*	3) *C'ä*
C	2) *Cê*	4) *Cä*

Иными словами, сегменты *C'ä* и *Cê* должны были совпасть либо в *C'ä* (3), либо в *Cê* (2); однако в связи с тем, что к тому времени согласные и гласные обрели относительную самостоятельность, кроме этих двух вариантов, являющихся непосредственным продолжением прежних $\widehat{'Ce}$ и $\widehat{Cai}$, появились два новых варианта с иными показателями диезности — недиезности у предшествующего согласного: у *C'ä* — *Cä* (4), у *Cê* — *C'ê* (1).

Если бы ко времени действия данного процесса в качестве минимальных единиц сохранялись ГФ, то при совпадении сегментов *C'ä* и *Cê* (они равны ГФ) генерализовался бы один из этих вариантов — *C'ä* или *Cê*. Но так как к тому времени гласные и согласные обрели относительную самостоятельность, то генерализовались отдельно согласные (*C'* или *C*) и гласные (*ê* или *ä*) фонемы. В связи с этим вместо двух имеются четыре равновеликие возможности (реализация любой из них имеет одинаковую вероятность). Может быть, правда, незначительное предпочтение на начальном этапе отдавалось *C'ä* и *Cê*.

Реализацию первой возможности (*C'* + *ê*) наблюдаем, например, в диалектах, легших в основу русского языка. Здесь как на месте прежнего *ä* (<*ē*), так и на месте *ê* (<*ai*) находим рефлексы, легко возводимые к *ê* (по говорам: *e*, *i*, *ê* или $\widehat{ie}$), а в древнерусских памятниках письменности на месте обоих звуков находим знак **ѣ**. Согласный перед этим единым звуком *ě* (**ѣ**), по единогласному свидетельству русских говоров, был диезным.

Реализацию второй возможности (*C* + *ê*) можно видеть в диалектах, легших в основу сербскохорватского языка. В древних памятниках сербской письменности на месте *ě* (<*ê*<*oi* и <*ä*<*ē*) находим букву **ѣ**: **млѣко**, **хлѣбъ**, **звѣзда** и т. д. В отличие от памятников старославянского языка, где данные графики и орфографии свидетельствуют о том, что на месте *ě* произносился широкий (типа *ä*) звук, в памятниках сербского языка сравнительно рано (не позже начала XIII в.) наблюдается смешение знаков не для *a* и *ě*, а для *e* и *ě*. По свидетельству И. Поповича, к XIII в. *ě* был узким, и уже шел процесс слияния его с *i* или *e* или образования сочетаний *ije*, *je*[17]. Современные диалектные рефлексы *ě* легко возводятся к *é* узкому: *i*, *ije*, *je*, *ê*, *e*.

Важным свидетельством того, что некогда на месте *ě* был звук узкий, является различие рефлексов в зависимости от долготы — краткости слога: *e/je*, *ije/e*, *ije/i*, *i/je*, *i/e*, а также морфологизованное или лексикализованное различие *e/i* в одной и той же фонологической системе. Не-

[17] И. Поповић, Историја српскохрватског језика, Нови Сад, 1955, стр. 92—94.

смотря на свидетельство диалектологии об узком *ê*, следы широкого *ä* (о них см. ниже) заставили некоторых лингвистов сделать предположение о том, что стадии *ê* предшествовала стадия *ä*, который подвергся сужению[18], проделав путь *ä* → *eä* → *êä* → *ê* (в транскрипции П. Ивича *e͡ä*). Попытка П. Скока отрицать монофтонгическое *ê* и даже *ä*, выводить диалектные рефлексы *ie*, *ije* непосредственно из дифтонга *i͡a*[19] была подвержена справедливой критике Н. Ван-Вейком[20]. Недиезность согласного перед *ê* подтверждается отсутствием категории твердости — мягкости в современном сербскохорватском языке. *C* + *ê* могло генерализоваться на все случаи сочетаний *C* + *'V*.

Возможность третья (*C'* + *ä*), очевидно, реализовалась в диалектах, легших в основу польского языка. Данные диалектов и истории польского языка позволяют восстановить широкое *ä* на месте этимологического *ě*, перед которым находился диезный согласный.

И, наконец, четвертая возможность (*C* + *ä*), видимо, реализовалась в тех праславянских диалектах, которые легли в основу будущих западноболгарских и большей части македонских диалектов. В том, что произношение *ě* как *ä* было, по-видимому, общеболгарским, кажется, сейчас никто не сомневается. Рефлексы прежнего ѣ в болгарских диалектах (*ä* — по транскрипции С. Стойкова) — *ê*, *e/'a*, *'a*, *ä* — легко возводятся к широкому *ä*. Особый интерес представляют случаи, когда при обычном *e* в некоторых позициях выступает *a* (односложные слова, конец слова и т. д.).

Что касается мягкости (диезности) согласного перед *ä*, то, видимо, праславянские говоры, легшие в основу болгарско-македонской группы, не были едиными. Прямых свидетельств о мягкости или твердости согласного перед гласными переднего ряда нет. О реализации варианта *Cä* или *C'ä* (так же, как и для *C'ê* или *Cê*) можно судить лишь по данным современных диалектов. До появления *ê* (<*ai*) праславянская система не имела сочетаний, в которых недиезный согласный стоял бы перед гласным переднего ряда. Эти сочетания можно рассматривать как генерализацию той модели, которую впервые представили сочетания *C* + *ê* (<*Cai*). Правда, для некоторых диалектов в качестве исходной модели для *C* + *'V* могла служить и модель *C* + *ə*, где *ə* — гласный переднего ряда, в котором совпали прежние ъ и ъ (<*ĭ*, *ŭ*). Однако для болгаро-македонской группы последняя модель не могла играть сколько-нибудь существенную роль, так как здесь почти повсеместно[21] старая корреляция ь : ъ так или иначе сохраняется внутри системы вокализма или консонантизма.

---

[18] См. П. И в и ч, Основные пути развития сербскохорватского вокализма, ВЯ, 1958, 1, стр. 5—7. Наличие широкого *ä* в языке предков сербов, хорват и словенцев признает и Ф. С л а в с к и й («Ugrupowanie języków południowosłowiańskich», BPTJ, XIV, 1955, стр. 106—107).

[19] P. S k o k, Iz slovenačke toponomastike, «Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino», VIII, 1931, стр. 118—123. Эту же идею о дифтонгическом (*i͡a*) произношении *ě* на всей территории южнославянских языков он отстаивал в своей рецензии на книгу С. Младенова «Geschichte der bulgarische Sprache» (см. P. S k o k, Bugarski jezik u svetlosti balkanistike, JФ, XII, 1933, стр. 96—99). Гипотезу П. Скока поддержал М. Малецкий (см. M. M a ł e c k i, Još o razvoju *ě* → *a* u srpskohorvatskom jeziku, JФ, XI, 1931, стр. 217—219). К дальнейшему обоснованию своей гипотезы П. Скок вернулся в 1948 г. (см. его «Novi primjeri za *ě* → *ia*», «Rad JAZU», knj. 272, Zagreb, 1948, стр. 34—38). Ср. также J. J u r a n č i č, Južnoslovanski jeziki, Ljubljana, 1957, стр. 47—48 (о *ě* → *i͡ä* у всех южных славян).

[20] N. v a n W i j k, Les langues slaves du sud, «Le monde slave», XIV, 4, 1937, стр. 78.

[21] Совпадение ъ и ь наблюдается, например, в части юго-западных говоров (см. С т. С т о й к о в, Българска диалектология, София, 1954, стр 88 и сл.).

В северо-восточных диалектах, безусловно, перед *ä*<*ě* согласный был диезным; там реализовалась третья возможность *C'* + *ä* (как в польском языке). Иначе трудно было бы объяснить мягкость перед *a*<*ě* : *б'ал*, *л'ап*, *мл'ако* и т. п. В западных говорах, в отличие от восточных, по существу нет корреляции твердости — мягкости согласных.

На различия в области корреляции твердых и мягких согласных для западных и восточных болгарских диалектов обратили внимание Н. Ван-Вейк, Р. Якобсон и К. Горалек. Следует согласиться с Л. Э. Калнынь, настаивающей на том, что в западных и восточных болгарских говорах развитие категории мягкости — твердости шло различными путями[22]. Представляется, что в качестве исходного пункта такого различия следует принять реализацию третьей возможности (*C'* + *ä*) в восточноболгарских говорах и четвертой (*C* + *ä*) — в западных.

Следует заметить, что процесс совпадения *ä* и *ê*, шедший в связи с совпадением сегментов *C'ä* и *Cê*, не мог осуществляться в позиции после палатальных согласных и *j*. Оппозиции *ä* : *ê* после непалатальных согласных соответствовала оппозиция *ä* : *i* в позиции после палатальных, в которой вообще не было *ê*. Следовательно, совпадения *ä* и *ê* здесь быть не могло. Вот почему в славянских языках, где обычно выступает на месте *ě* рефлекс, легко возводимый к узкому *ê*, в позиции после палатальных и *j* выступает как будто рефлекс широкого *ä*. Ср., например, русск. *кричать*, *час*, *жар*, *стоять*, *мешать* и т. д. Здесь сохраняется прежний рефлекс *ä* (<*ē*), который позже, уже в диалектах праславянского языка и на различных этапах развития отдельных славянских языков, совпадает с *a* при ликвидации *ä* как самостоятельной единицы. На поздний характер описываемого явления указывает: 1) употребление буквы ѣ вместо ожидаемой ꙗ после шипящих и других палатальных в древнейших старославянских и среднеболгарских памятниках[23]; в Боянском евангелии последовательно пишется **шѣ**, **жѣ**, **чѣ**, в Хиландарских листках — **погоублѣ-** и т. д.; 2) литов. *ẽ* в древнейших заимствованиях из др.-русск. *čẽsas*< <*часъ*, *čẽrai*<*чары*, *šẽstiti* *шастать*; ср. также фин. *sääli*<*жаль*; 3) в тех диалектах, где сохранился *ä* как рефлекс *ě*, нет перехода *ä* → *a* после шипящих (болг. *бäл*, *лäп*, *млäко* и *жäба*, *кричäше*)[24].

Если процесс образования узкого *ê* или широкого *ä* на месте *ě* в праславянских диалектах не является чисто фонетическим процессом «сужения» или «расширения», как это до сих пор считалось, а лишь субституцией сегментов *Cê* и *C'ä*, то можно предполагать, что в некоторых лексемах или категориях этой субституции не произошло или произошла субституция обратного характера (например, при генерализации *ê* кое-где остается *ä* или даже прежнее *ê* заменяется через *ä*). Такого рода случаи, действительно, имеют место в славянских языках. Ср.: русск. *прямой* — ст.-слав. **прѣм-**; *всякий* — ст.-слав. **вьсѣкъ**; *деревянный* — ст.-слав. **дрьвѣнъ**; *славянин* —ст.-слав. **словѣнинъ** и т. п. Аналогичные случаи находим и в сербскохорватском языке[25] : сербское диалектное *prásunje* при икавском *prísunje*, экавском *presonje* (< **perd* + *sỹln-*)[26]; диал. *njåzlȍ* при

[22] Л. Э. Калнынь, Развитие категории твердых и мягких согласных фонем в славянских языках. М., 1961, стр. 25—29, 116—123.

[23] Н. Ван-Вейк, История старославянского языка. М., 1957, стр. 182—190.

[24] См. С. Б. Бернштейн и др., Отчет о диалектологической экспедиции в болгарское село Суворово летом 1951 г., «Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР», 3, М., 1953, стр. 111—112.

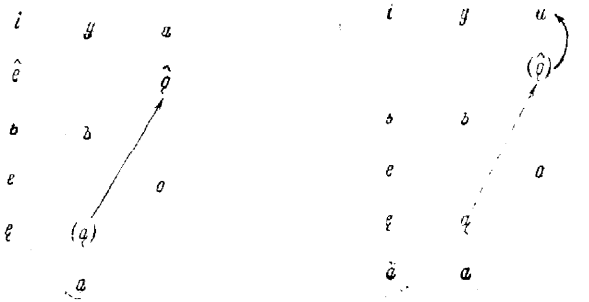
[25] Рефлексы широкого *e* вместо ожидаемых, как в большинстве случаев, рефлексов узкого *ê* представлены также и в чешском (J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, I, Praha, 1894, стр. 40, 204).

[26] См. P. Skok, Leksikologijske studije, Rad JAZU, knj. 272, стр. 34 и сл.

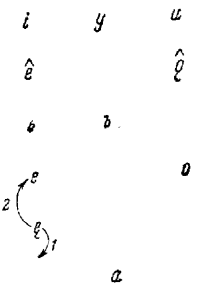
njízlo (< * *gnězdo*), *nȁdra* (**нѣдра**); диал. *slapić* (при **слѣп-**); *mazînec* (**мѣзинъ**), *predal* (**прѣдѣлъ**) и т. п.

В результате процесса генерализации *ê* или *ä* определилась праславянская изоглосса (изофона) рефлексов *ě* и сложились две диалектные системы вокализма.

Система I (русск., сербск). Система II (польск., болг.)



Система I образовалась в результате реализации первой и второй возможностей. Здесь для заполнения «пустой клетки» против *ê* полностью завершился переход *ǫ* — *ǫ̂*. Последствием такого перехода было то, что прежние варианты *ę* и *ǫ* фонемы *A* (*N*) (ср. *ę* : *ǫ* = *ě* : *ă* = *ĭ* : *ў*) стали самостоятельными фонемами: *ę* и *ǫ̂*. Против *ę* образовалась «пустая клетка», *ę* оказался непротивопоставленным по ряду, система опять стала асимметричной:



Для ликвидации такого положения было две возможности: 1) *ę* может занять «пустую клетку» против *a*; ожидается процесс *ę*→*ä*; 2) *ę* может совпасть с *e*, утратив ринезм. При этом как в первом, так и во втором случае носовой признак станет избыточным. В новой системе прежние носовые будут противопоставляться другим гласным уже по другим ДП (подъема и ряда), признак ринезма как избыточный утратится. Ожидаются процессы: *ǫ̂* → *ô*, *ę* → *e* или *ä* → *ä*. Реализация первой возможности (*ę* → →*ä*→*ä*) представлена, например, в русском языке, второй — в сербском.

Видимо, *ô* (< *ǫ̂* < *ǫ*) в большинстве диалектов не удержалось. При наличии одинакового числа фонем в передней и задней сериях, как отметил А. Мартине, «зоны безопасности» оказываются уже в задней области [27], поэтому *u* и *ô* могли совпасть; возможно, совпадение происходило еще в период утраты ринезма: *ǫ̂* могло непосредственно перейти в *u*. О стадии с *ô* могут свидетельствовать древнейшие финские и балтийские заимство-

[27] А. Мартине, Принципы экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 132.

вания из древнерусского, где на месте * *ą* находим колебания от *u* до *o* или *uo*: фин. *kuontalo*, литов. *kuodẽlis* (* *kąd-*), фин. *suunta*, латыш. *sùods*, литов. *sudas* (* *sąd-*). В некоторых диалектах *ô* (<*ǫ̂*) сохранялось относительно долго. Так, по свидетельству П. Ивича, в северо-западной Славонии пустая клетка против *ê* (<*ě*) до XIII в. была занята рефлексом *ą*[28].

Утрата носовых в славянских диалектах, получивших из праславянского языка систему I, произошла не позже конца X в. Видимо, позднее «пустая клетка» против *ê* могла быть заполнена новым *ô* разного происхождения: из *o* под интонацией акута, как в части говоров, легших в основу русского языка, или из *ō*, образовавшегося в результате удлинения перед слогом со слабым редуцированным — в говорах украинского языка, или из *l*, как в говорах сербского языка. Если же *ô* в качестве пары для *ê* не появлялся, то утрачивалась сама фонема *ê*, совпадая с *e* или *i* или разлагаясь на сочетания *ie*, *ije*, *je*. Но это уже происходило в рамках истории отдельных славянских языков; эти факты свидетельствуют о силе тенденции заполнения «пустой клетки».

Система вокализма II, образовавшаяся в диалектах, реализовавших третью и четвертую возможности (*ä* на месте общеславянского *ě*), оказалась более устойчивой, менее лабильной. После того как *ě* выпало из системы, *ǫ*, образовавшийся в некоторых лексемах путем перехода *ą* → *ǫ̂*, оказался без противопоставления, и переход *ą* — *ǫ̂* был прекращен. В тех лексемах, где все же успел совершиться переход *ą* → *ǫ̂*, этот *ǫ̂* был утрачен путем деназализации и совпадения с *u*.

В связи с этим в языках, унаследовавших систему II, иногда находим *u* в качестве рефлекса праславянского * *ą*, хотя во всех остальных случаях на месте * *ą* выступают иные рефлексы: ст.-слав. **нѫдити** и **ноудити**, польск. *nędza* и *nuda*, *gruby* и *Grębów*, *łąka* и *Pałuki*[29]. Следует согласиться с Т. Лером-Сплавинским, что в большинстве случаев с дублетами *ǫ/u* нужно видеть первоначальную деназализацию, осуществляющуюся после монофтонгизации дифтонгов.

После описанного процесса система вокализма II приняла такой вид:

i	*y*	*u*
ь	*ъ*	
e		*o*
ę	*ą*	
ä	*a*	

В этой системе признак назальности является релевантным; по этому признаку *ę/ą* противопоставлены *ä/a*, а в том случае, если *ą* → *ǫ̂* для поддержки серии губных, *ę/ǫ̂* оказывается противопоставленным *e/o*. До падения редуцированных и окончательного распада ГФ, в которых передние и задние гласные выступали как варианты одной фонемы *ę* и *ą* в той или иной мере сохраняют отношения вариантивности, что может проявляться как полное (в польском) или частичное (среднеболгарская «мена юсов») их неразличение. Носовые в диалектах, унаследовавших праславянскую систему вокализма II, сохраняются до определенной дальнейшей перестройки этой системы, уже не связанной с судьбой древнего *ě*.

Как свидетельствуют данные диалектологии и истории славянских языков, вокалическую систему I (с *ê* и тенденцией к деназализации) унаследовали те праславянские диалекты, из которых позже развились вос. точнославянские языки, диалекты чешско-словацкой языковой группы-

[28] П. И в и ч, Основные пути развития сербохорватского вокализма, ВЯ, 1958, 1, стр. 8.

[29] См. T. L e h r - S p ł a w i ń s k i, O dubletach słowiańskich z *ą* i *u*, «Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego», Warszawa, 1957, стр. 191—195.

большая часть диалектов серболужицкой группы, сербскохорватские говоры и большая часть говоров словенского языка. Вторую вокалическую систему унаследовали праславянские диалекты, лежащие в основе лехитской и болгаро-македонской языковых групп. Кроме того, в говорах, видимо, переходных от I ко II группе, находим следы широкого рефлекса *ě* (*ä*) — в восточнолужицких говорах (ср. *klatka*, *pjaska*, но *belić*) и спорадически — в нижнелужицких говорах (ср. *wjacor*, *pjaklo*, *śćažka*), а также находим регулярные рефлексы *ä* в юго-восточных говорах словенского языка. Не случайно именно в этих говорах мы видим не только следы носовых, но иногда и полное сохранение носовых как самостоятельных фонем, что подтверждает гипотезу Т. Лера-Сплавинского о связи этих явлений. Эта изоглосса прослеживается и на территориях, которые были некогда заняты славянами; так, по свидетельству Э. Петровича, по рефлексам славянского *ě* в топонимах славянского происхождения территория древней Дакии делится на две части, причем ареал широкого *ä* (*'a*, *ea* < *ě*) занимает восточную часть, ближе к побережью Черного моря [30].

Относительно хронологии формирования данной изоглоссы можно заметить лишь следующее. Казалось бы, эта изоглосса сформировалась еще на территории праславянской прародины как первая диалектная черта в области вокализма, т. е. по крайней мере до VI в., до переселения южных славян на Балканский полуостров. Однако, естественно, эта черта не могла сформироваться до монофтонгизации дифтонгов, ибо начало перестройки праславянской системы вокализма связано с появлением монофтонгов i_2 /*ê* и *u* на месте дифтонгов [31]. Перестройка системы вокализма проявляется в переходе *ă* → *o*, процессе весьма позднем. Выбор *ä* или *ê* и связанная с ним деназализация не могли быть отдалены друг от друга длительным промежутком времени, однако деназализация датируется X в., когда о единстве славянской территории не может быть и речи. Как свидетельствуют славянские заимствования в финских языках, хронологическая граница преобразований праславянской системы вокализма могла бы быть датирована VIII — IX вв. В. Лыткин показал, что финские заимствования отражают две резко отличные друг от друга системы славянского вокализма [32]. Если древнейшие заимствования (V—VII вв.) отражают носовые (*suntia* < * *sądia*), долготу гласных (*piirokas* < **pīrägŭ*), открытый *ä* на месте *ě* (*määra* < **měra*), *ŏ* или *ă* «очень открытый», т. е. нелабиализованный (*pappi* < * *părъ* «поп»), то заимствования X—XI вв. дают совершенно иную картину: здесь уже заимствовался лабиализованный *o* — морд. *сока* (< *соха*), на месте *ě* — *i* или *e* и т. п. Если это так, то данная изоглосса сформировалась поздно, уже в эпоху после расселения славян на основе общей унаследованной системы, когда уже контакта между диалектами лехитской и болгаро-македонской групп не было, а «выбор» системы I или II определялся закономерностями вероятностных процессов.

---

[30] E. Petrovici, Le problem des Romains «Occidentaux», «Revue de linguistique», VI, 1, 1961, стр. 28; его же, Изоглоссы славянских элементов в румынском языке, «Slavia», XXXI, 1, 1962.

[31] На хронологию преобразования славянской фонологической системы вокализма указывают и германские заимствования в славянские языки. Как показал Е. Шварц («Zur Chronologie asl. *ū* → *y*», AfslPh, XLII, 3—4, 1929, стр. 275—285), герм. *u* в V—VI вв. передается слав. *y*, но уже в VIII—IX вв. на месте герм. *ū* находим слав. *ū*. Это свидетельствует о том, что к тому времени появился слав. *u* < <*au*, т. е. монофтонгизировались дифтонги и начались преобразования, о которых говорилось выше, но отнюдь не о том, что слав. *ū* → *y* лишь к VIII в., как полагал Шварц.

[32] В. Лыткин, Выступление на дискуссии, «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II, стр. 448.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. ГЕОРГИЕВ

РУССКОЕ АКАНЬЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К СИСТЕМЕ ФОНЕМ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА*

В сравнительно-исторической фонетике славянских языков есть один весьма любопытный случай последовательного упорства в сознательном заблуждении, идущем от линейной схемы Шлейхера. Речь идет о наличии фонемы *о* в праславянском языке. Эта проблема тесно связана со следующим принципиальным вопросом: могут ли современные диалекты, например болгарские, сохранять более древние черты, чем (соответственно) древнеболгарский язык? Согласно шлейхеровской схеме, развитие языка происходит по следующим этапам: праславянский > древнеболгарский > современные болгарские диалекты. Такая схема в корне своем ошибочна и действительна лишь в некоторых частных случаях. В сущности древнеболгарский письменный язык представляет собою отдельный диалект в рамках общности родственных наречий, различия между которыми восходят к древнему периоду и которые после становления классового общества и государства начинают развиваться центростремительно.

При сравнении латинских слов *domus* «дом», *hostis* «иностранец, чужеземец; неприятель, враг», *oculus* «глаз», *octo* «восемь», *ovis* «овца» и тому подобных с их славянскими соответствиями (болг. *дом*, *гост*, *око*, *осем*, *овца*) обычно восстанавливают славянские формы *domъ*, *gostь*, *oko*, *osmь*, *ovьca* с рефлексом исконного (индоевропейского) *о*. Однако факты упорно свидетельствуют о том, что в праславянском языке, даже в позднейший период его развития, не могло существовать фонемы *о*. Доказательствами являются древнейшие заимствованные славянским языком имена существительные (нарицательные и собственные), древние иноязычные географические названия и личные существительные, перешедшие к славянам, или славянские слова и имена существительные собственные, воспринятые иноязычным населением в древнюю эпоху. Многочисленные примеры ясно показывают, что вплоть до конца праславянского периода соотношение гласных было не *о* : *а*, а *ă* : *ā*[1]. Лишь позднее, почти непосредствен-

* Из доклада «Праславянский и индоевропейский языки», подготовленного к V съезду славистов.

[1] Ср., например: P. Kretschmer, Die slavische Vertretung von idg. *o*, AfsPh, XXVII, 1905, стр. 228 и сл.; M. Vasmer, Zwei kleine Abhandlungen, KZ, XLI, 1—2, 1907, стр. 157 и сл.; M. Bartoli, Riflessi slavi di vocali labiali romane e romanze, greche e germaniche, «Zbornik u slavu Vatroslava Jagića», Berlin, 1908, стр. 30 и сл.; E. Schwarz, Zur Chronologie von asl. *a* > *o*, AfsPh, XLI, 1—2, 1927, стр. 124 и сл.; A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I, Lyon—Paris, [1950], стр. 106—108; K. Horálek, Úvod do studia slovanských jazyků, Praha, 1962, стр. 99; F. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», XXV, 4, 1956, стр. 446 и сл.; Ch. E. Bidwell, The chronology of certain sound changes in com-

но перед появлением письменности, праславянское *å* лабиализовалось в *o* (причем, естественно, в разных местах это произошло в разное время), в связи с чем его коррелят *ā* утратил ставший излишним различительный признак и сократился в *a*. Доказательства этого следующие:

1. В древних заимствованиях (имен существительных нарицательных и собственных) из греческого, латинского, дакийского, германского и прочих языков иноязычное открытое или закрытое *o* (*o* и *ǫ*) никогда не передается в славянском через *o*; ударному и безударному (открытому) *o* соответствует слав. ъ или ь, а ударному закрытому *ǫ* (и открытому *o*) — слав. *y* (или *u*). Например:

Scodra > ст.-сербско-хорв. **Skъdr-* > сербско-хорв. *Skadar* (алб. *Shkódër*): дослав. *ó* > слав. ъ > сербско-хорв. *a*;
Corcyra > ст.-сербско-хорв. **Kъrkъrъ* > сербско-хорв. *Krkar*;
ad Portulam > ст.-сербско-хорв. **Oprtъlь* > сербско-хорв. *Oprtalj*;
Cormones (610 и 628 гг.) > ст.-словен. **Kъrmynъ* > словен. *Krmin*;
Doclea > сербско-хорв. *Duklja*;
Gregorius > сербско-хорв. *Grgur*;
Δουρόστορον, *Durostorum* (*-s*) > др.-болг. **Дръстъръ**, **Дръстръ** (совр. *Силистра*);
Bononia (**Bonónja*), Βονωνία (IX в., Феофан) > др.-болг. **Бъдынъ** (XIII в.; **-ъ** вместо **-ь**) > **Бдинь** (XIV в.), совр. *Видин*;
Σαλονίκη (народн. греч.) > др.-болг. **Солоунь**;
Solenta > хорв. *Sulet*;
Pola > хорв. *Pulj* (совр. *Pula*);
commatre > др.-болг. **кѫмотра** «крестная дочь».

2. Древние праславянские имена существительные нарицательные и собственные, перешедшие в греческий, латинский, финский и другие языки, имеют *a* вместо *o*, засвидетельствованного в соответствующих словах отдельных славянских языков. Например [2]:

Σκλαυηνοί, Σκλαβηνοί, Σκλαβήνοι, *Sclaveni* (VI в.) = **Словѣне**;
Δαβραγέζας (имя анта; VI в.; Агафий III 21: Ἀντης ἀνήρ, ταξίαρχος) = **Dobrojězda*, γε = *je*, как в новогреческом. Родственно ему название воинственного славянского племени в Фессалии Βελεγεζιται (VI—VII вв., Acta S. Demetrii) из праслав. (**Vele-jězdьk'i* >) **Vele-jězdьt'i* (мн. число) «большие ездоки» (ср. др.-болг. **вели-зълока** «большая злоба», **вели-рѣчивъ**, **вели-ненависть** «большая ненависть»); вторая часть этого сложного существительного в точности соответствует русск. *ездец* «ездок»;
Κελαγάστος (видный ант; к 558—562 гг.; Феофан Византийский, VI в.) = **K'ělagastъ* > **Cělogostь* (?).
Δαυρέντιος [3], Δαυρήτος (вариант Δαυρίτας; славянский князь в Дакии или Паннонии; VI в.; Менандр) = др.-болг. **Добрата**;
Βαιουνηται (VI—VII вв., Acta S. Demetrii; воинственное славянское племя в Эпире, участвовавшее в нападении на Солунь), Βαγενετία(1361 г.) «thema sive districtus Epiri», ныне Βαγενίτη (-ητι; γε = *je*); топоним (Эпир); из праслав. **vajьnik'-i* мн. число > **vajьnit'i* [4] > болг. *войници* «солдаты», производное от праслав. **vajьnъ* > **vajьnъ* > др.-болг. **воинъ** «воин».
Ἀρδαγάστος (VII в.; Феофилакт Сим.), *Ardagstus* (к 593 г., Анастасий Библиотекарь, IX в.; имя славянского вождя) с *-os* или *-us*, приспособленным к соответствующей греческой и латинской основе, = др.-болг. **Радогостъ**;
Πειραγάστος (VII в., Феофилакт. Сим.) Πηράγαστος (VIII—IX вв., Феофан; славянский вождь) = др.-болг. **Пирогостъ**;

---

mon Slavic as evidenced by loans from vulgar Latin, «Word», XVII, 2, 1961, стр. 106. Как известно, большинство славистов принимают для праславянского на месте и.-е. *ŏ* и *ă* гласный *å*. Праславянское *o* принимается немногими; в основном это противники теории балто-славянского праязыка (ср С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 145).

[2] Цитируемые примеры взяты из работ П. Кречмера, М. Фасмера и др.; добавлено лишь несколько новых слов. Интерпретации также заимствованы у этих авторов; лишь в редких случаях внесены некоторые поправки.

[3] Конец имени соотнесен с греч. Λαυρέντιος.

[4] *k'* > *t'* > *c* (2-я палатализация); ср. Βελεγεζηται и Εζερῖται (Лакония) = **Jezerьt'i* > **Jezerьci*, ср. Ἐζερόά, Ἐζερά (Лакония); подобно Μομιτίλου, Μομιτίλας = = Μομιτζίλος = *Момчило* (см. M. Vasmer, указ. соч., стр. 300), Γρεβενίτιον, Γρεββενίτη (Янина) = арум. *Grebenits* = серб. *Гребенац*; см. также **vitędźь* «витязь» из герм. **vīking* (*az*) с *t* вместо *c* по причине диссимилирующего воздействия *d'ź*.

Ἀκάμηρος (Ἀκαμῆρος; князь славянского племени в Фессалии; к 789 г.; Феофан, Хронография) = др.-болг. *Око-мѣръ (?); ср. словообразовательную структуру др.-болг. **анцѣ-мѣръ**;

Δαργαμήρος (VIII—IX вв.), *Dargamerus* (Анастасий Библиотекарь, IX в.; посол хана Крума при византийском императоре) = др.-болг. ***Драгомѣръ**;

Βαλδίμερ (IX в.; болгарский князь) = др.-болг. ***Владимѣръ**;

Ἀρδαμέρι (Лангада; топоним) = др.-болг. *Радомѣрь, совр. *Рáдомир*;

Βαλτούκα (Мессения; топоним) = праслав. **baltъka*, ср. польск. *Błotki*, *Błotków*, производные от праслав. **balta* «болото»; Βάλτιστα (Янина) = болг. *блатища*, серб. *Блатишта*;

Γαρδίκι (Аркадия, Корфу, Акарнания — Этолия, Фтиотида, Янина) = праслав. **gardьkъ* > др.-болг. **градьць** > болг. *грáдец*; нем. *Stargard* = др.-болг. **старъ градъ**;

Γαρδενίκια (Лакония) > Γαρδενίτσα (Лакония, Фокида) = праслав. **Gardьnik'ā* > > *Gardьnicā* > болг. *Грáдница*;

Γαρδενά (Ахая) из праслав. **Gardьna* (или *-ā*) = польск. *Gródno* (или серб. *Градна*), ср. болг. *Грáдница*;

Ἀβαρῖκος (Акарнания — Этолия; топоним) = болг. *Яворец* (или серб. *Јаворник*);

Ἀβαρῖνος (Мессения; топоним) = **Яворно* от *явор*;

Ζαγαρά (Беотия) = болг. *Загóра*;

Χάρμα (Фтиотида; топоним) = др.-болг. **храмъ**; Χάρμαινα (Триккала — Кардица) = = др.-болг. **храмина**;

Ἄρλα (Ахая; топоним) > болг. *Óрля*, производное от *орéл*;

γαρασδ- (в строфе γαρασδοειδὴς ὀψις ἐσθλαβωμένη — к 746 г.; Константин Порфирогенет) = др.-болг. **горазд**ъ «искусный, опытный»;

ζάκανον (Константин Порфирогенет) = др.-болг. **законъ**;

ῥαγάζι (ον) (в схолиях *Gu* к Еврипиду), ново-греч. ῥαγάζι = др.-болг. **рогозъ**, ново-болг. *рогоз* «камыш»;

ново-греч. καρούτα = праслав. *karyta*, русск. *корыто* [карыта], белорусск. *карыта*, болг. *коритo*; Καρούτες (Дорида), Καρούτια (Лакония, Дорида), Καρύταινα (Аркадия);

ново-греч. μαγούλα из праслав. **magylā* > русск. *могила* [магила], белорусск. *магіла*, болг. *могúла*; Μαγούλα (Аркадия, Мессения, Лакония, Аргос и пр.); Μαγούλιανα (Аркадия) = праслав. **Magyljāne*; Μαγουλίτσα (Кардица) = болг. *могúлица* «холмик»;

ново-греч. σάλμα = болг. *слáма* «солома»; Σαλμενῖκον' (Ахая) = праслав. **šalmenikъ* > ново-болг. *слáменик* «соломенный тюфяк» (или = польск. *Słomnik*);

ново-греч. σβάρνα = болг. *брáна* «борона»;

ново-греч. ταγανιά = сербско-хорв. *pogonja* «погоня»;

Ἀβαρνίτσα (Мессения, Акарнания — Этолия) = польск. *Jawornica*, чеш. *Javornice*;

Ἀβαρίτσα (Фтиотида) = словен. *Javorica*;

фин., вотск. *akkuna*, эст. *aken* из праслав. **akъna* > др.-русск. **окъно**, русск. *окно* [акно́], белорусск. *акно́*;

фин. *palltina* из праслав. **paltьna*, русск. *полотно* [палатно́], белорусск. *палатно́*, болг. *платно*.

Появление *а* в рассмотренных заимствованиях обычно объясняется тем, что славянское *о* было якобы открытее греческого и латинского *о* или же приближалось к *а*. Однако древность гласного *а* подтверждается данными смолянского диалекта (см. ниже). С другой стороны, в византийских текстах протоболгарские имена болгарских царей, например Βορίσης (Βωρίσης) = др.-болг. **Борись** (852—889 гг.), Ὀμορτάγ (Ὀμουρτάγ, Ὠμουρταγ; 814—831 гг.)[5], всегда имеют *о*, тогда как славянские имена их современников Βαλδίμερ (889—893 гг.) и Δαργαμήρος (к 812 г.) — только *а*.

Ко второй половине IX в., однако, изменение *ă* > *о* в основных диалектах южнославянских языков уже произошло. К этому времени восходят наиболее древние формы с *о*, например: Σθλοβενοί (IX в., Vita Clem.), βοέβοδοι (IX в.; венгерские вожди), Δοβρομηρός (болгарский вельможа; около 1000 г.); Γοστούν (X—XI вв.) = **Гостугнъ**; то же наблюдается в чешско-словацком, ср. *Moimarus* (паннонский князь; IX в.), *Bolezlaus* (чешский князь в Богемии; X в.) и в польском, ср. *Bolizlavus*

[5] См. формы этих имен собственных: G. Moravczik, Byzantinoturcica, II, Berlin, 1958.

(польский князь; X—XI вв.) и др.[6]. Приблизительно в то же время (к IX—X вв.) завершается процесс метатезы в южнославянских языках. Поэтому имя Βαλδίμερ (889—893 гг.) появляется чаще всего в формах Βλαδίμερ, Βλαδίμηρ, Βλαδήμηρ, Βλαδίμηρος, *Laodomur*, *Landomir*. Таким образом, заимствованные греческим языком славянские географические названия и существительные нарицательные типа Γορίτσα = болг. *гори́ца* «роща», κοζιά «козья шерсть», κόκοτος «петух» и пр., следует относить к более позднему времени, чем Γαρίτσα, καρούτα, Βαριάνη и пр.[7].

3. Фонетические изменения, наступившие в старинных заимствованных славянским языком греческих, латинских, германских, дакийских, фракийских и других именах существительных нарицательных и собственных, содержащих фонему *ă*, объяснимы лишь в том случае, если принять для праславянского фонемы *ă* и *ā*, но не *o*. В последней (позднейшей) фазе развития праславянского, почти непосредственно перед появлением письменности, краткое *ă* в этих заимствованиях перешло в *o*, а долгое *ā* сохранилось как *a*. В эпоху заимствования этих слов (позже II —III вв. н. э.) квантитативные различия в греческом и латинском языках уже исчезли, но гласный под ударением (в предпоследнем слоге) произносился дольше, чем безударный гласный. Поэтому безударное греческое и латинское *a* в этих заимствованиях позже перешло в *o*, т. е. передавалось как праслав. *ă*, тогда как ударное *a* (в предпоследнем слоге) сохранилось, т. е. передавалось как праслав. *ā*[8]. Например:

καράβι (ον) > праслав. **karā́bь* > русск. *корабль*[кара́бл'][9], др.-болг. корабль; корабь;
σατανᾶς > др.-болг. сотона;
παπᾶς (или др.-в.-нем. *phaffo*) > др.-болг. попъ;
μάρμαρος > др.-болг. мраморъ;
᾿Αδριανού (πολις) > болг. *О́дрин*;
calêndae > праслав. **kalę́dā* > др.-болг. колѧда;
altári (*a*) > др.-болг. олътарь;
pagánus > праслав. *pagā́nъ* > др.-болг. поганъ;
Agústus > болг. *Ogust* (1789 г.), *Огóста*;
фрак. (дак.) ᾿Ασμούς > болг. Осмъ(XIV в.), *Осъм*;
фрак. (дак.) *Timachus*, Τίμακον > болг. *Ти́мок*;
гот. *asilus* > др.-болг. осьлъ «осел»;
гот. *katil* (*u*) *s* > др.-болг. котьлъ «котел»[10].

4. Доказательством существования *ă* в праславянском может служить судьба сочетаний (*t*)*art*, (*t*)*alt*, дающих в южнославянском и в чешско-словацком (*t*)*rāt*, (*t*)*lāt*. Метатезу в этих сочетаниях можно хорошо объяснить при предположении, что в праславянском эти группы имели форму (*t*)*art*, (*t*)*alt*[11]. Такая форма свидетельствуется древними славянскими заимствованиями в греческом, где мы находим *arda-* (᾿Αρδα-γάστος), *baltъka* (Βαλτούκα), *barnā* (σβάρνα), *darga-* (Δαργα-μήρος), *gardьk'ь* (Γαρδίκι), *śalmā* (σάλμα), *valdi-* (Βαλδί-μερ), *xarmъ* (χάρμα), но не **ordo-*, **boltъko*, **bornā*, **dorgo-*, **gordъ*, **śolmā*, **voldi*, **xormъ*. Так же и нем. *Karl* (771—814 гг.) > др.-болг. краль; дослав. *Albis* (I в. н. э.) > чеш. *Lābě*.

---

[6] Об этих именах см. G. Moravczik, там же.

[7] Ср. M. Vasmer, указ. соч., стр. 267 и сл.

[8] Это вторичное удлинение происходит на славянской почве (*a* под ударением с акутовой или циркумфлексной интонацией).

[9] Написание *корабль* через *o* в русском языке — болгаризм.

[10] Древнеболгарские имена существительные собственные и нарицательные типа Адрианъ, ангелъ, апостолъ, аспида и подобные являются книжными заимствованиями (позже середины IX в.); новоболгарские слова типа *сатана́* представляют собой поздние (или книжные) заимствования.

[11] См. F. Mareš, указ. соч., стр. 456 и сл.

Архаические формы без метатезы в древнеболгарском также всегда обнаруживают *а* (а не *о*), вызванное вторичным удлинением праслав. *ă* под ударением с акутовой или циркумфлексной интонацией:

ал(ъ)ди(и) > лади(и) из праслав. **ãldьji*;
ал(ъ)кати(ал(ъ)чѫ), ал(ъ)чьнъ = лакати (лачѫ), лакомъ из праслав. **álk-*;
ал(ъ)нии «серна» из праслав. **álnьji*, ново-болг. диал. *алнѐ* «детеныш серны»;
балтины (мн. число), ср. блато русск. *болóтина* из праслав. **báltinā*;
залтаринъ ср. злато из праслав. **źãlta*;
малдичие ср. младъ, русск. *молóд* из праслав. **máldъ*;
палтъ=платъ «ткань».

Особенно характерны формы с *(t)alt*, в которых метатеза произошла наиболее поздно (IX—X вв.) [12].

С другой стороны, принимаемое предположение хорошо объясняет эпентезу (но не метатезу) в русских акающих диалектах и в белорусском языке, где праславянское *tart* перешло сначала в *tarat* (с эпентезой), а затем, при изменении ударного *а* в *о*, в *tarót* или *tórat* (однако в русских окающих говорах и украинском — *torot*). Примеры:

ворона [варóна] = белорусск. *варóна* из праслав. **várnā* = литов. *várna*;
ворон [вóран] из праслав. **vārnъ*=литов. *var̃nas*;
голова [галавá] = белорусск. *галавá* из праслав. **galvā* = литов. *galvà*;
золото [зóлата] = белорусск. *зóлата* из праслав. **źãlta*;
корова [карóва] = белорусск. *карóва* из праслав. **kárvā*;
король [карóл'], род. падеж *королѧ́* [карал'á] = белорусск. *карóль*, род. падеж *караля́*, из нем. *Karl* (771—814 гг.);
белорусск. *салóд(кі)* из праслав. **saldъ (-k-)* = литов. *saldùs* и пр.

Во всех этих случаях считаем современное русское литературное произношение более древним, чем орфография.

5. Еще одним доказательством наличия *ă* из и.-е. *ŏ*, *ă* в праславянском является переход *ja*>*je* (праслав. **palja* > др.-болг. поле). С фонетической точки зрения переход *jo* > *je* необъясним, тогда как изменение *ja* (>*jä*)>*je* вполне естественно и имеет точные соответствия в балтийском, ср. литов. *naũjas* > *naũjes* «новый», *svẽčias* > *svẽčies* «гость», ст.-прусск. *etwerpsennian* (*-nien*) «отпуск» [13].

6. «Труднейшая проблема происхождения аканья все еще остается неразрешенной»,— пишет Р. И. Аванесов в одной из своих статей [14]. В свете рассмотренных фактов русское и белорусское аканье обретают научное объяснение.

В своей «Grammaire comparée des langues slaves» (стр. 107) А. Вайан без специальной аргументации высказывает предположение, что в русских акающих диалектах и в белорусском языке праславянское *а* перешло в *о* только под ударением, а в остальных случаях сохранилось (отчасти с известной редукцией) [15]; например:

вода [вадá] = белорусск. *вадá* из праслав. **vadā*;
гора [гарá] = белорусск. *гарá* из праслав. **garā*;
золото [зóлата] = белорусск. *зóлата* из праслав. **źãlta*;
коса [касá] = белорусск. *касá* из праслав. **kasā*;
роса [раса] = белорусск. *расá* из праслав. **rasā*;
сено [сéна] = белорусск. *сéна* из праслав. **śěna* и т. д.

---

[12] По вопросу о метатезе в славянских языках см. мою статью «Праславянската фонемна система и ликвидната метатеза», «Славистичен сборник», София, 1963 (в печати).

[13] См. A. Vaillant, указ. соч., стр. 109. Сказанное относится и к таким случаям, как русск. *ольхá*, польск. *olcha*, русск. *осетр*, в то время как в болгарском имеется *елхá*, *есêтра* из и.-е. **alisā*, **ak'-etro*; см. В. Георгиев, Праславянски *je* > *o* или *a* > *ja* > *je*?, «Славистични студии», София, 1963.

[14] Р. И. Аванесов, Лингвистическая география и история русского языка, ВЯ, 1952, 6, стр. 35.

[15] Возможно, здесь речь должна идти о диалекте вятичей; территория распространения аканья включает почти всю племенную область вятичей.

Русское и белорусское аканье является аргументом в пользу гипотезы; считаем праславянской форму *вадá*, тогда как *водá* — форма, измененная окающими великорусскими диалектами и украинским языком, поскольку в них праславянское *ă* во всех позициях переходит в *о*. И в данном случае произношение великорусских акающих диалектов (и белорусская орфография) лучше отражает древность, чем традиционная орфография. Отсутствие отражения аканья в письменных памятниках ранее XIV в. объясняется тем, что древнерусская орфография была орфографией древнеболгарской, киевского (окающего) говора и северновеликорусских окающих наречий (Новгород). Известно, что современный русский литературный язык сложился лишь к XV—XVII вв. на базе московского говора [16], принадлежащего к акающим наречиям.

Как известно, А. А. Шахматов, Н. Н. Дурново и другие возводили аканье в доисторическую древность [17]. Р. И. Аванесов выдвигает против этой теории следующие возражения [18]. Гласные полного образования вряд ли могли подвергнуться редукции в то время, когда сами редуцированные гласные (ъ, ь) еще продолжали существовать. Если бы такой процесс имел место, то судьба новых редуцированных из гласных полного образования и старых редуцированных совпала бы. Это возражение отпадает, поскольку *а* не есть редуцированное *о*, оно представляет собой сохранившееся праслав. *ă* в безударном положении. Второе возражение Р. И. Аванесова следующее. Судьба сильных редуцированных, оказавшихся после падения слабых ъ и ь в первом предударном слоге, ничем не отличается от судьбы гласных полного образования *о* и *е* в том же положении: в русском языке при наличии аканья совершенно одинаково произносят слова *водá*, *селó* и *тонкá*, *темнó* (из др.-русск. **тънъка**, **тъмьно**). Однако здесь можно дать несколько объяснений: 1) Произношение слов типа *тонкá* наряду с *тóнкий*, *-ая*, *-ое*, *волкáм* наряду с *вóлк* и под. построено по модели обычного типа *кроткá*, но *крóткий*, *-ая*, *-ое*, *плодáм*, но *плóд* и под. Это тот же случай, что и при новых заимствованиях типа *автомобúль*, *комбáйн*, *коммунúст*, *объéкт*, *оккупáция*, где произношение с *а* вызвано приспособлением к обычной фонемной системе; 2) в сильной позиции п о д ударением праслав. ъ перешло здесь в *о*, а б е з ударения в *а*, т. е. др.-русск. **вълкъ** > русск. *вóлк*, *вóлка*, но *валкáм*, как в архаическом болгарском смолянском диалекте (*вóлк*, но *валкóт* [19]; подобное явление наблюдается и в словацком, где наряду с правильным переходом ъ > *о* (например, *bočka* из * *bъčkā*) имеется и переход ъ > *а* (например, *mach* «мох» из праслав. **тъхъ*) [20]. Тем самым аргументы против исконности аканья отпадают.

Правильность предлагаемого объяснения подтверждается следующим фактом. Фонетическое изменение гласных *е* и *а* (*е* > *и*, *а* > *ǫ*), происходящее в русском языке в безударном положении, действительно представляет собой редукцию, если под этим термином подразумевать сужение широких (открытых) гласных в безударном слоге. Однако переход *о* > *а* нельзя объяснить редукцией, поскольку *а* более широкая (открытая)

---

[16] Ср. Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 37.

[17] А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 331 и сл.; Н. Н. Дурново, Диалектологические разыскания в области великорусских говоров, ч. I, 1, М., 1917, стр. 76 и сл.

[18] Р. И. Аванесов, Вопросы образования русского языка в его говорах «Вестник МГУ», 1947, 9, стр. 138, примеч. 1.

[19] См. Ст. Стойков, Българска диалектология, София, 1962, стр. 83.

[20] По мнению С. Б. Бернштейна («Очерк сравнительной грамматики славянских языков», стр. 255), *mach* вместо **moch* по аналогии с *machu*.

гласная, чем *о*; он восходит к праславянскому изменению *ă* > *о* под ударением.

Такое объяснение аканья в русском и белорусском языках подтверждается некоторыми фактами вокализма одного архаического болгарского диалекта — смолянского, распространенного на территории Средних Родоп в Южной Болгарии и в Эгейской (Греческой) Фракии [21]. В смолянском диалекте вместо *о* в предударном слоге, засвидетельствованного в остальных болгарских диалектах, встречается гласный *а* (*ạ*), а в говорах сел Тихомир и Триград, самых архаических говорах смолянского диалекта, открытых совсем недавно и подробно изученных Ст. Стойковым и Ст. Кабасановым[22], тот же гласный появляется обычно и в заударных слогах. Согласно описанию Ст. Кабасанова, в предударных слогах здесь «совсем чистое *а*, а в заударном положении оно редуцировано сильнее», т. е. в данных говорах безударное *а* редуцируется по подобию акающих диалектов русского и белорусского языков. Вот некоторые примеры из говоров сел Тихомир и Триград в сравнении с русским и белорусским языками:

В предударном слоге

Смолянск. диал.	Русск. яз.	Белорусск. яз.
ạвéс	*овес* [ав'óс]	*авéс*
ạрéл	*орел* [ар'óл]	*арóл*
ạстарéл «устаревший»		
ạтúде «(он) пошел»		
ạфчéре (мн. число, Тих.), но *бу́ца*	*овчар* [афчáр]	*аучáр*
ạдúца (но *вóда*, Тих.)	*водица* [вадúца]	*вадзіца*
ạдавúца (Тих.); *давéц* (Тр.)	*вдова* [вдовá], *вдовéц*	*удавá*
ạдúна «год»	*водина* [гадúна]	
ạлéм «большой»		
ạвéчера «сегодня вечером»		
ạбрé (Тр.) «хорошо»		
ạбы́так «скот»		
канéц «пить» (Тих.)	*конец* [канóц]	*канéц*
катрú	*который* [катóрый]	*катóры*
кази́-те (мн. число с членом, Тих.)	*кова* [казá]	*кавá*
ạстелéк «крепкий орех» (Тих.)		
ạмá (Тих.) «девушка»		
ạбéлéл (Тих.) «поседевший»		
ạмáга (Тих.)	*помагáет*	
ạлавúна	*половина* [ɐлавúна]	*палавíна*
ạнúзваме (Тих.) «мы нанизываем»		
ạгáч «олень» (Тр.)		
ạгáва «тогда»		
ạд вáс (Тр.) «от вас»,		
ạт гадúна на гадúна (Тих.) «из года в год»,		
ạгагдúна (Тр.) «в будущем году»		
ạ лáни (Тих.) «до прошлого года»		
ạ мéне (Тр.) «рядом со мной»		
ạката нáм (Тих.) «как мы»,		
ạката тéбе (Тр.) «как ты»		
ạпа памáцки (Тих.) «по-помацки»		
ạпа тýрцки (Тих.)	*по-турецки* [па-турéцки]	
ạпад лаицата (Тр.) «под полкой»		

Однако под ударением *о*: *нóга, óрех, сóл* (Тих.).

[21] Об этом диалекте см.: Ст. Стойков, указ. соч., стр. 83 и сл., где указаны и более старые источники; Ст. Кабасанов, Говорът от с. Момчиловцы Смолянско, «Изв. на Ин-та за български език», IV, 1956, стр. 25.

[22] Ст. Стойков, Акане в говора на с. Триград (Девинско), «Български език», XIII, 1, 1963; Ст. Кабасанов, Говорът на с. Тихомир, София, 1963 [в печати].

В говорах сел Тихомир и Триград *а* вместо *о*, которое характерно для других болгарских диалектов, часто встречается также и в заударном слоге, например:

бе́ла бра́шна (Тих.)	= *бя́ло бра́шно* «белая мука»
дру́гата де́те (Тих.)	= *дру́гото дете́* «другой ребенок»
гбспат (Тр.)	= *гбспод* «господь»
зре́ла грбзде	= *зря́ло грбзде* «спелый виноград»
нбщна вре́ме (Тр.)	= *нбщно вре́ме* «ночью»
че́рна пи́ле (Тих.)	= *че́рно пи́ле* «черный цыпленок»
агледа́ла (Тих.), *агледа́ла* (Тр.)	= *огледа́ло* «зеркало»
ара́ла	= *ора́ло* «соха»
жы́та (Тих.)	= *жи́то* «пшеница»
збрна (Тих.)	= *зърно́*, диал. *зърно* «зерно»
ме́ста	= *мя́сто* «место»
лбсна (Тих.)	= *ле́сно* «легко»
ра́бата (Тр.)	= *ра́бота* «работа»
сале́на (Тр.)	= *соле́но* «соленое»
се́на (Тр.)	= *ся́но* «сено»

Ср. также дат. падеж жен. рода *ры́бай*, но *женбй*, *аннбй* «одной». Однако здесь появляется колебание: в заударном слоге иногда встречается и *о*, даже редуцированное в *у*, а в остальных смолянских диалектах в заударных слогах обычно *о* > *у*.

До сих пор многие считали, что *а* в таких случаях, как смолянск, *авёс*, *арёл*, *катрй*, появилось вследствие редукции *о* в безударном слоге. Однако редукция означает сужение более широкой (открытой) гласной, что не соответствует фактическому положению в смолянском диалекте.

В говоре села Тихомир *о*, как правило, сохраняется в иноязычных словах и в безударном слоге, даже редуцируется в *у*, например, *компи́л* и *кумпи́л* «картофелина», *бошёк*, *колала́ма*, *комши́йето*, *копела́* (мн. число от *кбпеле*)[23]. Следовательно, безударное *о* редуцируется в *у*, а не в *а*. С другой стороны, окончание винительного падежа ед. числа жен. рода *-о́*, восходящее к древнеболгарскому ѫ (под ударением), в заударном слоге редуцируется в *о* (*у*), например: *жбно* (*жбну*), *вбдо* (*вбду*), *бфцо* (*бфцу*); та же форма с членом: *женбту*, *ногбту*. По мнению Л. Милетича, аканье в этих говорах объясняется аналогией со случаями типа *вблк*, *валкбт*[24]. Однако это предположение пока отпадает, поскольку аканье констатировано и в заударном слоге; кроме того, в златоградском говоре, где также имеется аканье, представлено соотношение *вълк* — *вълкът*[25].

Есть и еще один важный факт, подтверждающий исконность гласного *а* в рассмотренных случаях. В архаическом смолянском диалекте праслав. *ă* сохраняется в предударном слоге, а в ударном и обычно в заударном слоге переходит в *о*. Этот диалект, несомненно, находится в тесной связи со старинными болгарскими диалектами в Греции, в частности с пелопонесским диалектом, давно исчезнувшим, но частично сохранившимся в географических названиях. Именно в этих древних географических названиях в Пелопоннесе и отчасти в Средней Греции и Фракии представлен сохранившийся праславянский гласный *ă* в предударном слоге, тогда как в ударном и заударном появляется *о*:

[23] Наряду с этим встречаются также формы с *а*, например *камши́йа*=*комши́йа*, даже в совсем новых заимствованиях типа *абе́кт*=*обе́кт*, *афице́р*. Объяснение то же, что и для русского языка в отношении слов типа *комба́йн*, *коммуни́ст*, *объе́кт*.

[24] Л. Милетич, «Акание» и «пълногласие» в централния родопски говор. «Македонски преглед», X, 1—2, 1935, стр. 26 и сл.

[25] Об этом сообщил проф. Ст. Стойков.

Ἀρέχοβα (Лакония) и Ἀράχοβα (Лакония, Мессения, Аркадия, Ахая) = др.-болг. * Орѣхово, болг. *Оря́хово* (или *-а*);

Ἀραχοβίτσα (Эвритания, Янина, Фессалия), Ἀρεαχοβίτζα (Янина) с третьей палатализацией = болг. *Оря́ховица*;

Ὄραχος (Лакония) = др.-болг. орѣхъ, болг. *о́рех*; ср. в говоре села Тихомир *о́рех*, но *арѐшѐк* = *орешáк* «ореховая роща»;

Γαρίτσα (Корфу) = смолянское *гарúца* «роща» с сохранившимся праслав. *ā* в предударном положении и с третьей палатализацией;

Βαλτέτσι (Аркадия) = праслав. **baltьce* > болг. *блатцѐ* «болотце»;

Γαράντζα (Мессения), ср. словен. *Goranci*;

Βαλαβίστα (Анна Комнина) > болг. *Валовища*;

Ἀρτοτίνα (Дорида) > болг. *Радо́тин(о)*;

Ἀρδούβιστα (Лакония) > болг. *Радовищ(а)*.

В отношении многих географических названий в Греции нельзя определить, к какому периоду они относятся. Таковы:

Βαριάνη (Парнасида) = праслав. **Barjāne*, производное от праслав. **barъ* > болг. *бор* «сосна»;

Βαρδάτες (Фтиотида) из праслав. **bardātъ* > болг. *брада́т* «бородатый»;

Γαρούνι (Аркадия), Γαρούνα (Корфу) = болг. *гору́н*, диал. *гору́нь* (из праслав. **Garunь*);

Γαστούνι (Элида) = праслав. **Gastynь*;

Ἀφτσάρι (Родосто, Турецкая Фракия) = болг. *овча́ри* «овчары», с. Тихомир *афчѐре*.

*

Итак, к концу праславянской эпохи *ā* начинает изменяться в *о*. Длительность этого процесса различна в отдельных славянских языках или диалектах. В большинстве южнославянских языков и диалектов этот переход завершился непосредственно перед появлением письменных памятников (ср. Δαργαμήρος — 812 г. = др.-болг. *Драгомѣръ). В далматинских диалектах сербскохорватского языка, однако, это изменение завершилось значительно позже, по крайней мере в именах собственных, которые вообще более консервативны в отношении фонетических изменений. Это видно из латинских документов в Далматии, где между X и началом XIV в. все еще встречаются имена с сохранившимся праславянским *ā*, например: *Dabra* (1076—1080 гг. и 1078 г., также и 1260, 1273, 1289 гг.) = *Dobra* (после 1198 г.), *Dabro* (918, 940—946 гг., X—XIII вв.) = *Dobro* (после 1034 г.), *Dabriza* (1032 г.) = *Dobrica* (1279 г.), *Balislava* (Рагуза, XIII—XIV вв.) = *Bol'eslava*, *Gayslauus*, *Gaysclaua* (XIII в.) = *Gojslav*, *Gojslava*, *Pradanus* (1080 г.) = *Prodanus*, *Dabrasclavus* (1169, 1195, 1199 гг. и в XIII в.) = *Dobroslav*, *Dabramusclo* (850—876 гг.) = *Dobromysl*ъ, *Bellata* (1018 г.) = *Bělota* и т. д. [26]. Такие колебания в переходный период вполне естественны.

В основных польских диалектах рассматриваемое изменение произошло очень рано. В отдельных славянских диалектах праславянское *ā* сохранилось вплоть до настоящего времени. Таковы архаический смолянский болгарский диалект, белорусский язык, акающие диалекты русского языка и севернолехитский (полабский и кашубский, обычно *ā* сохраняется перед *r*).

Хронологию изменения праслав. *ā* > *о* в болгаро-славянском (и южнославянском) языке можно представить в следующем виде:

1. Праславянский гласный *ā* сохранялся во всех слогах почти вплоть до VIII—IX вв. К этому времени относятся следующие имена существительные собственные и нарицательные: Σκλαβηνοί (Σκλαυηνοί), Δαβραγέζας, Δαυρέντιος, Βαιουνηταί, Ἀρδαγάστος, Πειράγαστος, Δαργαμήρος,

[26] См. P. Kretschmer, указ. соч., стр. 237 и сл.

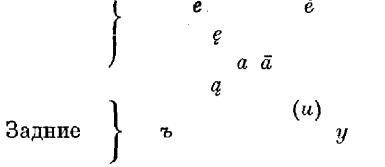
'Αρδαμέρι, Βαλτούκα, Γαρδίκι, Γαρδενίκια, 'Αβαρῖκος, Χάρμα, γαρασδ-, ζάκανον, ραγάζι(ον), καρούτα (Καρούτες), σάλμα, σβάρνα и т. д. Из таких примеров, как Γαρδίκι, Γαρδενίκια, 'Αβαρῖκος, Σκλαβηνοί (Σκλαυηνοί), Δαργαμήρος, 'Αρδαγάστος, 'Αρδαμέρι, видно, что праславянское *ă* сохранялось вплоть до наступления последнего этапа третьей палатализации (*-ьк'ъ* > *-ьсъ*), до перехода *ě* (открытого) в ѣ (= *ᵉa*, *ⁱa*) и до метатезы.

2. С VII—VIII вв. начинается постепенный (разновременный и разноместный) процесс изменения *ă* > *o*, охватывающий первоначально лишь ударный гласный *ă* и за некоторыми исключениями — заударный. В основных болгарских диалектах этот процесс начался немного позже наступления третьей палатализации, почти одновременно с метатезой и с переходом *ě* > *ᵉa* (*ⁱa*). К этому периоду восходят имена собственные и нарицательные типа Γαρίτσα, Γαράντζα, Γαρδίτσα (К-), Βαλτέτσι с рефлексами наступившей третьей палатализации, но без метатезы, Βαλδίμερ без метатезы и с сохранившимся ε = *ě* в безударном слоге, 'Αράχοβα, однако "Οραχος с переходом *ă* > *o* под ударением и в заударном слоге, как и с переходом *ě* > *ᵉa*, 'Αρεαχοβίτσα, 'Αραχοβίτσα = болг. *Оряховица* с рефлексом третьей палатализации и переходом *ě* > *ᵉa*[27]. Это состояние сохраняется и доныне в смолянском диалекте. В говорах сел Тихомир и Триград (как и в белорусском и в акающих диалектах русского языка) праслав. *ă* сохраняется не только в предударных, но и в заударных слогах, хотя в последних уже наблюдается колебание. В некоторых западных диалектах хорватского языка переход *ă* > *o* в наиболее консервативных существительных — именах собственных завершился между X и XIII вв.

3. К середине IX в. (непосредственно перед появлением письменности) почти одновременно с метатезой (*tart* > *trāt*) и с третьей палатализацией в основных болгарских диалектах процесс перехода праслав. *ă* > *o* завершился, причем он уже охватил и *ā* в предударном слоге. Имя Βαλδίμερ (889—893 гг.) представляет собой один из последних архаизмов: в это время обычными становятся уже формы Βλαδίμερ, Βλαδίμηρ (ος).

Праславянское соотношение гласных *ă* : *ā* полностью соответствовало балт. *ă* : *ā*, ср. латыш. *a* и *ā*, ст.-прусск. *a* и *ā*, *o*, *oa* из и.-е. *ā*, литов. *a* и *o* (представляющее собой более позднюю лабиализацию *ā* — процесс, который частично начался еще в старопрусском яыке). Итак, правильными праславянскими реконструкциями слов типа *дом*, *гость*, *око*, *овца* являются не **domъ*, **gostь*, **oko*, **ovьca*, а **damъ*, **gastь*, **aka*, **avьk'ā* из балто-слав. **avikā* < и. -е. **Howi-kā* < прото-и.-е. **Hзew-i-k-eH*$_2$.

Система вокализма (второго периода) развития праславянского языка может быть представлена в следующей схеме:



[27] В качестве примера наиболее раннего перехода *ă* > *o* под ударением следует привести форму Πειράγαστος имени Πειράγαστος, упомянутого у Феофилакта Симоката (VII в.). Однако эту форму можно объяснить также эллинизацией, поскольку *-o-* является обычным соединительным гласным в греческих двуосновных именах.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

В. Г. РУДЕЛЕВ

К ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКОГО АКАНЬЯ

Фонологическую интерпретацию русского аканья в настоящее время весьма затрудняет отсутствие обобщающих работ по типологии аканья. Тем не менее попытки фонологического анализа диалектных систем, включающих аканье, возможны (как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте) уже и теперь.

В порядке гипотезы целесообразно выделить в начале исследования те структурные типы аканья, которые более всего сохранили архаические черты, в отличие от тех, которые возможно рассматривать как результат развития архаических типов. В этом плане интересны и весьма убедительны доводы Л. Л. Васильева, А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, Р. И. Аванесова [1] и других исследователей, считающих исконным и первоначальным диссимилятивное аканье-яканье. С другой стороны, некоторые ученые (О. Курило, Н. Ван-Вейк [2] и др.) говорят о возможности более позднего развития диссимилятивного аканья-считая изначальным какой-либо другой тип, например сильное аканье-яканье. С этими утверждениями, однако, трудно согласиться хотя бы потому, что сильное аканье (яканье) отмечается, как правило, в тех областях, где возможно предполагать неакающий (окающий) субстрат. Так, в областях, охватываемых юго-западным наречием белорусского языка, обнаруживается постепенный — по мере приближения к Украине — переход аканья в оканье [3]; при сильном белорусском аканье нередко почти не различаются в количественно-качественном отношении непосредственно предударные и другие неударные гласные. Столь же маловероятно видеть в рязанских говорах развитие от сильного аканья (яканья) к ассимилятивно-диссимилятивному. Более верно видеть здесь противоположный процесс — развитие сильного аканья (яканья) на базе ассимилятивно-диссимилятивного в связи с усложнением системы после перехода (под влиянием литературного языка) [4] ударяемого *е* в *о*. Таким образом, можно полагать, что по крайней мере

[1] Л. Л. Васильев, Гласные в слоге под ударением в момент возникновения аканья в обоянском говоре, ИОРЯС, IX, 1, 1904; А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода в истории русского языка, Пг., 1915, стр. 331—335; Н. Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М.— Л., 1924, стр. 187; Р. И. Аванесов, Лингвистическая география и история русского языка, ВЯ, 1952, 6, стр. 36—38.

[2] О. Курило, До питання про умови розвитку дисимілятивного акання, «Зап. історично-філологічного відділу [Всеукр. АН]», XVI, Київ, 1928; N. van Wijk, Zur Entwicklungsgeschichte des Akanje und Jakanje, «Slavia», XIII, 4, 1934—1935.

[3] См. Е. Ф. Карский, Белорусы, 1, М., 1955, стр. 168—171.

[4] В связи с усвоением перехода *е* в *о* под ударением южновеликорусские рязанские говоры, которые раньше лабиализации ударяемого *е* в позиции перед твердым согласным не знали (см. В. Г. Орлова, Классификация южновеликорусских говоров в свете современных диалектных данных, ВЯ, 1955, 6, стр. 8), видоизменяют систему яканья. Развиваются разновидности яканья, переходные от ассимилятивно-диссимилятивного к сильному (култуковская и ореховская). Особенно близка к сильному ореховская разновидность ассимилятивно-диссимилятивного яканья [В. Д. Бондалетов, О четвертой разновидности ассимилятивно-диссимилятивного яканья. сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка. Труды I научн. конференции кафедр русск. языка пед. ин-тов Поволжья (1957)», Саратов, 1959].

в ряде говоров диссимилятивное аканье явилось началом развития акающего вокализма. Что касается сильного и умеренного аканья-яканья, то они, видимо, должны быть исключены из числа архаических типов [5].

А. А. Шахматов связывал появление диссимилятивного аканья в некоторых древнерусских говорах с редукцией в безударных слогах гласных неверхнего подъема *а*, *о*, *е* (сюда же он относил и *ѣ*, рано совпавший с *е*[6]) и с последующим прояснением новых редуцированных в *а* (или, для некоторых говоров, после мягких согласных в гласный переднего ряда) перед слогом с любым из сократившихся (вслед за редукцией) ударяемых *и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô*. Так как остальные ударяемые гласные (*о*, *е* и *а*, сократившиеся сравнительно рано) изменениям не подвергались и, следовательно, в словах, где они находились, компенсации количества звучания в предударных слогах быть не могло, в слоге перед *а*, *о* или *е* сохранялись редуцированные. Так, по мнению А. А. Шахматова, возник первоначальный тип диссимилятивного аканья, из которого развились впоследствии все типы, известные ныне.

Концепция А. А. Шахматова относительно происхождения русского аканья не вышла за рамки гипотезы, многими учеными полностью или частично не принимаемой [7], поскольку она не объясняла системной обусловленности некоторых исходных моментов — редукции *а*, *о*, *е* в безударной позиции, сокращения исконно долгого ударяемого *а*, компенсации сокращения некоторых ударяемых гласных путем усиления звучания предударных слогов. Между тем фонологическая интерпретация возникновения аканья позволяет признать многие положения А. А. Шахматова относительно фонетической истории этого явления правильными [8].

[5] Вторичность умеренного яканья хорошо доказал В. Н. Сидоров (см. его работы: «О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах», ИАН СССР, Отд-ние лит-ры и языка, 1951, 2, стр. 172—183; «Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах», «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», II, 1952).

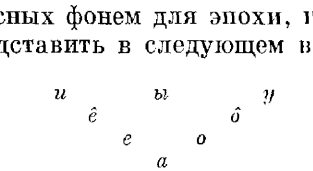
[6] А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, стр. 331—335. Взгляды А. А. Шахматова на историю аканья пережили некоторую эволюцию. В работе «Русское и словенское аканье» (РВФ, XLVIII, 3—4, 1902) А. А. Шахматов делает попытку связать редукцию неверхних безударных гласных с изменением в общерусскую эпоху музыкально-экспираторного ударения в экспираторное. Впоследствии А. А. Шахматов счел возможным рассматривать редукцию *а*, *о*, *е* в безударных слогах вне связи с изменением русского ударения. По его мнению, сокращение *а*, *о*, *е* находилось в зависимости от общей тенденции к редукции, возникшей еще в праславянскую эпоху («Очерк древнейшего периода истории русского языка...», стр. 331).

[7] Так, проф. Ф. П. Филин отвергает какую бы то ни было связь между аканьем и редукцией безударных гласных (см. его выступление на конференции в кн. «Труды I диалектологич. конференции», Ростов-на-Дону, 1939, стр. 110; см. также его работу «Говор д. Селино Дубенского района Тульской области», сб. «Материалы и исследования по русской диалектологии [Ин-т русск. языка АН СССР]», I, М.— Л., 1949, стр. 283—284). Проф. В. И. Лыткин полагает, что аканье возникло в некоторых древнерусских говорах не спонтанным путем, как это предположил А. А. Шахматов, а на базе мордовского субстрата [«К вопросу о происхождении аканья в русском языке», «Научн. конференция 1957—1958 уч. г. [Рязанск. гос. пед. ин-т]» (тезисы-аннотации докладов), 1959, стр. 71—72]. Ряд ученых оспаривает раннюю хронологию аканья, предложенную А. А. Шахматовым [см. Р. И. Аванесов, Вопросы образования русского языка в его говорах, «Вестник МГУ», 1947, 9, стр. 113—117; его же, Лингвистическая география и история русского языка, стр. 36; его же, Проблемы образования языка русской (великорусской) народности, ВЯ, 1955, 5, стр. 28]. Критику концепции А. А. Шахматова находим в указанной выше работе Н. Ван-Вейка. Многие положения теории А. А. Шахматова оспариваются О. Броком («Говоры к западу от Мосальска», Пг., 1916, стр. 59), О. Курило (указ. соч.), Р. Якобсоном [«Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves» (TCLP, 2), 1929, стр. 83—93] и др.

[8] Предложенная Р. И. Аванесовым относительная хронология русского аканья («Проблемы образования языка...», стр. 28) также вытекает из заключения

Рассмотрим предполагаемую А. А. Шахматовым систему вокализма древнерусских говоров, развивших в дальнейшем аканье, с точки зрения фонологических оппозиций. В плане относительной хронологии будет принят во внимание период после утраты русским языком тонического ударения, исчезновения носовых гласных (вплоть до полной их дефонологизации и нейтрализации с соседними фонемами *у*, *а*), а также изменения редуцированных ъ, ь. Объект исследования ограничивается рассмотрением лишь ударяемых и двух предударных слогов, так как вопрос о происхождении заударного аканья заслуживает специального изучения ввиду сложности и структурного разнообразия этого явления.

С утратой древнерусским языком тонического ударения стали возможными квантитативные различия ударяемых и безударных гласных: последние имели тенденцию к утрате долготы (там, где она еще сохранялась). Таким образом, бывшие долгие гласные *и*, *ы*, *у*, *ѣ*, *а* в безударных слогах подвергаются сокращению, давая возможность ударяемым гласным фонемам выполнять кульминативную функцию [9]. Сокращение *ѣ* в безударной позиции было фактической утратой одного из важнейших ДП этой фонемы [10], повлекшей за собой утрату и других ДП, в результате чего стала возможной нейтрализация безударных фонем *ѣ* : *е*. В ударяемых слогах повода для квантитативных изменений гласных пока не было. Систему ударяемых гласных фонем для эпохи, предшествовавшей развитию аканья, можно представить в следующем виде [11]:



По квантитативным признакам ряд долгих гласных образовывали *и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô*, *а*. Этому ряду был противопоставлен ряд кратких: *е*, *о*. Так как оппозиция до ДП «долгота-краткость» была чисто исторической, пере-

---

А. А. Шахматова о развитии аканья после изменения редуцированных ъ, ь. Эта хронология (аканье развивается после изменения редуцированных, после образования *ô* и до перехода *ѣ* > *е*, *е* > *о*) принимается многими лингвистами, в том числе и автором данной статьи. Заметим, однако, что эта относительная хронология мало говорит о точном времени развития аканья, так как время изменений, предшествовавших развитию аканья, в частности исчезновения ъ, ь в говорах, впоследствии акающих, точно не установлено.

[9] На возможность утраты некоторого количества звучания безударными гласными при ликвидации тонического ударения указывали многие ученые, например В. А. Богородицкий («Лекции по общему языковедению», Казань, 1915, стр. 81—82). Интересны в этом плане приводимые А. М. Селищевым примеры усиления напряженности ударяемыми и ослабления безударными гласными в некоторых болгарских говорах (см. его работу «Заметки по великорусской диалектологии», I — К изучению типов аканья, «Slavia», VI, 2, 3, 1927, стр. 458—462). Отметим, однако, что развитие аканья связывается с изменением древнерусского ударения нередко слишком прямолинейно. В. А. Богородицкий, например, появление *а* на месте этимологического *о* в предударных слогах ставит в зависимость от «индифферентности» безударного русского *о*. От установления такого рода прямолинейных связей справедливо предостерегает А. Мартине в книге «Принцип экономии в фонетических изменениях (проблемы диахронической фонологии)» (М., 1960, стр. 220—221).

[10] Считаем возможным на раннем этапе развития древнерусского языка рассматривать долготу и краткость как ДП на фонемном уровне, а не как явления просодии (ср. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 210—224), так как оба эти признака характеризовали отдельные фонемы, но не всю систему гласных фонем.

[11] В данной схеме не учтены возможные после падения ъ, ь фонемные объединения: *и*/*ы*, *е*/*о*, *ê*/*ô*, которые могли возникнуть в связи с развитием корреляции согласных фонем по твердости — мягкости. В раннеакающих говорах тенденция к объединению *е*/*о*, *ê*/*ô* поддерживалась тем, что в этих говорах не было перехода *е* > *о*, но, с другой стороны, актуальная оппозиция по ДП «бемольная тональность—

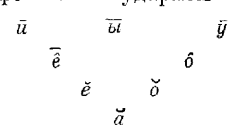
житочной (ибо не имелось ни одной пары фонем, отличающихся только по количеству звучания в ударяемых слогах) и в некоторых отношениях не совпадала с актуальной оппозицией по ДП «диффузность-компактность», ДП «долгота-краткость» для ударяемых гласных фонем должен был либо стать избыточным [12], либо приобрести определенную системность (оппозиция по ДП «долгота-краткость» приводится в соответствие с оппозицией по ДП «диффузность — компактность»).

Все диффузные фонемы относились к долгим, большинство же компактных — к кратким. Для выравнивания фонемных рядов, выступавших в оппозиции по ДП «диффузность, долгота — компактность, краткость», необходимо было, чтобы долгая фонема *а* либо перешла в ряд диффузных, либо сократилась. Стать диффузной наиболее компактная фонема *а* не могла, в силу этого происходило ее сокращение.

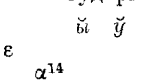
Таким образом, в ударяемых слогах группа диффузных долгих *и*, *ы*, *у*, *ê*. *ô*, видимо, оказалась противопоставленной в говорах, развивших впоследствии аканье, группе компактных кратких *е*, *о*, *а*. Характер данной оппозиции должен был повлиять и на безударные слоги, где у диффузных также возникла тенденция стать в оппозицию с компактными по количеству звучания. Но так как безударные диффузные сами были краткими, то гласные компактные безударных слогов должны были стать еще более краткими, т. е. редуцироваться. Редукция способствовала нейтрализации безударных фонем *а* : *о* и выработке на их месте одной фонемы. Таким образом, *а*, *о* > *ɑ*; *е* > *ɛ*.

В результате описанных изменений могла возникнуть следующая система гласных фонем:

Сильные фонемы [13] ударяемых слогов:



Слабые фонемы безударных слогов:



Дальнейшие изменения касались более просодии, нежели системы фонем. Из приведенных схем видно, что долгие гласные фонемы могли быть только в ударяемых слогах, краткие — в ударяемых и безударных, реду-

простая тональность» (ввиду наличия в этой системе лабиального *у*) препятствовала такому объединению. Сохранение *е*, *о*, *ê*, *ô* их фонемной самостоятельности затормозило процесс дефонологизации *ы*; об абсолютной завершенности этого процесса, по-видимому, невозможно говорить и относительно современного русского языка. Для настоящей работы этот вопрос, впрочем, имеет лишь терминологическое значение, так как в любом случае сохраняются ряды *е* — *о*, *ê* — *ô*, *и* — *ы* по наличию или отсутствию актуальных ДП.

[12] Так происходило, по-видимому, развитие фонологической системы в северновеликорусских говорах, исключая владимиро-поволжские. Вследствие избыточности ДП «долгота — краткость» ударяемые гласные фонемы нейтрализуются в количестве звучания. Это приводит к полной нейтрализации некоторых фонем. В частности, возникают благоприятные условия для нейтрализации утратившего долготу *ъ* и *е*. Возможна нейтрализация *ъ* : *и*. Отдельные манифестации *ъ* могут нейтрализоваться с *и* (при сохранении рядом других манифестаций *ъ* фонемной самостоятельности). Ср. Е. В. Сорокина, Классификация рефлексов старого «ять» в современных севернорусских говорах, сб. «Материалы и исследования по русской диалектологии [МГПИ им. В. И. Ленина]», 1959. В некотрых говорах севера происходит нейтрализация *ô* : *о*, *'а* : *е* и т. д.

[13] См. Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, [М.], 1956, стр. 108—124.

[14] Вероятно, *ɑ*, *ɛ* обнаруживали тенденцию стать одной фонемой, но эта тенденция не была полностью реализована; во всяком случае, нейтрализация *ɑ*, *ɛ* с соседними фонемами проходила впоследствии по-разному. Объединению *ɛ*, *ɑ* в одну фонему могла способствовать нейтрализация *ɛ* и *ɑ* после мягких согласных, но эта нейтрализация, видимо, в ряде говоров не осуществилась.

цированные — только в безударных. Возможность сочетаемости различных в квантитативном отношении гласных фонем в просодических моделях (с учетом ударяемого и двух предшествующих безударных слогов) должна была быть следующей:

I.	1) ∨ ∨ ◡́ [15]	для словоформ типа	*пересек* [п'ɛр'ɛс'ɛ́к]
	2) ∨ ◡ ◡́		*поливать* [пɑл'йвǎт']
	3) ◡ ∨ ◡́		*выделять* [вы̆д'ɛл'ǎ́т']
	4) ◡ ◡ ◡́		*вырывать* [вы̆ры̆вǎ́т']
II.	5) ∨ ∨ –́	для словоформ типа	*посадить* [пɑсɑд'и́т']
	6) ∨ ◡ –́		*посудить* [пɑсўд'и́т']
	7) ◡ ∨ –́		*судаки* [сўдɑк'и́]
	8) ◡ ◡ –́		*сундуки* [сўндўк'и́]

При наличии под ударением долгой фонемы (модели 5, 6, 7, 8) и в случае, если под ударением находилась краткая, а в предударных слогах — редуцированные фонемы (модель 1), функцию кульминативного выделения слога [16] могли выполнять квантитативные различия у слогоносителей, так как ударяемый слог в таких случаях всегда имел больше энергии, чем безударный. Если же под ударением находилась краткая фонема, а в безударных ей противостояли равные по количеству звучания фонемы, то (при утрате различий в тоне) кульминативную функцию должны были выполнять какие-то иные различия. Наиболее вероятно в этом случае предполагать использование в качестве кульминатора высокой интенсивности слогоносителей *а*, *о*, *е* [17].

Излишне большое количество просодических моделей (8) и использование двух разнородных кульминаторов свидетельствуют о неэкономичности просодической системы. Отсюда следует тенденция к ликвидации разнородности ударения. Последнее может достигаться либо дефонологизацией интенсивности (генерализация моделей II группы), либо дефонологизацией долготы (генерализация моделей I группы). В случае генерализации моделей I группы[18] ударяемые слогоносители *и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô* должны (по возможности) усилить свою интенсивность, соответственно уменьшив долготу. Эта долгота может в известных условиях сохраняться (в зависимости от фразовой мелодики), но она уже не играет фонологической роли, а лишь усиливает общее акустическое ощущение интенсивности.

Дефонологизация долготы на просодическом уровне вызывает нейтрализацию просодем в моделях II группы: эти просодемы перестают противопоставляться друг другу в квантитативном отношении и становятся одинаково краткими. В этом случае следует учесть ассимилирующую роль моделей I группы, где ударяемыми могли быть только краткие просодемы. Идеальным результатом изменений моделей II группы было бы:

5) ∨ ∨ –́ > ◡ ◡ ◡́ 7) ◡ ∨ –́ > ◡ ◡ ◡́
6) ∨ ◡ –́ > ◡ ◡ ◡́ 8) ◡ ◡ –́ > ◡ ◡ ◡́

---

[15] –, ◡, ∨ принимаются как знаки долготы, краткости и редукции в моделях.

[16] См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 224.

[17] Ср. Л. В. Златоустова, К вопросу о природе ударения в окающих говорах с редукцией сравнительно с литературным языком, сб. «Материалы и исследования по диалектологии Волго-Камья», [Казань], 1961, стр. 67—68.

[18] Факты свидетельствуют, что именно этот путь выработки однородного ударения был избран говорами, впоследствии акающими. Так, в говорах с обоянским аканьем бывший долгий *ô* произносится в квантитативном отношении так же, как и другие ударяемые гласные; факультативное долгое произношение *ô* (в виде дифтонга *уо*) зависит от выделения слога или слова во фразе (ср. Т. Г. Строганова, Одна из особенностей южнорусского вокализма, ВЯ, 1955, 4, стр. 98—99).

Однако на результаты изменений моделей II группы повлияли некоторые преобразования моделей I группы. Там принцип кульминативного выделения средствами интенсивности находил наиболее полную реализацию в модели 2 (∨ ∪ ∪́), где наблюдалось возрастание интенсивности от второго предударного до ударяемого слога (редукция второго предударного слога может приравниваться к весьма слабой интенсивности). С другой стороны, в модели 3 реализация указанного принципа наталкивалась на известную трудность: первый слогоноситель был более интенсивным, нежели второй, затем интенсивность снова возрастала (∪∨∪́). Положение исправляется с изменением первого слогоносителя ∪ > ∨, т. е. модель 3 уподобляется модели 1 (∨∨∪́). Но данное изменение не могло не затронуть и остальные модели, имевшие первым членом ∪ (модель 4 и преобразованные модели 5, 6, 7, 8): модели типа ∪∪∪́ > ∨∪∪́.

Итак, на месте 8 просодических моделей возникает всего 2 : ∨∪∪́ и ∨∧ ∪́. Одну из них (∨∪∪́) можно отождествить с просодической моделью русского литературного языка (...1231...). Ударение утрачивает свою разнородность. Указанные изменения на просодическом уровне не могли не затронуть системы фонем в говорах, развивающих аканье.

1. Изменения в системе ударяемых гласных фонем. Став избыточным на просодическом уровне, ДП «долгота — краткость» становится избыточным и на уровне фонемном. Возникают предпосылки для окончательной дефонологизации этого ДП, в результате чего ударяемые фонемы *и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô*, *е*, *о*, *а* перестают различаться в квантативном отношении. По-прежнему актуальна оппозиция по ДП «диффузность — компактность»: диффузные *и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô* противопоставлены компактным *а*, *о*, *е*. Однако в результате дефонологизации ДП «долгота — краткость» многие фонемы утратили один из важнейших дифференциальных признаков. Это способствует нейтрализации фонем, занимающих периферийное положение в ряду диффузных и в ряду компактных. В частности, становится возможной нейтрализация фонем *ê* : *е*, *ô* : *о*, которая может иметь различную хронологию по говорам.

2. Изменения в системе предударных гласных фонем. Вследствие трансформации моделей:

5) ∨ ∨ ⏑
6) ∨ ∪ ⏑
7) ∪ ∨ ⏑ > ∨ ∪ ∪́
8) ∪ ∪ ⏑

слабые фонемы α, ε в первом предударном слоге в ряде позиций (перед слогом с сократившимися *и*, *ы*, *у*, *ê* или *ô*) утратили один из важнейших ДП — редукцию. В то же время перед слогом с исконно кратким *а*, *о* или *е* непосредственно предударные α, ε остаются редуцированными, хотя их редукция является теперь не фонемическим, а просодическим признаком (показатель весьма незначительной силы звучания). В связи с дефонологизацией квантитативности в фонематических оппозициях первого предударного слога возрастает роль ДП «диффузность — компактность», благодаря чему утратившие редукцию α, ε усиливают свою компактность, нейтрализуясь вследствие этого в ∧. Но своей компактностью ∧ противопоставляется в первом предударном слоге не только *ы*, *и*, *у*, но и сохранившим редукцию α, ε. Не став диффузными, фонемы α, ε занимают промежуточное положение между диффузными и компактными; последнее же способствует нейтрализации α, ε с соседними фонемами, имевшей по говорам различный характер и различную хронологию.

Таблицы слабых фонем первого предударного слога:

и	*ы*	*у*		диффузные
	ε	*α*		компактно-диффузные
		∧		компактные

Во втором предударном слоге в силу генерализации моделей ∨◡◡́ и ∨∨◡́ все фонемы стали редуцированными. Различия между *ы̆*, *й*, *ў*, *α*, *ε* могли, таким образом, реально существовать только в плане оппозиции по ДП «диффузность — компактность» (диффузные: *й*, *ы̆*, *ў*; компактные: *α*, *ε*). Но в первом предударном слоге *α*, *ε* заняли промежуточное положение между диффузными и компактными. Это промежуточное положение непосредственно предударных *α*, *ε* распространяется и на остальные предударные *α*, *ε*.

Предполагаемые фонемные и просодические изменения приводят к образованию системы, близкой к вокализму говоров, имеющих ныне диссимилятивное аканье и яканье обоянского подтипа[19], т. е. в случае ударяемых *и*, *ы*, *у*, а также сохранившихся пока еще *ê*, *ô* в первом предударном слоге на месте этимологических *а*, *о*, *е* всюду представлено ∧, а в случае ударяемых *а*, *о*, *е* — не ∧ (в отличие от современных обоянских говоров, это редуцированный *α* или *ε*; в обоянских говорах *ε* стал уже полным гласным *и*):

Модели:	Примеры:
1) ∨∨◡́	*вы̆д'ел'а́т'*, *галава́*; *маладо́й*, *пал'ево́й*; *накан'е́ц*, *малад'е́ц*, *пад'ер'е́вн'е*
2) ∨◡◡́	*пал'ива́т'*, *вы́рыва́т'*, *сабл'уда́т'*; *галубо́й*, *пал'ивно́й*; *пас∧д'и́т'*; *нар'∧д'и́т'*; *гал∧вы́*, *л'еб'∧ды́*; *пал∧жу́*, *л'еб'∧ду́*; *гал∧во́й*, *л'еб'∧до́й*; *в гал∧в'е́*, *в л'еб'∧д'е́*; *сўд∧к'и́*, *сўндук'и́*

Дальнейшие изменения предполагаемого архаического диссимилятивного аканья могут сводиться к следующему: 1) к нейтрализации ударяемых фонем *ô* : *о*, *ê* : *е*; в результате этой нейтрализации уменьшается число диффузных фонем, а компактные расширяют сферу своего употребления; 2) к нейтрализации *α*, *ε* с фонемами, стоящими рядом в фонемной системе. Это объясняется тем, что в развившейся системе вокализма стали иррелевантными квантитативные признаки фонем. Различия в интенсивности принадлежали также не фонемам, а просодемам. В таких условиях возможна нейтрализация некоторых слабых и сильных фонем по ряду общих ДП. Так, ввиду идентичности ДП нейтрализуются слабые фонемы *ы̆*, *ы* с сильной фонемой *ы*, слабые *й*, *и* — с сильной *и*, слабые *ў*, *у* — с сильной *у*, слабая ∧ — с сильной *а*. Слабые фонемы *α*, *ε* также имеют тенденцию нейтрализоваться с сильными фонемами. Благодаря их промежуточному положению в фонематической системе (компактно-диффузные) нейтрализация возможна как с диффузными, так и с компактными. Ликвидации фонемной самостоятельности *α*, *ε* способствует унификация просодических моделей, наиболее продуктивной из которых является модель ∨◡◡́. Именно с этим связано усиление *ε* в первом предударном слоге и переход $\overset{\circ}{\varepsilon} > e^{u}$. Новая фонема e^{u} нейтрализуется с *и* в обоянских говорах и с *е* — в задонских. Изолированное положение *ε* во втором предударном слоге приводит к нейтрализации *ε* : *й* (обоянские говоры). Но *й* — позиционный вариант фонемы *и*, следовательно, наступает полная

[19] Аналогичные фонологические изменения имели место, по-видимому, в некоторых владимиро-поволжских говорах, однако там редукция безударных *а*, *о*, *е* не привела к нейтрализации *а* : *о* в первом предударном слоге. Такая нейтрализация имела место в других безударных слогах, но уже после того, как количество звучания *а*, *о* в первом предударном слоге снова несколько возросло.

дефонологизация ɛ. В задонских говорах нейтрализация ɛ: *и* отсутствует, там ɛ является позиционным вариантом ударяемой и предударной фонемы *е*.

С генерализацией модели $\vee\cup\overset{\cup}{\cdot}$ связана нейтрализация α : ∧ в первом предударном слоге. Но ∧ — вариант фонемы *а*, следовательно, в первом предударном слоге α теряет свою фонемную самостоятельность. Полная дефонологизация α, однако, должна была наступить с ассимиляцией фонемой *а* всех остальных безударных α, которые ликвидировали свое промежуточное положение между диффузными и компактными путем усиления компактности. Дело усложняется тем, что во втором предударном слоге не имеется достаточных условий для противопоставления друг другу редуцированных *й*, *ы*, *ў*, α, которые в некоторых случаях различаются недостаточно четко [20]. Особенно близки между собою *ы*, α. Но так как *ы* — позиционный вариант фонемы *ы*, то α как бы находится в состоянии «выбора» между фонемой *а* и фонемой *ы* [21].

Нейтрализация фонем α : *а* в первом предударном слоге означает фактическую утрату диссимилятивного аканья (в узком смысле). Что же касается диссимилятивного яканья, то оно сохраняется, так как нейтрализация ɛ : *е* или ɛ : *и* не препятствует реализации принципа диссимилятивности. Именно этим, видимо, объясняется тот факт, что диссимилятивное аканье встречается в южновеликорусских говорах реже, чем диссимилятивное яканье.

*

Рассмотренный путь развития диссимилятивного аканья, возможно, не был единственным. А. А. Шахматов считал, что прояснение редуцированного ɛ в предударном слоге в полный гласный, если под ударением находился один из сократившихся долгих, могло проходить не одинаково в различных говорах [22]. Фонологически это можно интерпретировать следующим образом. Находясь в ряду компактных, противопоставленных диффузным, фонема ɛ, удлиняясь вследствие генерализации модели $\vee\cup\overset{\cup}{\cdot}$, должна была изменить свое качество и стать еще более компактной. Между тем качество ɛ позволяло занимать ей промежуточное положение между компактными и диффузными. Перестав быть редуцированной, фонема ɛ могла укрепить свое промежуточное положение. В таком случае $\varepsilon > e^{u}$.

Но если возможен и такой путь развития диссимилятивного аканья, то архаических типов его было два, а не один [23]. Последний должен, в отличие от первого, иметь вид:

Модели:	Примеры:
1) $\vee\vee\overset{\cup}{\cdot}$	*выў'ел'а́т'*, *галава́*; *малады́й*, *пал'евы́й*; *малад'ёц*, *пад'ер'ёвн'е*
2) $\vee\cup\overset{\cup}{\cdot}$	*пал'ива́т'*, *вырыва́т'*, *сабл'уда́т'*; *галубы́й*, *пал'ивны́й*; *пас∧д'и́т'*, *нар'е^{u}д'и́т'*; *гал∧вы́*, *л'еб'е^{u}ды́*; *пал∧жу́*, *л'еб'е^{u}ду́*; *в гал∧в'ё*, *в л'еб'е^{u}д'ё*; *сўд∧к'и́*, *сўндук'и́* и т. д.

[20] Так, в ряде говоров произносят *въдава́т'*, *мълава́р*, *сындук'и́* и пр. (см. Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 108—109).

[21] Этим, по-видимому, объясняется отсутствие единства у некоторых фонологов (сторонников фонологической теории Л. В. Щербы) в фонологическом определении α: она считается либо вариантом фонемы *а*, либо вариантом фонемы *ы* (ср. А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, I, 1958, стр. 35 и Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, [Л.], 1960, стр. 51).

[22] А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, стр. 333.

[23] Ср. Р. И. Аванесов, Лингвистическая география и история русского языка, стр. 38 и сл.

Дальнейшие изменения могли идти по следующим направлениям: 1) генерализация модели $\vee\cup\breve{\cup}$, нейтрализация фонем $\hat{e} : e$, $\hat{o} : o$ и переход $e > o$ под ударением в позиции перед твердым согласным, возможно, импортированный из соседних диалектов, а не развившийся самостоятельно, приводят к упрощению первоначальной системы аканья (в узком смысле), вплоть до окончательной ликвидации диссимилятивности после твердых согласных (это способствует дефонологизации α); 2) нейтрализация $\varepsilon : e^{u}$ в первом предударном слоге вследствие генерализации модели $\vee\cup\breve{\cup}$ приводит к нарушению принципа диссимилятивности и после мягких согласных: всюду в первом предударном слоге $\varepsilon > e^{u}$. Система гласных фонем в результате этого приобретает вид, который имеет вокализм современного русского литературного языка.

*

Подведем итоги.

1. Развитие аканья начинается с приобретения системности потерявшей свою актуальность оппозиции гласных фонем ударяемого слога по ДП «долгота — краткость» (*и*, *ы*, *у*, *ô*, *ê*, *а* — *о*, *е*) в соответствии с актуальной оппозицией по ДП «диффузность — компактность» (*и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô* — *а*, *о*, *е*), в результате чего все диффузные закрепились как долгие, а все компактные стали краткими. Характер оппозиции по ДП «диффузность, долгота — компактность, краткость» ударяемых слогов повлияли на оппозицию диффузных и компактных фонем безударных слогов. Но так как в безударных слогах в связи с ликвидацией тонического ударения долгие гласные сократились, то безударные краткие диффузные противопоставляются еще более кратким (редуцированным) компактным α, ε, возникшим на месте *е*, *а*, *о*.

2. Достигнутое равновесие системы фонем нарушается изменениями в области просодии. Генерализация просодических моделей, в которых в роли кульминатора могла использоваться интенсивность гласных, приводит к дефонологизации на просодическом уровне долготы, выступавшей ранее в кульминативной функции: ударяемые и предударные слоги в некоторых просодических моделях нейтрализуются в квантитативном отношении. На фонемном уровне это выражается в утрате ударяемыми фонемами *и*, *ы*, *у*, *ê*, *ô* долготы, а фонемами α, ε перед слогом с любой из сократившихся ударяемых фонем — редукции. Прочно утверждаясь в ряду компактных, утратившие редукцию α, ε нейтрализуются в безударной фонеме $\wedge$. Но в некоторых говорах происходит усиление компактности только у фонемы α. Фонема же ε в первом предударном слоге занимает промежуточное положение между диффузными и компактными, в реультате чего наблюдается изменение $\varepsilon > e^{u}$. Так возникает первоначальное, архаическое диссимилятивное аканье в его двух вариантах.

3. Дальнейшие изменения системы гласных фонем говоров с диссимилятивным аканьем связаны с нейтрализацией ударяемых фонем $\hat{o} : o$, $\hat{e} : e$ и нейтрализацией слабых, безударных фонем с сильными, ударяемыми: $\breve{ы}$, $ы : \acute{ы}$; $\breve{и}$, $и : \acute{и}$; $\breve{у}$, $у : \acute{у}$; $\varepsilon : \acute{и}$ (или $\varepsilon : \hat{e}$), $\alpha : \wedge : \acute{а}$. Тенденция к нейтрализации $\alpha : \wedge : а$ находит наибольшую реализацию в говорах, которые ликвидируют принцип диссимилятивности в употреблении фонем первого предударного слога в зависимости от качества ударяемых фонем.

4. Фонологическая интерпретация русского аканья позволяет подтвердить правильность многих положений А. А. Шахматова относительно истории этого явления. Она поможет пролить свет на некоторые спорные вопросы русской диахронической фонологии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

А. В. ИСАЧЕНКО

БИНАРНОСТЬ, ПРИВАТИВНЫЕ ОППОЗИЦИИ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

1.0. В современной лингвистической литературе живо дискутируется вопрос о границах применимости дихотомического принципа в разных областях языкознания. Серьезной критике был подвергнут принцип бинарных оппозиций в фонологии [1]. Не менее серьезные возражения вызывает применение бинарного принципа в области грамматики [2]. В данной статье предпринята попытка теоретического обоснования дихотомической концепции, выработанной пражской школой; на примере категории лица иллюстрируется применимость дихотомического принципа в области многочисленных грамматических категорий.

1.1. Критики дихотомического принципа в качестве одного из основных аргументов ссылаются на существование в языке большого ряда категорий, представленных не двумя, а несколькими членами (времена, наклонения, лица). Существование таких категорий ограничивает применимость бинарного принципа в области грамматики. Выступая против выделения бинарных отличительных признаков в фонологии, А. А. Реформатский считает, что там, где в самих явлениях языка «онтологически» имеется противопоставление двух и только двух рядов, можно говорить о «подлинном бинаризме». Во всех остальных случаях «бинаризм» является «эвристическим», привнесенным в анализ «путем логического приема дихотомии» [3]. Ссылаясь на А. А. Реформатского, Е. И. Шенделъс допускает, что можно «искусственно построить бинарные ряды такого рода: первое лицо и непервое лицо, мужской род и немужской род..., но это будет искусственной дихотомией, не отражающей р е а л ь н о й я з ы к о в о й к а р т и н ы (разрядка моя.— *А. И.*). Синтез неминуемо приведет к восстановлению объективно существующих многочисленных формальных рядов» [4].

Применение дихотомического принципа к грамматическим явлениям вовсе не приводит к ликвидации многочисленных категорий. Анализ по бинарным признакам помогает с большей точностью определить с и-

---

Например, Вяч. В. Иванов писал: «Некоторые удобства, связанные с выбором системы двоичных различительных признаков, тем не менее не могут оправдать ее применения в тех случаях, когда классификация по двоичным признакам может привести к смешению тех фонем (в частности, гласных), спектры которых отличаются друг от друга» (см. В я ч. В. И в а н о в, Теория фонологических различительных признаков, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 168). Ср. также: Л. А. Ч и с т о в и ч, Текущее распознавание речи человеком, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1961, 6, стр. 46 и сл.; А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 107 и сл.; D. L. B o l i n g e r, Generality, gradience and the all-or-none, 's-Gravenhage, 1961.

[2] Ср.: Б. Н. Г о л о в и н, Заметки о грамматическом значении, ВЯ, 1962, 2; Е. И. Ш е н д е л ь с, О грамматической полисемии, ВЯ, 1962, 3.

[3] А. А. Р е ф о р м а т с к и й, указ. соч., стр. 113.

[4] Е. И. Ш е н д е л ь с, указ. соч., стр. 49.

стему данной категории, т. е. вскрыть те общие (инвариантные) значения, которыми каждый из членов отличается от всех других сочленов данной категории.

Критики дихотомической теории ссылаются на то, что в системе оппозиций, разработанной Н. С. Трубецким, кроме привативных, имеются еще ступенчатые и равнозначные (эквиполентные) оппозиции и что «дихотомисты» якобы слишком односторонне прибегают к первым, игнорируя остальные. Поскольку понятие оппозиции (в частности, привативной оппозиции) является в нашем изложении центральным, целесообразно будет проследить развитие этого понятия в современной лингвистике.

2.1. Термин «оппозиция» был перенесен *в лингвистику не из логики*, а из более или менее образного словоупотребления. Нетрудно показать, что «оппозиция» употребляется в трудах де Соссюра и Н. С. Трубецкого в качестве синонима более широкого понятия «различие». «В языке все сводится к различениям»,— пишет Ф. де Соссюр [5], а Н. С. Трубецкой озаглавливает главу, посвященную теории фонем, словом «Unterscheidungslehre» («учение о смыслоразличении») [6]. Термин «различие» («différence») у де Соссюра незаметно заменяется термином «противоположение» («opposition»): «Фонемы прежде всего характеризуются тем, что они взаимно противопоставлены («oppositives»), взаимно относительны и взаимно отрицательны» [7]. Для правильного понимания учения де Соссюра в целом важно отметить общую диалектическую основу его учения. Ф. де Соссюр отлично понимал, что «различия» выделимы лишь на фоне «тождества» и что, таким образом, «тождество» и «различие» являются двумя членами диалектического единства: «Весь лингвистический механизм вращается исключительно вокруг тождеств и различий, причем эти последние только оборотная сторона («contre-partie») первых» [8].

В фонологической теории Н. С. Трубецкого критерий «различия», или «различения» («Unterscheidung») является краеугольным камнем. Само понятие «оппозиции» вводится через понятие «различия»: «Понятие различия предполагает понятие п р о т и в о п о л о ж е н и я, и л и о п п о з и ц и и» [9]. Такая формулировка, однако, стирает иерархию между данными понятиями. Понятие «различия» шире понятия «оппозиции». Две языковые формы (например, *столом* и *знаешь*) могут быть различными, но такое различие еще не будет *противоположением* (*оппозицией*).

2.2.1. Как известно, Н. С. Трубецкой различает три типа оппозиций: привативные, ступенчатые и равнозначные (эквиполентные). Рассмотрим логическое содержание каждого из этих терминов.

2.2.2. «П р и в а т и в н ы м и называются оппозиции, один член которых характеризуется наличием, а другой — отсутствием признака, например „звонкий — незвонкий“...» [10]. С точки зрения традиционной ло-

---

[5] Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 125.

[6] N. S. T r u b e t z k o y, Grundzüge der Phonologie, Prag, 1939, стр. 30. В русском переводе соответствующая глава озаглавлена так: «Учение о смыслоразличении» (Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 38).

[7] Ф. д е С о с с ю р, указ. соч., стр. 118.

[8] Там же, стр. 109. Признавая единство т о ж д е с т в а и р а з л и ч и я, Ф. де Соссюр этим самым опровергает свое же утверждение, будто в языке «существуют лишь различия без положительных членов», так как определение тождества без положительных членов немыслимо. Э. Бойссенс в свое время показал, что соссюровский афоризм о различиях «без положительных членов» должен быть признан парадоксом (ср. E B u y s s e n s, Mise au point de quelques notions fondamentales de la phonologie, «Cahiers F. de Saussure», 8, Genève, 1949, стр. 44).

[9] Н. С. Т р у б е ц к о й, указ. соч., стр. 38.

[10] Там же, стр. 82—83.

гики привативные оппозиции соответствуют контрадикторным понятиям. Традиционная логика различает, как известно, контрадикторные и контрарные понятия (суждения). К о н т р а р н ы м и называются такие понятия, как «пустой» — «полный», «сильный» — «слабый», «черный» — «белый», т. е. те «контрасты» качественного характера, которые не слишком требовательная к логическому обоснованию своих критериев семасиология относит к числу «антонимов». «Легко поддаются дихотомической интерпретации термины качественного характера по антонимии: „долгий" — „краткий", „сильный" — „слабый", „большой" — „маленький"; оппозицию между ними можно представить, как t — не-t»[11]. На самом же деле как раз такие контрарные противоположения никоим образом не могут быть представлены в виде привативных оппозиций. Ведь «неполный» вовсе не обозначает «пустой», а «непустой» не обязательно обозначает «полный»; суждения типа *Сосуд не полный* и *Сосуд не пустой* могут быть одновременно истинными: данный сосуд может оказаться «полупустым» (или, если угодно, «полуполным»). Между «антонимами» подобного рода не существует привативных отношений. Вот почему — вопреки утверждению А. А. Реформатского — «термины качественного характера по антономии» совершенно не поддаются дихотомической интерпретации. Изучение контрарных оппозиций играет важную роль в теории познания и особенно в диалектике. Изучение «противных понятий» (т. е. контрарных противоположений) «не относится к формальной логике»[12]. Противные понятия типа «полный — пустой» добываются на основании интенсионала («содержания») родового понятия. Современная формальная логика рассматривает лишь контрадикторные противоположения, добываемые на основании экстенсионала («объема») понятия.

2.2.3. Вся современная теория классов построена на понятии к о н т р а д и к т о р н ы х оппозиций. Для данной теории или предметной области постулируется некий «универсальный класс» (V), который может быть разбит на два подкласса K_1 и K_2 на основании одного и только одного признака. Если в подкласс K_1 входят все элементы, обладающие признаком x, а в подкласс K_2 — все элементы, лишенные данного признака, то все без остатка элементы, входящие в V, распределяются по подклассам K_1 и K_2. Именно к этому сводится принцип исключенного третьего (tertium non datur). Подклассы универсального класса V называются «комплементарными» («дополнительными») классами. Различие, существующее между такими комплементарными подклассами, называется привативной оппозицией. Примеры: натуральные числа не могут быть одновременно четными и нечетными. «Универсальный класс не есть класс, охватывающий все, что может существовать и мыслиться»[13]. Возможность разбиения универсального класса на комплементарные подклассы предполагает постулирование признака, общего в с е м элементам универсального класса. Натуральные числа 3, 5, 7 являются именно «нечетными» (а не «зелеными», «вогнутыми» или «кислыми») потому только, что речь идет не о предметах вообще, а именно только о натуральных числах, образующих в арифметической теории некий универсальный класс. Вот почему нельзя утверждать, как это делает А. А. Реформатский, что для «некачественных терминов» дихотомическая интерпретация делается

---

[11] А. А. Р е ф о р м а т с к и й, указ. соч., стр. 111.

[12] G. K l a u s, Einführung in die formale Logik, Berlin, 1959, стр. 147, 157 и сл. (ср. русский перевод: Г. К л а у с, Введение в формальную логику, М., 1960, стр. 212—213).

[13] Г. К л а у с, указ. соч., стр. 212.

«и онтологически бессмысленной, и практически непригодной»[14]. Логическая осмысленность и практическая пригодность дихотомического разбиения доказывается хотя бы в пределах элементарных аксиом арифметики; вряд ли кто-либо может сомневаться в том, что числа являются именно «некачественными терминами». Дихотомический принцип применяется, следовательно, не только в ботанике, как думает В. Ф. Асмус и с ним А. А. Реформатский[15], но и в ряде других наук, в том числе в языкознании.

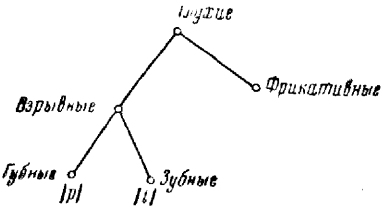
2.2.4. «Оппозиция не определяется как максимальная степень различия, а скорее как весьма своеобразная разновидность повторения, а именно повторения двух схожих предметов, которые являются взаиморазрушающими („mutually distructive") в силу все той же своей схожести»,— писал Ч. Огден [16]. А у Н. С. Трубецкого есть такое место: «Противоположение (оппозиция) предполагает не только признаки, которыми отличаются друг от друга члены оппозиции, но и признаки, которые являются общими для обоих членов оппозиции. Такие признаки можно считать „основанием для сравнения" („Vergleichsgrundlage")»[17]. Это значит, между прочим, что в пределах фонологической теории термин «незвонкий» относится исключительно только к фонемам, а не к чему-либо другому.

2.3. Выделяя ступенчатые (градуальные) оппозиции, Н. С. Трубецкой подчеркивал, что они «не столь важны, как привативные»[18]. К тому же они могут быть сведены к привативным[19].

2.4. «Эквиполентными (равнозначными) называются такие оппозиции, оба члена которых логически равноправны, т. е. не являются ни двумя ступенями какого-либо признака, ни утверждением или отрицанием признака»[20]. Нетрудно показать, что употребление термина «равнозначная оппозиция» появляется в системе Н. С. Трубецкого в результате указанного выше смешения понятий «оппозиция» и «различие». Автор пишет: «Звуковые противоположения, которые могут дифференцировать значения двух слов данного языка, мы называем фонологическими (...) оппозициями»[21]. И далее: «Противоположение *o* — *i* в немецком языке является смыслоразличительным (фонологическим); ср. *so* „так" — *sie* „они", *Rose* „роза" — *Riese* „великан"»[22]. Но правомерно ли называть всякое смыслоразличительное различие именно «противоположением»? Смыслоразличительная функция немецких фонем /o/ и /i/ выявляется путем сопоставления или сравнения таких слов, как *Rose* и *Riese*. Но сами эти слова в языке не противопоставлены. Сопоставляя звукоряд ['ro : zə] со звукорядом ['ri : zə], исследователь лишь производит опыт. Результат такого опыта: в немецком языке звуки *o* и *i* различают два десигнатора, а эти два десигнатора в свою очередь имеют различное значение. Следовательно, /o/ и /i/ в немецком языке — две фонемы. Но различие двух фонем — это еще не их противопоставление. О противоположении можно говорить здесь лишь постольку, поскольку

[14] А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 111.
[15] В. Ф. Асмус, Логика, М., 1947, стр. 65; А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 107.
[16] C. K. Ogden, Opposition. A linguistic and psychological analysis, London, 1932, стр. 32.
[17] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 75. Термин «база сравнения» несколько точнее передает немецкий термин «Vergleichsgrundlage», чем термин «основание для сравнения», введенный в русский перевод.
[18] Там же, стр. 83.
[19] Там же, стр. 83—84.
[20] Там же, стр. 83.
[21] Там же, стр. 38.
[22] Там же.

любая фонема «противопоставлена» всем остальным фонемам той же системы, т. е. поскольку она о т л и ч а е т с я от всех других фонем. Примеры, приводимые Н. С. Трубецким для равнозначных оппозиций, это подтверждают: фонемы /p/ и /t/ или /k/ и /f/ непосредственно не «противопоставлены» друг другу в немецком языке: они просто р а з л и ч а ю т с я. Другое дело, что любая фонема связана с любой другой фонемой той же системы конечным числом двоичных решений, определяющих степень различия (или степень тождества, что то же самое) данных фонем. При наличии в немецком языке пропорций /p/ : /b/ = /t/ : /d/ и /p/ : /f/ = /t/ : /s/ можно выделить универсальный класс «глухих взрывных», а при наличии пропорции /p/ : /m/ = /t/ : /n/ — класс «губных» [23]. Таким образом, «эквиполентное» отношение между немецкими фонемами /p/ и /t/ может быть представлено в виде «дерева», где каждый «узел» обозначает выбор одного из двух возможных признаков по двоичному принципу:



Точно так же может быть представлено «дистинктивное расстояние» между фонемами /k/ и /f/, приводимыми Н. С. Трубецким в качестве примера «эквиполентного» отношения. Фонемы /p/ и /t/ немецкого языка лишь постольку «логически равноправны», поскольку между ними нет привативной оппозиции на основании одного признака. Однако любое отношение между двумя фонемами того же языка может быть представлено в виде ряда п р и в а т и в н ы х оппозиций. Мы интуитивно знаем, что разница между /p/ и /t/ другого порядка, чем разница между /p/ и /a/. Согласно Н. С. Трубецкому, обе пары представляют собой «эквиполентные оппозиции»; однако нетрудно показать, что «дистинктивное расстояние» между /p/ и /a/ больше, чем между /p/ и /t/.

Итак, ступенчатые и эквиполентные «оппозиции» в системе Н. С. Трубецкого обязаны своим существованием несколько свободному употреблению терминов «противоположение», «противостоять». На самом деле такие «оппозиции» оказываются просто различиями. Эти различия могут быть без остатка сведены к пучкам привативных оппозиций.

Остается ответить на вопрос: является ли сведéние всех наблюдаемых в данной системе отношений к пучкам двоичных оппозиций привнесением чуждого самой природе языка логического приема дихотомии, как полагают некоторые авторы [24], или же раскрытием явлений, «онтологически коренящихся» в системе языка? Можно ли утверждать вместе с Е. И. Шендельс, что классификация языковых явлений на основании многоступенчатых привативных оппозиций является «искусственной дихотомией, не отражающей реальной языковой картины»? [25].

---

[23] Мы сохраняем привычные органогенетические признаки, поскольку они вполне эквивалентны акустическим признакам. Ср. О. А. Н о р к, З. М. М у р ы г и н а, Л. П. Б л о х и н а, О дифференциальных признаках фонемы (ответ Р. Г. Пиотровскому), ВЯ, 1962, 1.

[24] См. Е. И. Ш е н д е л ь с, указ. соч., стр. 49.

[25] Там же.

2.5. Мы часто ссылаемся на «реальные отношения, существующие в языке», которым, *по нашему мнению*, будто бы противоречит та или иная теоретическая концепция. Но что нам известно об этой «реальной языковой действительности»? Откуда мы черпаем наши сведения о «реальной языковой действительности»? Раз мы не располагаем оракулом, могущим ответить, соответствует ли та или иная гипотеза или теория «реальной картине языка» или не соответствует, то ответ на наши вопросы можно ожидать только от двух инстанций: от интуиции и от проверки теории практикой.

Интуицию нельзя полностью исключить. Она является помощником каждого исследователя в поисках правильного пути. Можно считать, что лингвистическая теория, слишком резко расходящаяся с языковой интуицией, слабее теории, приближающейся к интуитивному толкованию данного ряда фактов. Языковую интуицию, однако, не следует смешивать с традиционными лингвистическими навыками, т. е. с не всегда осознанным воздействием (пусть «отстоявшейся» и «общепринятой», но все же далеко не интуитивной) лингвистической т е о р и и.

«Реальная картина языка» не дана нам извне: она з а д а н а. Научные усилия поколений языковедов направлены на вскрытие этой «реальной картины языка». С каждым поколением мы приближаемся к познанию языковой реальности. Но можем ли мы утверждать, что кому-либо из нас «языковая реальность» была раскрыта в виде «откровения»? Для Ломоносова система д е с я т и временных форм в русском языке казалась соответствующей «реальной картине русского языка»; мы сегодня знаем, что Ломоносов ошибался. Для Шахматова «средний залог» был, очевидно, «языковой реальностью», а для Фортунатова — «возвратный залог». В наши дни есть основания считать, что в русском языке различаются только два «залога»: пассив и непассив («актив») [26]. Противоречит ли гипотеза о наличии в русском языке только двух залогов «онтологически бытующим в языке фактам»? Это покажет будущее. Если большинство современных русистов и славистов оперирует двоичной оппозицией «совершенный/несовершенный вид», то это, очевидно, объясняется лишь тем, что в исследовательской п р а к т и к е эта двоичная система оказалась п р о щ е всех остальных систем, различавших более двух глагольных видов (ср. шахматовский «ультра-мгновенный» вид). Признак «простоты» включает возможность описания данного ряда явлений при помощи меньшего количества терминов и вытекающую из этого возможность более широких обобщений. Является ли традиционная система трех «естественных» времен в русском языке верным слепком с «языковой действительности»? Наличие формально друг от друга отличных п я т и форм *бросал*, *бросил*, *будет бросать*, *бросит*, *бросает* говорит, как будто, о необходимости выделять в русской временно́й системе не три, а именно п я т ь грамматических времен [27].

Правильность или несостоятельность любой лингвистической теории может быть проверена или опровергнута лишь п р а к т и к о й дальнейшей исследовательской работы, а не ссылкой на «онтологию» языка или на «реальную языковую картину», ибо никто из нас не в и д е л воочию этой «реальной картины». Из сказанного следует, что различение между «подлинным» и «эвристическим» бинаризмом предполагает наличие оракула, позволяющего различать между отношениями, «реально» существующими в языке, и отношениями, лишь «привносимыми» в язык

[26] Ср. А. В. И с а ч е н к о, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология, II, Братислава, 1960, стр. 354 и сл.

[27] См. там же, стр. 423 и сл.; е г о ж е, La structure sémantique des temps en usse, BSLP, LV, 1, 1960.

извне. Если бы такой оракул существовал, то вся наша наука оказалась бы совершенно излишней. Единственный путь, ведущий нас к раскрытию «языковой реальности»,— это путь научного анализа. На данном этапе развития наших аналитических методов шагом вперед по указанному пути является не раскрытие «реальной языковой картины» во всех деталях, а разработка гипотез и теорий, лучше и проще объясняющих всю сложность наблюдаемых фактов без внутренних (логических) противоречий. Дихотомическая теория обладает, на наш взгляд, как раз этими свойствами.

3.1. Одной из грамматических категорий, представленных в русском языке более чем двумя рядами форм, является категория грамматического лица. Традиционная грамматика учит, что в русском языке «личные» местоимения и спрягаемые формы глагола различают три грамматических лица в обоих числах [28]. Такая «трихотомия» не является, однако, результатом серьезного анализа фактов, а принимается на веру из устаревшего арсенала античных грамматик, лингвистические обобщения которых построены на случайных фактах и не лишены некоторой доли импрессионизма. Сам термин «грамматическое лицо» употребляется по традиции. Каждому грамматисту и каждому педагогу известно, как неудобно оперировать термином «лицо» применительно к таким конструкциям, как *Собаки лают* или *Молоко вскипело*.

Термин «грамматическое лицо» вводится в анализ грамматических форм без удовлетворительного определения: «Формы 1-го и 2-го лица глагола выражают отношение действия к участникам речи... Форма 3-го лица глагола может обозначать действие любых живых существ и неодушевленных предметов, о которых идет речь» [29]. С одной стороны, сочетания типа *мы дуем* анализируются традиционной грамматикой как формы «1-го лица мн. числа», с другой стороны, оказывается, что местоимения *я* и *ты* «не имеют множественного числа», ибо они «указывают не на нескольких или многих *я* или *ты*» [30]. От какой же формы единственного числа образована форма множественного числа *мы*?

В отличие от учения традиционной грамматики мы утверждаем, что общепринятое выделение именно трех (а не шести или семи) грамматических «лиц» по двум числам является фикцией и что грамматическое значение финитных форм русского глагола не может быть сведено к таким простейшим, семантически неделимым элементам («семам»), как «1-е лицо» и «множественное число». Мы попытаемся показать, что инвариантное значение финитных форм определяется набором семантических признаков, устанавливаемых для каждой из них. Под инвариантным значением мы понимаем грамматическое значение, сохраняющееся во всех контекстах при любом употреблении данной формы, т. е. значение, лишенное всякой избыточности.

Инвариантное значение грамматической формы устанавливается не наугад. Не устанавливается оно и путем построения «искусственных бинарных рядов» вроде «первое лицо и неперво лицо», как полагает Е. И. Шендельс [31]. Установление инвариантного значения требует привлечения и анализа всего имеющегося материала, т. е. обследования всех возможных частных значений данной формы.

[28] «Правильнее было бы... считать, что у нас существует не три лица, а целых шесть»,— говорится в учебнике «Современный русский язык. Морфология» (Курс лекций), М., Изд-во МГУ, 1952, стр. 350. Но тут же прибавлено: «Собственно говоря, у нас, в русском языке, имеется в повелительном наклонении еще одно, седьмое лицо (там же).

[29] «Грамматика русского языка», I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 469.

[30] Там же, стр. 388.

[31] Е. И. Шендельс, указ. соч., стр. 49.

3.2. В качестве «финитных» форм будут рассмотрены все глагольные формы, могущие выступать как простое сказуемое. Для наших целей необходимо обследовать значение глагольных форм в изолированном виде, т. е. вне сочетания с личными местоимениями. Таким образом, мы будем рассматривать не только формы презенса и императива, но и формы типа *дул, дула, дуло, дули*, поскольку в русском языке эти формы вполне эквивалентны личным формам. Сочетаемость или несочетаемость каждой из этих форм с тем или иным «личным» местоимением вытекает из инвариантных грамматических значений глагольной формы и местоимения. Здесь будут рассмотрены следующие формы: в пределах несовершенного вида формы типа *дую, дуешь, дует, дуем, дуете, дуют; дуй, дуйте; давай дуть, давайте дуть; дул, дула, дуло, дули* (всего 14 форм); в пределах совершенного вида формы типа *подую, подуешь, подует, подуем*[1], *подуете, подуют; подуй, подуйте; подуем*[2], *подуемте, давай подуем, давайте подуем; подул, подула, подуло, подули* (всего 16 форм).

Некоторые особенности глаголов передвижения не будут рассмотрены в рамках настоящей статьи.

4.1. В чем заключается природа категории «грамматического лица» в целом? Какие грамматические отношения могут быть выражены этой категорией? В Академической грамматике указано: «В систему спряжения входят прежде всего личные формы глагола, служащие в предложении для выражения сказуемого личных предложений»[32]. Это определение оставляет без внимания часть фактов, ибо «личные» (финитные) формы употребляются также в безличных предложениях: *В сенях дует/дуло*. Те же формы могут стоять и в личных предложениях: *Ветер дует, Дитя дуло*. С другой стороны, такие формы, как, например, *дую*, в безличных предложениях не встречаются. Можно предположить, что формы типа *дую* обладают каким-то семантическим признаком, несовместимым с их введением в безличную конструкцию. Этим признаком является выраженная отнесенность к субъекту. Обозначим этот признак символом *С* («субъект»). На основании признака *С* все финитные формы разбиваются на два подкласса: в один войдут формы, эксплицитно или имплицитно выражающие *С* (сильный член оппозиции), в другой подкласс — формы, оставляющие признак *С* невыраженным (слабый член оппозиции). «Слабыми» формами по признаку *С* являются прежде всего формы *дует* и *дуло*. Сами по себе эти формы не содержат никакой информации о наличии или отсутствии субъекта. Это было установлено Р. О. Якобсоном еще в 1932 г.[33].

Так называемые безличные глаголы образуют только эти две финитные формы: *Смеркается/смеркалось, светает/светало, хочется/хотелось*. Подчеркнем, что в предложениях типа *Смеркается* субъект не только не назван, но вообще отсутствует. Глагольная форма не сигнализует присутствия субъекта.

Что же является инвариантным значением категории «грамматического лица» в целом, раз «выражение сказуемого в личных предложениях» не может быть признано единственной и общей всем финитным формам функцией? Этим инвариантным значением является способность финитных форм выражать отнесенность к субъекту или оставлять ее невыраженной. Формы, эксплицитно выражающие отнесенность к субъекту, могут обладать дополнительной грамматической информацией, с той или иной стороны характеризующей выраженный субъект. Прежде чем

[32] «Грамматика русского языка», I, стр. 468.

[33] R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario... oblata», Pragae, 1932, стр. 78.

перейти к разбору этих форм, остановимся на весьма любопытном явлении русской грамматики.

4. 2. Формы типа *дуй*, *подуй* принято называть формами «2-го лица ед. числа» императива. Такой термин, несомненно, удобен в педагогической практике. Однако в большинстве научных работ этот термин интерпретируется семантически, т. е. связывается с определенными значениями, не выявленными путем семантического анализа данных форм, а взятыми прямо из традиции. Принято считать, что «2-е лицо обозначает действие того, к кому обращаются с речью». Более того: формы «1-го и 2-го лица могут относиться только к лицам» [34]. Действительно, формы императива типа *дуй*, *подуй* очень часто обозначают действия адресата (*Перестань!*, *Перестань ты, наконец!*). Однако это употребление является лишь одним из многих употреблений (и значений) данной формы императива. В ряде конструкций, в которых отсутствует «типичная» для императива ситуация диалога, формы «2-го лица ед. числа» свободно сочетаются с любым местоимением:

1) *Будь он проклят!*
2) *Все ушли, а **я** сиди дома.*
3) *Приди **мы** раньше, ничего бы не случилось.*

Возможность сочетания формы «2-го лица ед. числа» с местоимениями «1-го» и «3-го» лица обоих чисел требует объяснения. Ведь невозможны же в русском языке сочетания типа * *ты иду*, * *они идешь* или * *я сидит*. Некоторые исследователи делают следующий вывод: формы «2-го лица» обозначают не только адресата, но и л ю б о е лицо. Ср. у Р. О. Якобсона: «второе лицо сигнализует любое мыслимое лицо и, в более узком смысле, адресат» [35].

Приведем, однако, следующие примеры:

4) *Будь **это** не бензин, а скипидар, ничего бы не случилось.*
5) *Случись **это** на прошлой неделе, я бы не стал беспокоиться.*

Формы *будь* и *случись* в приведенных примерах относятся не к «любому лицу», а явно к неличному субъекту [36]. На основании примеров (4) и (5) можно было бы определить инвариантное значение разбираемой формы императива так: форма типа *дуй/подуй* выражает отнесенность к любому субъекту (личному или неличному). Такая формулировка вполне справедлива по отношению к императиву несовершенного вида. В русском языке вполне возможно такое предложение: *Дуй ветер с юга, пожар не охватил бы всю деревню.* Однако «безличное» употребление императива несовершенного вида в современном языке не отмечено. В просторечии сохранилась форма *кажись* (модальное слово): *Кто это? Мелания, кажись?* Модальное слово *кажись* восходит к «безличному» императиву и соответствует литературному *кажется*.

У глаголов с о в е р ш е н н о г о вида форма императива может употребляться в таких конструкциях:

6) *И **случись** в тот день, что . . .*
7) *И **приснись** мне в эту ночь, будто я один в лесу.*
8) *И **покажись** Прохору: толпа мастей с яростными криками несется к его дому* (В. Шишков, Угрюм-река).

Императивные формы стоят здесь в безличных конструкциях [37]. Форма *покажись* в этом отношении эквивалентна формам *и показалось*, *и кажется*

[34] «Грамматика русского языка», I, стр. 469.
[35] R. J a k o b s o n, Shifters, verbal categories, and the Russian verb, Harvard, 1957, стр. 6.
[36] А. А. Ш а х м а т о в, отметивший подобные конструкции, относит их к «безличным односоставным предложениям» (см. его «Синтаксис русского языка», I, Л., 1925, стр. 88).
[37] Ср. такие конструкции, как... *и случись беда,... и приснись мне сон.*

Прохору. Такие безличные конструкции были бы невозможны, если бы форма императива совершенного вида содержала информацию о выраженности субъекта. Следовательно, признак *С* остается невыраженным не только в формах типа *дует* и *дуло* (4.1), но и в формах императива совершенного вида типа *подуй* (*случись*, *приди*).

«Отнесенность к адресату», которую многие лингвисты считают главным или даже «собственным» значением императива, не содержится в инвариантном значении этой формы. Она появляется в ситуации «призыва», когда из общего контекста ясно, что этот призыв относится именно к собеседнику. Ведь и «призыв» может относиться к любому лицу:

9) *Кругом черт знает что творится, а* ***я*** *молчи.*

Отсутствие у императивной формы типа *молчи* признака, выражающего отнесенность к адресату, сближает эту форму с другими формами, обладающими такой отрицательной характеристикой в отношении категории «грамматического лица». Вот почему формы инфинитива, лишенные какой-либо информации о наличии или отсутствии субъекта, могут выступать в «императивной» функции: *Молчать!*, *Вставать!*

Отсутствие эксплицитной сигнализации адресата у императива совершенного вида допускает существование таких параллельных конструкций:

10) *А он как* ***трахнет*** *его по голове.*
11) *А он* ***трах*** *его по голове.*
12) *А он (возьми да)* ***трахни*** *его по голове.*

5.1. Все финитные формы могут быть разбиты на два подкласса по признаку «выраженной/невыраженной расчлененности» субъекта. Мы вернемся к этому признаку ниже (8.1). Сейчас нам необходимо отметить, что формы, в которых «расчлененность» субъекта выражена (назовем этот признак *Р*), имплицитно выражают и отнесенность к субъекту.

5.2. Формы типа *дул*, *дула* могут сочетаться с личным и неличным субъектом: *Я дул/дула*; *Ветер дул*. Следовательно, инвариантным значением этих форм является выражение признака *С* («субъект вообще»). Формы типа *дул/дула* могут в определенных контекстах выражать личный субъект даже в том случае, если он не назван. Предложение

13) *Всю неделю пролежал,*

помещенное в начале письма, будет нами интерпретировано как эллиптическая форма предложения *Я пролежал всю неделю*.

5.3. Форма *дула* содержит дополнительную информацию о субъекте. Если субъектом является лицо, то форма *дула* сигнализует женский пол личного субъекта: *я дула, ты дула, Саша дула*. В форме *дул* признак «женский пол» (*Ж*) не выражен; предложения *Кто дул?*; *Каждый дул* могут относиться к мужчинам и женщинам. При наличии личного субъекта невыраженность женского пола может интерпретироваться как сигнализация мужского пола: *Саша дул*. Точно так же невыраженность расчлененности («множественного числа») может интерпретироваться как сигнализация «единичности». Вопросы согласования, связанные с признаком *Ж*, не могут быть рассмотрены в данной статье. Отметим, что форма *дуло* лишена способности выражать пол (*дитя дуло*).

6.1. Вопреки распространенному мнению, формы типа *дуешь/подуешь* сами по себе не выражают отнесенности к адресату:

14) *Когда говоришь с этим человеком, сознаешь, что такое педагог.*

Формы *говоришь*, *сознаешь* имеют здесь «обобщенно-личное» значение, т. е. относятся не к адресату, а к любому лицу. Назовем этот при-

знак *Л* («лицо»). Признак *Л* не исключает возможности употребления форм типа *дуешь* при обращении к собеседнику. Такое употребление данной формы является, несомненно, наиболее распространенным. Однако действия собеседника выражаются формой типа *дуешь* лишь при наличии однозначной ситуации диалога, исключающей возможность более широкой интерпретации данной формы, например в вопросах: *Как живешь?*

Признак *Л* имплицитно содержит признак *С*: раз форма типа *дуешь* сигнализует личный субъект, то этим самым она сигнализует наличие субъекта вообще. Формы типа *говоришь*, *дуешь* образуются только от глаголов, допускающих личный субъект, что́, по существу, является тавтологией. В русском языке нет форм типа **болишь*, **свербишь* или **зудишь*, а также форм типа **хочешься*, **работаешься*.

Отметим, что и местоимение *ты* содержит лишь признак *Л* (т. е. относится к лицу вообще). Эксплицитного указания на адресата оно не содержит:

15) *Поверьте мне, как старшему, — не надо стыдиться, если жизнь порой оставляет тебя в дураках* [38].

Как видно, форма *тебя* относится не к собеседнику, а к любому лицу.

6. 2. Формы типа *давай дуть* обычно трактуются как формы императива «1-го лица мн. числа» или как «инклюзивные» формы. В диалогической ситуации они, действительно, интерпретируются как «призыв» к совместному действию. Эти формы употребляются, однако, и вне диалогической ситуации и имеют в таком случае иное значение:

16) *Он подскочил и давай меня колотить.*
17) *Я (он, мы) за шапку и давай бежать.*

Возможность сочетания формы типа *давай бежать* с любым местоимением доказывает широкий диапазон применимости данной формы. Инвариантным значением формы типа *давай бежать* следует считать лишь выраженность личного субъекта (*Л*). Формы типа *давай бежать* не образуются от всех глаголов (нельзя сказать * *Он бросился на диван и давай лежать!*). Но этот с виду «лексический» факт может быть истолкован грамматически, как было убедительно показано Ю. Д. Апресяном [39].

Отметим мимоходом, что конструкция типа *...а он бежать* интерпретируется нами как эллипсис конструкции типа *...а он давай бежать* [40].

6.3. В формах типа *дуете/дуйте* выражен признак *Р* и, следовательно, отнесенность к (расчлененному) субъекту дана имплицитно: раз выражена расчлененность субъекта, то и сам субъект выражен. Формы типа *дуете/дуйте* выражают отнесенность не только к адресату, но к любому личному субъекту:

18) *Все это очень просто: вы подаете заявление и ждете.*
19) *Попробуйте возражать.*

Формы (*вы*) *подаете*, *ждете* могут относиться к любому субъекту. Точно так же формы типа *попробуйте* могут обозначать: «пусть кто-

[38] Пример заимствован из прекрасного перевода Н. Бунина романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» (М., 1961, стр. 160).

[39] Ю. Д. Апресян, К вопросу о структурной лексикологии, ВЯ, 1962, 3.

[40] Р. О. Якобсон считает эллиптическую конструкцию типа (*а*) *они кричать* парадигматической формой русского глагола. Значение этой «формы» толкуется как «неперфективированный начинательный подвид». «Форма» *они кричать* противопоставляется форме *они будут кричать*, являющейся «перфективированным начинательным подвидом». К тому же сочетание *они кричать* переводится на английский язык так: «they are about to cry», т. е. «они вот-вот начнут кричать» (ср. R. Jakobson, Shifters, verbal categories, and the Russian verb, стр. 7).

л и б о попробует». Важно подчеркнуть, что такое «обобщенно-личное» употребление не является каким-либо «особым случаем» применения этих форм, а полностью соответствует их инвариантному значению. Значение же «обращенности к собеседнику» не заложено в семантических признаках самих этих форм, а определяется особыми ситуационными условиями в диалоге.

Присоединение местоимения *вы* не меняет «обобщенно-личного» значения:

20) *Когда вы говорите с этим человеком, вы сознаете, что такое истинный педагог.*

Следовательно, местоимение «2-го лица» *вы* выражает не только адресата, а л ю б о е лицо.

6.4. В формах *дуют* и *дули* признак *Л* не выражен. Эти формы могут сочетаться с личным и с неличным субъектом: *Стеклодувы дуют/Ветры дуют*. Точно так же местоимение *они* может относиться к лицу и к не-лицу: *Они* (т. е. дети или карандаши) *лежат*.

При абсолютном употреблении этих форм, т. е. в предложениях, в которых субъект не только не назван, но и не может быть «восстановлен», формы *дуют*, *дули* приобретают значение отнесенности к личному субъекту: *Бутылки дуют (дули) из стекла*. Это связано опять-таки с «лексическим» значением глаголов, допускающих «неопределенно-личное» употребление. Форма *говорят* может иметь неопределенно-личное значение только потому, что глагол *говорить* предполагает личный субъект. С другой стороны, конструкции типа * *В роще журчат* или * *Над дорогой клубятся* (без названия субъекта) невозможны, ибо глаголы *журчать*, *клубиться* предполагают неличный субъект.

Разница между «обобщенно-личным» (*говоришь*, *говорите*) и «неопределенно-личным» значением (*говорят*) может быть выражена в терминах семантических признаков: тип *говоришь* сигнализует *Л*, но не сигнализует *Р*; тип *говорите* сигнализует *Л* и *Р*; тип *говорят* сигнализует *Р*, но не сигнализует *Л* (см. табл. I).

7.1. Остальные финитные формы (*дую*, *дуем*, *давайте дуть*; *подую*, *подуем*[1], *побуем*[2], *побуемте*) выражают участие говорящего (автора данного речевого акта) в действии, сообщаемом данным речевым актом. Назовем этот признак *Г* («говорящий»). Признак *Г* является в известном смысле «диагностическим», т. е. позволяющим связать субъект сообщаемого действия с индивидуальным лицом.

Автор речевого акта неизбежно является лицом — все случаи «персонификации» сводятся к тому, что животные, растения или неодушевленные предметы наделены даром речи. Из этого вытекает, что сигнализация признака *Г* и м п л и ц и т н о выражает и наличие признаков *Л* («лицо») и *С* («субъект»).

Все формы, охарактеризованные признаком *Л*, м о г у т выражать и отнесенность действия к говорящему (ср. *а я сиди дома*; *приди я раньше...*; *я за шапку и давай бежать*; *придешь, бывало...*). Однако признак *Г* в них не выражен. Эти формы являются слабым членом оппозиции по признаку *Г*.

7.2. Формы типа (*по*)*дую* не выражают признака *Р* («множественного числа»). Поэтому субъект сообщаемого действия может относиться к одному говорящему, т. е. к «единственному числу». Однако в русском языке известно и «неопределенно-личное» употребление этой формы.

21) *Я могу отрицать очевидное, но я не могу требовать, чтобы со мною соглашались.*

«Неопределенно-личное» употребление форм типа *я могу* было отме-

чено А. М. Пешковским[41]. Форма *я могу* в предложении (21) эквивалентна с *можно*, т. е. имеет в виду л ю б о е лицо. Значит, «1-е лицо» не обязательно отождествляет субъекта сообщаемого действия с автором данного речевого акта, а сигнализует лишь у ч а с т и е говорящего в сообщаемом действии (*Я могу отрицать*, но и *Любой может отрицать*).

Формы типа (*по*)*дую* сочетаются только с местоимением *я*, обладающим совершенно аналогичными семантическими признаками (выраженность *Г* при невыраженности *Р*).

7.3. Формы *дуем* и *подуем*[1] (индикатив) сочетаются с местоимением *мы* (*Г*, *Р*). Иными словами, они сигнализуют расчлененность субъекта, причем в этот расчлененный субъект входит и говорящий. Эта интерпретация вытекает из предложения:

22) *Я и Борис Сергеевич шлем сердечный привет*[42].

Местоимение *мы* может быть пропущено без изменения значения: *Завтра начинаем/начнем в восемь*.

7.4. В формах типа по*дуем*[2] (императив), *подуемте* и *давайте подуем*, *давайте дуть* употребление местоимения невозможно. Дело в том, что эти формы сигнализуют дополнительный признак: участие а д р е с а т а в сообщаемом действии. Назовем этот признак *А* («адресат»).

В формах *подуемте* (*давайте дуть*, *давайте подуем*, *будемте дуть*, *давайте будем дуть*) эксплицитно выражен признак *Р*. Логически субъект необходимо «расчленен», если в него входят по крайней мере два лица: говорящий и адресат. Но в языке признак *Р* относится в данных формах только к адресату. Формы *подуемте*, *давайте подуем* и *давайте дуть* употребляются (при обращении «на ты») лишь при наличии нескольких адресатов: *Ну*, *ребята*, *давайте подуем (давайте дуть)!* В обращении к одному (так сказать, «нерасчлененному») адресату эти формы применимы лишь при условии, что говорящий обращается «на Вы». Но и в таком случае «расчлененность» выражена (см. 8. 2). При обращении «на ты» формы типа *подуемте* (*давайте подуем*) невозможны: конструкция типа * *Послушай*, *Ваня*, *пойдемте заниматься* не соответствует правилам русской грамматики.

Невозможность употребления местоимения *мы* при формах типа *по-дуем*[2], *подуемте*, *давайте подуем* (*давайте дуть*) объясняется несоответствием семантических признаков местоимения и глагольной формы. Местоимение *мы* выражает только *Р* и *Г*, в то время как приведенные формы выражают *Г* и *А*. В самом деле, форму типа *подуемте* трудно считать формой «1-го лица» (ср. *давайте побуем*). Форма *подуемте* сочетает в себе значения двух «призывных» конструкций: *подуйте* + *подую-ка* или *по-дуйте* + *дайте дую*. Анализ этих форм лишний раз показывает, насколько неудовлетворительны и сбивчивы традиционные грамматические термины.

7. 5. Форма типа *подуем*[2] (императив) не сочетается с местоимением *мы*. Местоимение *мы* здесь не просто «пропускается»: оно не может быть «восстановлено» ни при каких условиях. Вообще при формах типа *подуем!* не может быть применено ни одно местоимение, потому что русский язык просто не располагает местоимениями, сочетающими признаки *Г* и *А*.

В отличие от форм типа *побуемте*, в форме *подуем*[2] (императив) признак «расчлененности» субъекта остается н е в ы р а ж е н н ы м. Повторяем, что здесь неуместно ссылаться на логику. В действии, выражае-

[41] Ср. А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 374.

[42] Конструкции типа *я и Х* часто заменяются конструкциями типа *мы с Х-ом*.

мом формой *подуем* [2], фактически участвуют говорящий и «еще кто-то». Тем не менее расчлененность субъекта остается невыраженной. Признак расчлененности в данном случае относится лишь к адресату. В форме *подуемте* эксплицитно сигнализуется участие в действии нескольких «адресатов» (т. е. «я и еще р я д л и ц»). В форме *подуем* [2] («я и еще кто-то») участие нескольких адресатов не выражено. Поэтому форма типа *подуем* [2] может употребляться применительно к одному или к нескольким собеседникам: *Ваня, поговорим откровенно! — Ребята, поговорим откровенно!*

Невыраженность признака *P* вытекает также из наличия перифрастического оборота типа *давай подуем*, синонимичного с формой *подуем* [2]. Элемент *давай*,— как его ни толковать,— не содержит никаких указаний на «множественное число». Можно ли эту форму (*давай подуем*, *подуем*[2]) еще считать формой «1-го лица», да еще «множественного числа»? Подчеркнем, что формы *подуем* [1] (индикатив) и *подуем* [2] (императив) в семантическом отношении не тождественны: на основании семантических признаков, входящих в каждую из них, следует признать эти формы о м о н и м а м и.

8.1. Необходимо сказать несколько слов о признаке *P*. Тот факт, что категория pluralis выражает не «множественность», а именно «расчлененность», вытекает хотя бы из согласования глагольной формы типа *лежат* не только с существительным во множественном числе (*книги лежат*), но и с расчлененным (в терминологии Шахматова «слитным») субъектом: *Книга и карандаш лежат* (ср. также пример 22).

8.2. Pluralis употребляется в ряде случаев как стилистическое средство амплификации: *снегá* — это «много снегу», *телесá* — это «грузное, жирное тело». С таким же амплифицирующим значением употребляется pluralis в глаголах. Сюда относятся следующие случаи: а) pluralis majestaticus: *Мы, царь и самодержец, соблаговолили...* (устар.); б) просторечное *Мы пензенские* в значении «я пензенский»; в) обращение «на Вы» к взрослым, выражающее отсутствие между говорящим и адресатом интимных отношений; г) просторечное употребление «3-го лица мн. числа» в отношении к одному только лицу: *Они лучше знают*; *они профессор* в значении «он лучше знает», «он — профессор»[43].

Эти явления тесно связаны с социальными отношениями и крайне условны. Нас здесь интересует лишь общий признак амплификации, связываемой с выражением расчлененности субъекта.

8. 3. В pluralis auctoris («авторское *мы*») следует видеть стилистическую фигуру, известную во многих языках, в том числе в латыни. Признак *P* в предложении *Переходим к следующей главе* выражен и соответствует реальной ситуации: автор вместе с читателем переходит к следующей главе. От pluralis auctoris следует отличать обобщенное *мы*:

23) *В данном случае* **мы** *имеем дело с явлениями другого порядка.*

Такое обобщенное *мы* может быть заменено безличной конструкцией: *В данном случае налицо явления другого порядка* [44].

Покровительственно-шутливое *мы* при обращении к собеседнику (*Мы,*

[43] Ср. также просторечные конструкции типа *Его сиятельство изволили уйти*, *Господин полковник сейчас будут*, где глагольная форма мн. числа сочетается с субъектом в ед. числе.

[44] В «Грамматике русского языка» явно смешиваются случаи употребления «авторского *мы*» со случаями обобщенного употребления форм «1-го лица мн. числа». В качестве примера на «авторское *мы*» приводится следующая цитата из Добролюбова: «В новой повести г. Тургенева *мы встречаем* другие положения» (стр. 470). *Мы встречаем* в данном случае эквивалентно конструкциям *встречаются* или *можно встретить*, ничего общего с «авторским *мы*» не имеющим.

кажется, стали поправляться; *Как мы справились с заданием*?) известно в целом ряде европейских языков и является стилистической фигурой. *Мы* — это «я и еще кто-то»; поэтому общее значение приведенных форм не противоречит данному употреблению, если «участие» говорящего и не интерпретировать в переносном смысле.

9. Наш анализ показывает, что грамматическое значение финитных форм русского глагола не может быть представлено как сочетание таких «сем», как «1-е лицо», «2-е лицо», «3-е лицо». «Минимальным и притом далее неделимым элементом грамматического значения» являются не «семы», взятые из традиции на веру, а семантические признаки. Эти признаки либо присутствуют, либо отсутствуют, образуя сильный и слабый члены ряда бинарных оппозиций.

Результаты наших наблюдений могут быть представлены в виде матриц (табл. I и II). В целях дифференциации форм, идентичных по признакам категории «грамматического лица», в матрицы были введены дополнительные признаки по другим глагольным категориям.

Другим способом наглядного изображения цепи бинарных решений является «дерево» (рис. 1 и 2). В конце каждой ветви стоят формы, отличающиеся друг от друга по составу семантических признаков, относящихся к категории «грамматического лица». Семантическое «расстояние» между отдельными формами определяется числом «узлов», отделяющих одну форму от другой и позволяющих определить число признаков, общих двум сопоставляемым формам.

На рис. 3 формы категории «грамматического лица» представлены как некий «универсальный класс», разбитый на частично перекрывающиеся подклассы, устанавливаемые дихотомически на основании семантических признаков[45].

10. Сколько же «лиц» насчитывается в русском глаголе? По-видимому, столько же, сколько на рис. 1 и 2 имеется конечных узлов: для несовершенного вида — 9, для совершенного вида — 10. В задачи данной статьи не входит введение каких-либо новых терминов, характеризующих каждую рассмотренную форму. Такая попытка была бы заранее обречена на неудачу, так как шестичленная система традиционной грамматики (3 × 2) крайне удобна. Есть, однако, основания считать, что предлагаемый анализ может оказаться полезным при научной трактовке форм русского глагола, а также в разных областях прикладной лингвистики. Явления, считавшиеся «отклонением от нормы» (так называемые «особенности употребления»), оказываются вполне нормальными, т. е. целиком соответствующими инвариантному значению данных форм (например, обобщенно-личное употребление форм типа *дуешь*). С другой стороны, случаи «типичного» употребления некоторых форм оказываются лишь частными случаями, связанными с особой, внеязыковой ситуацией диалога (например, «призывное» значение императива типа *подуй*). Намечаются некоторые объяснения возможных замен одних форм другими (ср. 4.2). Интерпретируется системная обусловленность употребления/неупотребления личных местоимений при глагольных формах (например, *Мы подуем*[1] — *Подуем!*[2]).

11. Соответствует ли все это «реальной языковой картине»? На этот

[45] Данная схема наглядно изображает логическое отношение «включенности» (инклюзии) множества элементов сильного члена привативной оппозиции (например, форм, выражающих *Л*) во множество элементов слабого члена привативной оппозиции (например, форм, выражающих *С*). Иными словами: формы, охарактеризованные признаком *Л*, выражают также и признак *С*, но отличаются от форм, выражающих только признак *С*, дополнительным признаком *Л*. О логической интерпретации отношения «включенности» см. J. Cantineau, Le classement logique des oppositions, «Word», XI, 1, 1955.

вопрос ответить нельзя, не прибегая к оракулу. Представляется, что предлагаемый анализ учитывает наличный материал полнее, чем это имеет место в традиционной грамматике. Всякая теория строится путем применения эвристических приемов и допущений, но и сама теория является, в конце концов, таким эвристическим приемом. Результаты, полученные на основании применения дихотомической теории, как будто не противоречат ни фактам, ни интуиции (если только не смешивать интуицию с неосознанным воздействием «отстоявшейся» лингвистической теории прошлого). Полученные результаты противоречат только традиционным взглядам, сложившимся не в порядке научного анализа наблюдаемых фактов, а в результате некритического усвоения элементов «дотеоретической» грамматики.

Таблица I

Семантические признаки финитных форм глаголов несовершенного вида

Признаки \ Формы	1 *дую*	2 *дуешь*	3 *дует*	4 *дуем*	5 *дуете*	6 *дуют*	7 *дул*	8 *дула*	9 *дули*	10 *дулась*	11 *дуло*	12 *дула*	13 *дуло*	14 *дули*
А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
Г	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Л	0	+	—	0	+	—	—	+	+	0	—	—	—	—
С	0	0	—	0	0	+	+	0	0	0	+	+	—	+
Р	—	—	—	+	+	+	—	+	—	+	—	—	—	+
Ж	—	—	—	0	0	0	—	0	—	0	—	+	—	0
Н	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
В	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	+	+	+	+

Таблица II

Семантические признаки финитных форм глаголов совершенного вида

Признаки \ Формы	1 *подую*	2 *подуешь*	3 *подует*	4 *подуем*	5 *подуете*	6 *подуют*	7 *подул*	8 *подула*	9 *подули*	10 *подулась*	11 *подуло*	12 *подула*	13 *подули*	14 *подуло*	15 *подули*
А	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—
Г	+	—	—	+	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—
Л	0	+	—	0	+	—	—	+	0	0	0	—	—	—	—
С	0	0	—	0	0	—	—	0	0	0	0	+	+	—	—
Р	—	—	—	+	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	+
Ж	—	—	—	0	0	0	—	0	—	0	0	—	+	—	0
Н	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	—	—	—
В	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	+	+	+	+

Условные обозначения: *А* — участие адресата; *Г* — участие говорящего; *Л* — личный субъект; *С* — субъект вообще; *Р* — расчлененность; *Ж* — женский пол субъекта; *Н* — маркированное наклонение (императив); *В* — маркированное время (прошедшее).

Плюсы обозначают выраженность, минусы — невыраженность признака. Нули указывают, что в данной форме соответствующий признак выражен либо имплицитно, либо не может быть выражен. В формах мно-

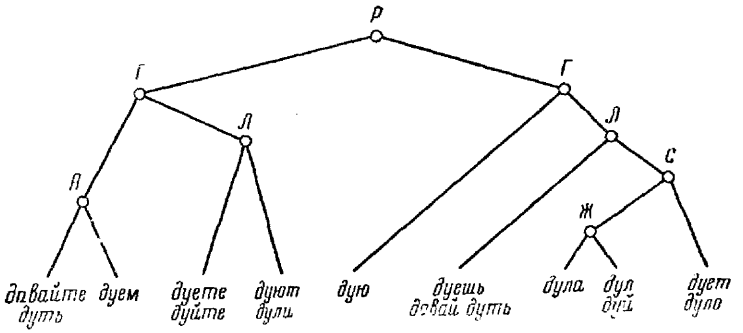
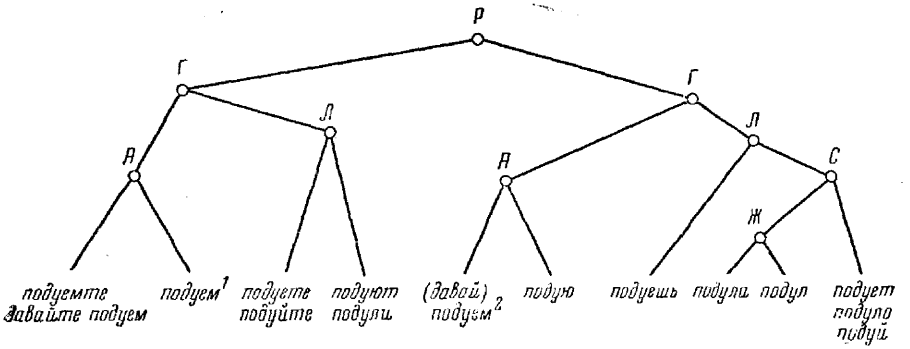


Рис. 1



подует, подуло, подуй } — $\overline{Р}\ \overline{АГЛСЖ}$

подую, подули } — $РА\overline{ГЛ}\ (С)\ \overline{Ж}$

подул — $\overline{РАГЛСЖ}$

подуете, подуйте } — $РА\overline{Г}Л\ (С)\ \overline{Ж}$

подула — $\overline{РАГЛСЖ}$

подуешь — $\overline{РАГЛ}\ (С)\ \overline{Ж}$

подую — $\overline{РАГ}\ (Л)\ (С)\ \overline{Ж}$

подуем [2] — $\overline{Р}АГ\ (Л)\ (С)\ \overline{Ж}$

подуем [1] — $РА\overline{Г}\ (Л)\ (С)\ \overline{Ж}$

подуемте, давайте, подуем } — $РАГ\ (Л)\ (С)\ \overline{Ж}$

Рис. 2

жественного числа ($Р$) признак $Ж$ не может быть выражен. В императиве ($Н$) признак $В$ не может быть выражен. Если выражен признак $Г$, то имплицитно выражены и признаки $Л$ и $С$. Если выражен признак $Л$, то имплицитно выражен и признак $С$.

В таблице I идентичными по признакам категории «грамматического лица» являются формы 6 и 14, 5 и 8, 2 и 9, 3 и 13, 7 и 11 (см. рис. 1).

В таблице II идентичными по признакам категории «грамматического лица» являются формы 11 и 12; 5 и 8; 6 и 15; 3,7 и 14 (см. рис. 2).

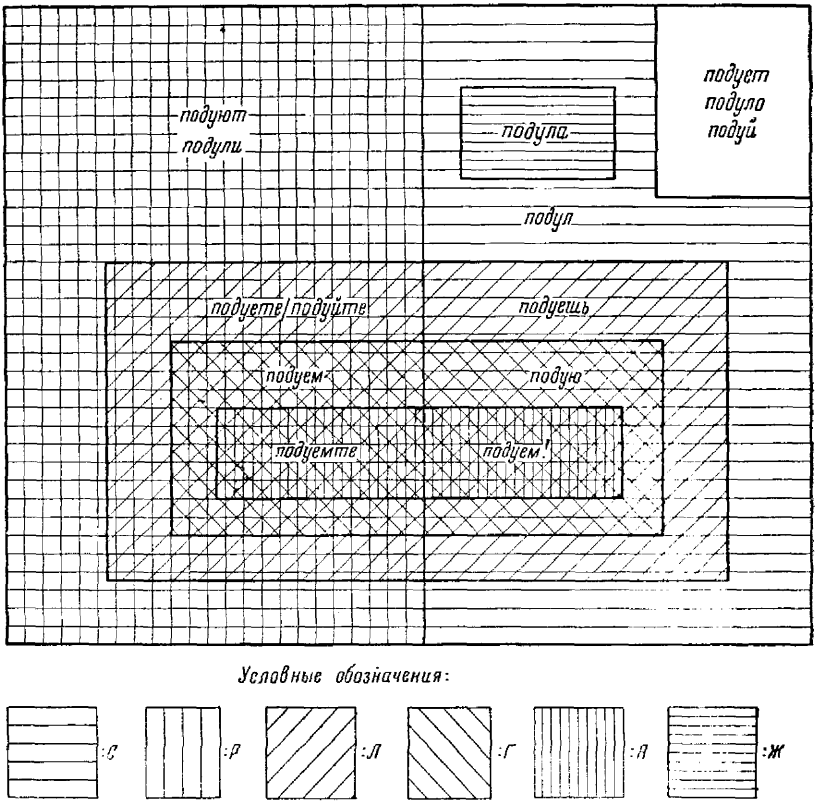


Рис. 3. Семантические признаки категории «грамматического лица» как система частично перекрывающихся подклассов

Минус (—) над символом обозначает невыраженность данного признака. Скобки обозначают, что данный признак выражен имплицитно (например: раз выражен говорящий, то выражены и лицо и субъект).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

С. К. ШАУМЯН

ПОРОЖДАЮЩАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НА БАЗЕ ПРИНЦИПА ДВУХСТУПЕНЧАТОСТИ

Постановка проблемы

В своей работе «Синтаксические структуры», имеющей первостепенное значение для развития исследований в области моделирования языка, Н. Хомский дал глубокий анализ модели непосредственно составляющих (НС), убедительно раскрыв ее сильные и слабые стороны.

Согласно анализу Н. Хомского, для правил порождения фраз по модели НС существенны следующие условия: 1) в процессе порождения не допускается перестановка символов; 2) на каждой ступени порождающего процесса можно подвергать замене одним или несколькими символами только один символ; нельзя заменять одновременно два или несколько символов; 3) каждое отдельное правило перехода данной цепочки символов в другую цепочку должно формулироваться без учета состояний предшествующих цепочек (т. е. без учета деривационной истории данной цепочки символов).

Как показал Н. Хомский, указанные условия суживают сферу применения модели НС и делают ее неадекватной естественным языкам. Для того чтобы создать модель, адекватную естественным языкам, Н. Хомский предложил дополнить модель НС так называемой трансформационной моделью, в которой ограничения, содержащиеся в указанных условиях, снимаются. Если в модели НС не допускается перестановка символов, то трансформационная модель дает возможность переставлять символы; если в модели НС невозможно подвергать замене более одного символа, то трансформационная модель допускает такую замену; если модель НС игнорирует состояния предшествующих цепочек, то трансформационная модель требует учитывать эти состояния.

Путь, указанный Н. Хомским, оказался плодотворным. Этот путь открывает еще невозделанную целину в области лингвистических исследований. Вместе с тем, целесообразно продолжать критику модели НС, начатую Н. Хомским, и остановить внимание на некоторых сторонах этой модели, на которые не было обращено внимание в работах Н. Хомского.

Мы хотели бы взглянуть на модель НС с точки зрения принципа двухступенчатости, служащего краеугольным камнем разрабатываемой нами теории структурной лингвистики. Речь идет о разграничении двух главных ступеней абстракции в структурной лингвистике, которые мы называем фенотипической и генотипической ступенью[1]. Если стать на точку зрения принципа двухступенчатости, то можно поставить следующий вопрос: как относится модель НС к разграничению фенотипической и генотипической ступени?

[1] См. С. К. Шаумян, Преобразование информации в процессе познания и двухступенчатая теория структурной лингвистики, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

На этот вопрос можно ответить, что в этой модели смешаны элементы обеих ступеней: с одной стороны, эта модель предназначена для абстрактных исследований, но с другой стороны, она включает в себя элементы пространственных представлений, которые относятся не к лингвистическим единицам в собственном смысле, а к их морфонематическому воплощению. Именно из этого обстоятельства и проистекают фундаментальные трудности, связанные с применением модели непосредственно составляющих. Возьмем, например, конструкции *со вспомогательными глаголами*, например *I have taken*. Как показал Н. Хомский, здесь налицо разрывная морфема *have... en*. Чтобы данная конструкция могла быть включена в модель, необходимо ввести правило перестановки морфем. Но в действительности, если стать на точку зрения генотипической ступени, то здесь нет никакой разрывной морфемы, а есть абстрактная морфема перфекта P, определенным образом воплощенная в морфонематических элементах, которые действительно являются разрывными. Аналогичным образом обстоит дело и с другими примерами, рассмотренными Н. Хомским.

Таким образом, модель НС нуждается в дополнении трансформационной моделью, потому что в ней заключены пространственные представления, относящиеся к фенотипической ступени. В связи с изложенным возникает общий вопрос: нельзя ли заменить модель НС более абстрактной моделью, не заключающей в себе пространственные представления и целиком относящейся к генотипической ступени? На этот вопрос мы отвечаем положительно. Мы предлагаем модель, опирающуюся не на понятие НС, а на операцию установления доминативных связей, которую мы называем операцией аппликации. Аппликация позволяет оперировать морфемами как элементами, полностью независимыми от их морфонематического воплощения, как элементами, связи между которыми не заключают в себе никаких пространственных представлений. В связи с этим не возникает никакой необходимости в правилах перестановки или других правилах, связанных с пространственными представлениями.

Подобную модель мы называем аппликативной порождающей моделью. В рамках аппликативной модели находят себе место и трансформации. Но здесь они служат не для преодоления пространственных представлений, как это имеет место, когда трансформации дополняют порождение по НС, а средством для исследования инвариантных отношений между предложениями.

Добавим, что в аппликативной модели имеются не только правила порождения последовательностей символов, но и правила порождения классов; поэтому данная модель состоит как бы из соединения двух порождающих устройств, связанных друг с другом обратной связью. Мы называем нашу модель аппликативной моделью со спаренными генераторами.

Ядерные предложения и ядерные классы слов

Рассмотрим в языке L словарь M, включающий в себя следующие классы слов: N, V, A, D. Определим на словаре M понятие комплекса классов слов: комплексы классов слов — это символы N, V, A, D, или выражения, образованные при помощи соединения этих символов. Из этого определения видно, что комплексы классов слов могут, по условию, состоять как из нескольких, так и из одного класса слов. Все комплексы классов слов разделяем на допустимые и недопустимые в рамках словаря M.

Для порождения комплексов классов слов, допустимых в рамках словаря M, введем операцию аппликации. Аппликацию мы определяем как операцию установления связи, представляющую собой двухаргументную

функцию, которая ставит в соответствие двум элементам X и Y третий элемент $Z = XY$. Аппликация — некоммутативна, т. е. $XY \neq YX$. Для обозначения некоммутативности аппликации введем знаки $\overline{\downarrow\ \ \downarrow}$ и $\overline{\uparrow\ \ \uparrow}$, при помощи которых будем различать пассивный элемент X и активный элемент Y, который ставится в связь с пассивным элементом X: $\overline{X\ \ Y}$ и $\overline{Y\ \ X}$. Оба способа записи равноправны. Пассивный элемент X будем называть аппликандом, а активный элемент Y — аппликатором.

Аппликацию не следует смешивать со сцеплением (конкатенацией). Для операции сцепления существенно, чтобы символ Y следовал непосредственно за символом X, тогда как для операции аппликации пространственное следование несущественно и поэтому названные символы могут быть отделены другими символами; например, в комплексе $\overline{X\ P\ Y}$ операция аппликации показана не только для символов P и Y, расположенных рядом друг с другом, но и для символов X и Y, которые отделены друг от друга символом P. Следует указать, что хотя для удобства мы записываем операцию аппликации в виде линейной последовательности символов, однако эта операция не связана с пространственными представлениями. Именно поэтому мы отказались от общепринятого термина «цепочка» и заменили его термином «комплекс».

Введем понятие аппликативной доминации, которую определим так: пусть даны классы X и Y, связанные друг с другом посредством операции аппликации; если X есть аппликанд, а Y — аппликатор, то X доминирует над Y, если же, напротив, Y есть аппликанд, а X — аппликатор, то Y доминирует над X. Аппликативную доминацию мы будем обозначать знаками $\underline{\downarrow\ \ \uparrow}$ и $\underline{\uparrow\ \ \downarrow}$, например, $\underline{X\ \ Y}$ или $\underline{Y\ \ X}$. Оба способа записи равноправны.

Отношение аппликативной доминации имеет, по условию, следующие три свойства:

1. Для всякого X невозможно $\underline{X\ \ X}$, т. е. ни один класс не может доминировать над собой (отношение иррефлексивно).

2. Для каждой пары классов X и Y, между которыми имеет место аппликативная доминация, невозможно одновременное $\underline{X\ \ Y}$ и $\underline{Y\ \ X}$, т. е. только один из этих элементов может быть доминирующим (отношение асимметрично).

3. Если $\underline{X\ \ Y}$ и $\underline{Y\ \ Z}$, то отсюда не следует $\underline{X\ \ Z}$ (отношение интранзитивно).

Условимся, что порождение комплексов, допустимых в рамках словаря M, определяется следующей матрицей аппликации:

→	N	V	A	I
N	0	0	0	0
V	1	0	0	0
A	1	0	0	0
D	0	1	1	0

Принимая N, V, A, D за одноэлементные комплексы классов слов и применяя к этим комплексам данную матрицу аппликации (с ограничением: применять в каждом комплексе каждую операцию только один раз).

получим в совокупности следующие 14 допустимых комплексов:

1) N 2) V 3) A

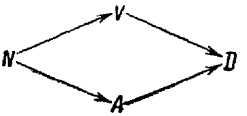
4) D 5) $A\ N$ 6) $N\ V$

7) $D\ A$ 8) $V\ D$ 9) $D\ A\ N$

10) $A\ N\ V$ 11) $D\ A\ N\ V$ 12) $N\ V\ D$

13) $A\ N\ V\ D$ 14) $D\ A\ N\ V\ D$

Рассмотрим данное множество комплексов классов слов с точки зрения аппликативной доминации. С этой точки зрения выделяются: абсолютно доминирующий класс N и абсолютно доминируемый класс D, а также относительно доминирующие классы A, V. Оба эти класса доминируют над D, но зато над ними в свою очередь доминирует N. Отношение аппликативной доминации между данными классами можно представить в виде следующего графа:



Этому графу соответствует следующая матрица аппликативной доминации:

→	N	V	A	D
N	0	1	1	0
V	0	0	0	1
A	0	0	0	1
D	0	0	0	0

Зададим теперь на указанном множестве допустимых комплексов следующие правила эквивалентности:

1) $NV \leftrightarrow V$
2) $AN \leftrightarrow N$
3) $DA \leftrightarrow A$
4) $VD \leftrightarrow V$

Данные правила эквивалентности должны служить для операции свертывания комплексов. Условимся при этом, что в процессе свертывания не должны возникать комплексы, недопустимые в рамках словаря M.

Применим операцию свертывания к максимально длинному допустимому комплексу $D\ A\ N\ V\ D$. В результате получим следующие комплексы:

1) $A\ N\ V\ D$

2) $N\ V\ D$

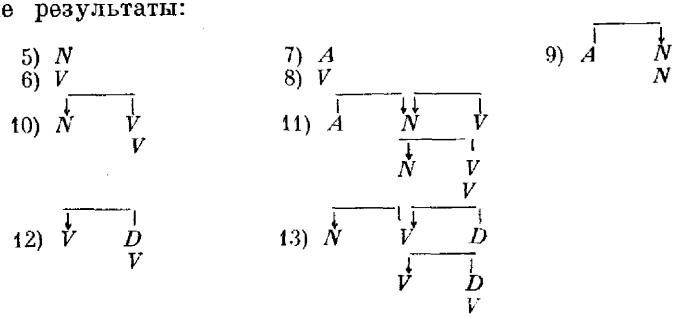
3) $N\ V$

4) V

На основании нашего условия невозможен комплекс $D\ N$, по-

тому что в этом комплексе символы D и N образуют недопустимый в рамках словаря M двухэлементный комплекс DN. Невозможен также и ряд других комплексов.

Применение операции свертывания к остальным комплексам дает следующие результаты:



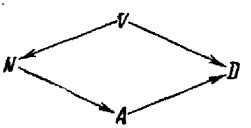
В связи с операцией свертывания введем понятие конститутивной доминации. Конститутивную доминацию определим так: пусть элементы X и Y образуют посредством операции аппликации комплекс $\overset{\downarrow}{X}\ \overset{\downarrow}{Y}$. Если путем операции свертывания возможно свести комплекс $\overset{\downarrow}{X}\ \overset{\downarrow}{Y}$ к комплексу X, то X конститутивно доминирует над Y. Если же, напротив, комплекс $\overset{\downarrow}{X}\ \overset{\downarrow}{Y}$ свертывается не к комплексу X, а к комплексу Y, то Y конститутивно доминирует над X. Если комплекс $\overset{\downarrow}{X}\ \overset{\downarrow}{Y}$ не подвержен, согласно условию, операции свертывания, то между X и Y отсутствует отношение конститутивной доминации.

Подобно аппликативной доминации, конститутивная доминация иррефлексивна, асимметрична и интранзитивна.

Если сопоставить операцию аппликации и операцию свертывания, как они нами определены, то мы увидим, что операция свертывания является только отчасти обратной по отношению к операции аппликации. Существует важный случай, когда эти операции не являются обратными: так, посредством операции аппликации цепочка N развертывается в цепочку $\overset{\downarrow}{N}\ \overset{\downarrow}{V}$, но свертывается данная цепочка не обратно к N, а уже к V.

Поэтому, если с точки зрения аппликативной доминации N доминирует над V, то с точки зрения конститутивной доминации, наоборот, V доминирует над N. Поскольку в остальных случаях операция свертывания обратна по отношению к операции аппликации, то в остальных случаях направление конститутивной доминации совпадает с направлением аппликативной доминации.

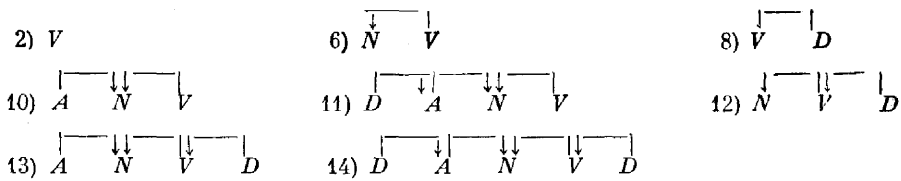
Рассмотрим теперь классы слов словаря M с точки зрения отношения конститутивной доминации. С этой точки зрения, выделяются абсолютно доминирующий класс V и абсолютно доминируемый класс D, а также относительно доминирующие классы A, N — первый доминирует над D, но над ним в свою очередь доминирует класс N, второй доминирует над A, но над ним в свою очередь доминирует класс V. Отношение конститутивной доминации между данными классами можно представить в виде следующего графа:



Этому графу соответствует следующая матрица конститутивной доминации:

→	N	V	A	D
N	0	0	1	0
V	1	0	0	1
A	0	0	0	1
D	0	0	0	0

Определим теперь понятие предложения. Предложением мы называем любой комплекс, в который входит класс V. Таким образом, из приведенных выше 14 комплексов предложениями, согласно данному определению, являются:



Символы классов слов словаря M мы интерпретируем так: N — существительное; V — глагол; A — прилагательное; D — наречие.

Классы словаря M мы будем называть ядерными классами слов, а приведенные выше предложения, порождаемые в рамках этого словаря, мы назовем ядерными предложениями.

Указанные выше формальные характеристики классов слов словаря M с точки зрения отношений аппликативной и конститутивной доминации мы назовем ядерными релляторами классов слов. Ядерные реляторы классов слов обозначим следующими индексами: R_1— релятор глагола; R_2— релятор существительного; R_3— релятор прилагательного; R_4— релятор наречия.

Ядерные реляторы классов слов можно сравнить с пучками дифференциальных элементов у фонем.

Остановимся теперь на лингвистическом смысле разграничения аппликативной и конститутивной доминации. Понятие доминации (часто обозначается иными терминами) широко используется в современных лингвистических работах. Однако нерасчлененное, глобальное понятие доминации наталкивается на фундаментальные трудности при исследовании вопроса о взаимоотношении подлежащего и сказуемого в составе предложения. Вопрос стоит так: что над чем доминирует, подлежащее над сказуемым или, наоборот, сказуемое над подлежащим? В лингвистической литературе встречаются три ответа на этот вопрос: 1) сказуемое доминирует над подлежащим, 2) подлежащее доминирует над сказуемым, 3) подлежащее и сказуемое взаимно доминируют друг над другом (или, как говорит Л. Ельмслев, они находятся в отношении интердепенденции). Если согласиться с первым ответом, то непонятно, почему сказуемое с точки зрения формального согласования подчиняется подлежащему. Если согласиться со вторым ответом, то непонятно, почему могут существовать предложения с одним сказуемым, т. е. с одним подчиненным членом без наличия подчиняющего члена. Наконец, согласившись с третьим ответом, мы лишим себя формальных критериев для разграничения подлежащего и сказуемого, поскольку в этом случае подлежащее и сказуемое оказываются тождественными в формальном отношении. Выход из этих фундаментальных трудностей мы усматриваем в проведенном нами рас-

щеплении глобального, нерасчлененного понятия доминации на понятие аппликативной доминации и понятие конститутивной доминации.

Понятие аппликативной доминации соответствует процессу реального синтеза предложения, поскольку именно существительное представляет собой вершину предложения с точки зрения предсказания формальных свойств остальных классов слов, из которых синтезируется предложение.

Понятие конститутивной доминации связано с установлением реальных отношений эквивалентности между комплексами классов.

Различение аппликативной и конститутивной доминации позволяет объяснить на семантическом уровне принципиальную разницу между функцией существительного и глагола. Функция существительного — называть предметы (номинация), и эта функция свойственна только существительному: другие части речи связаны с реальными предметами только через свои связи с существительным. Функция глагола — сообщать нечто (коммуникация), и эта функция свойственна только глаголу: другие части речи обладают коммуникативной функцией только через свои связи с глаголом. Будучи вершиной аппликативной доминации на формальном уровне, существительное служит вершиной номинативной доминации на семантическом уровне. Будучи вершиной конститутивной доминации на формальном уровне, глагол служит вершиной коммуникативной доминации на семантическом уровне.

Мы выделили четыре класса слов. Данную систему мы принимаем в качестве эталона, который может служить для структурно-типологического сравнения языков между собой. В принципе возможны языки с большим количеством классов. Возможны также языки и с меньшим числом классов. Однако число классов не может быть меньше двух, поскольку естественный язык немыслим без коммуникативной и номинативной функции, а стало быть — без классов слов, соответствующих предикатам и аргументам предикатов.

Понятие R-образа класса

В предыдущем разделе был представлен набор ядерных классов слов. Из этих классов можно порождать новые классы слов путем так называемой операции отображения класса через отношение. В определении этой операции мы опираемся на математическую логику.

Отображение класса K через отношение R имеет место в том случае, когда существует такой класс L_k, любой элемент которого x находится в отношении R к одному или нескольким элементам класса K. Класс L_k называют R-образом класса K[2] и обозначают в символической записи $R\,''K$. Формула $R\,''K$ должна читаться так: «R от K». Опираясь на это понятие математической логики, мы можем получить R-образы классов слов N, V, A, D, например: $R_4\,''A$ (разные виды косвенных падежей существительного, управляемого глаголом или прилагательным), $R_1\,''N$ (присвязочное существительное), $R_1\,''A$ (присвязочное прилагательное), $R_3\,''N$ (существительное в косвенном падеже, определяющее другое существительное), $R_3\,''V$ (причастие) и т. д.

Порождение R-образов ядерных классов распадается на такты. Первый такт состоит в том, что каждый ядерный класс N, V, A, D отображается через каждый ядерный доминативный релятор R_1, R_2, R_3, R_4. Второй

[2] См., например: W. V. O. Q u i n e, Mathematical logic, Cambridge, 1955, стр. 209.

такт состоит в том, что каждый R-образ, полученный в результате первого такта, отображается в свою очередь через те же ядерные реляторы. Третий такт состоит в том, что через те же ядерные реляторы отображаются R-образы, полученные в результате второго такта. Дальнейшие такты имеют аналогичный характер. Любой такт T_i состоит в том, что R-образы, полученные в результате предыдущего класса T_{i-1}, отображаются через ядерные реляторы.

Отсюда следует, что порождение R-образов посредством отображения классов через ядерные реляторы имеет рекурсивный характер. Теоретически количество R-образов бесконечно. Но это бесконечное количество сводится к конечному набору рекурсивных операций. Для наглядности представим первые два такта на следующих матрицах:

Матрица № 1 (первый такт)

	N	V	A	D
R_1	$R_1''N$	$R_1''V$	$R_1''A$	$R_1''D$
R_2	$R_2''N$	$R_2''V$	$R_2''A$	$R_2''D$
R_3	$R_3''N$	$R_3''V$	$R_3''A$	$R_3''D$
R_4	$R_4''N$	$R_4''V$	$R_4''A$	$R_4''D$

Матрица № 2 (второй такт ядерного класса N)

	$R_1''N$	$R_2''N$	$R_3''N$	$R_4''N$
R_1	$R_1''(R_1''N)$	$R_1''(R_2''N)$	$R_1''(R_3''N)$	$R_1''(R_4''N)$
R_2	$R_2''(R_1''N)$	$R_2''(R_2''N)$	$R_2''(R_3''N)$	$R_2''(R_4''N)$
R_3	$R_3''(R_1''N)$	$R_3''(R_2''N)$	$R_3''(R_3''N)$	$R_3''(R_4''N)$
R_4	$R_4''(R_1''N)$	$R_4''(R_2''N)$	$R_4''(R_3''N)$	$R_4''(R_4''N)$

Матрица № 3 (второй такт ядерного класса V)

	$R_2''V$	$R_2''V$	$R_3''V$	$R_4''V$
R_1	$R_1''(R_1''V)$	$R_1''(R_2''V)$	$R_1''(R_3''V)$	$R_1''(R_1''V)$
R_2	$R_2''(R_1''V)$	$R_2''(R_2''V)$	$R_2''(R_3''V)$	$R_2''(R_4''V)$
R_3	$R_3''(R_1''V)$	$R_3''(R_2''V)$	$R_3''(R_3''V)$	$R_3''(R_4''V)$
R_4	$R_4''(R_1''V)$	$R_4''(R_2''V)$	$R_4''(R_3''V)$	$R_4''(R_4''V)$

Матрица № 4 (второй такт ядерного класса A)

	$R_1''A$	$R_2''A$	$R_3''A$	$R_4''A$
R_1	$R_1''(R_1''A)$	$R_1''(R_2''A)$	$R_1''(R_3''A)$	$R_1''(R_4''A)$
R_2	$R_2''(R_1''A)$	$R_2''(R_2''A)$	$R_2''(R_3''A)$	$R_2''(R_4''A)$
R_3	$R_3''(R_1''A)$	$R_3''(R_2''A)$	$R_3''(R_3''A)$	$R_3''(R_4''A)$
R_4	$R_4''(R_1''A)$	$R_4''(R_2''A)$	$R_4''(R_3''A)$	$R_4''(R_4''A)$

Матрица № 5 (второй такт ядерного класса D)

	$R_1''D$	$R_2''D$	$R_3''D$	$R_4''D$
R_1	$R_1''(R_1''D)$	$R_1''(R_2''D)$	$R_1''(R_3''D)$	$R_1''(R_4''D)$
R_2	$R_2''(R_1''D)$	$R_2''(R_2''D)$	$R_2''(R_3''D)$	$R_2''(R_4''D)$
R_3	$R_3''(R_1''D)$	$R_3''(R_2''D)$	$R_3''(R_3''D)$	$R_3''(R_4''D)$
R_4	$R_4''(R_1''D)$	$R_4''(R_2''D)$	$R_4''(R_3''D)$	$R_4''(R_4''D)$

Представим теперь общую формулу операции отображения классов через ядерные реляторы. Если обозначить символом X любой класс, безразлично ядерный или R-образ ядерного класса, символом R_i любой ядерный релятор, то получим следующую общую формулу отображения классов через ядерные реляторы:

$$R_iX$$

На основании этой формулы и строится соответствующее исчисление, представляемое в матрицах. Само собой разумеется, что данное исчисление является чисто теоретическим, не зависящим от конкретных языков. На уровне конкретных языков многие клетки в матрицах окажутся пустыми.

Как видно из приведенных выше матриц, возможно отображение класса на самого себя; например, $R_2{''}N$ или $R_1{''}V$. Отображение класса на самого себя должно трактоваться как тождество самому себе: $R_2{''}N = N$, $R_1{''}V = V$. На втором такте имеем $R_2{''}(R_2{''}N)$ или $R_1{''}(R_1{''}V)$. Эти формулы, необходимые с точки зрения формальной последовательности, тождественны соответствующим формулам первого такта.

Расширенное синтаксическое ядро и определение трансформации

Имея R-образы ядерных классов, мы можем посредством операции аппликации получать любые комплексы.

Например, аппликация $R_4{''}N$ к V в ядерном комплексе $\overset{\downarrow}{D}\ \overset{\downarrow}{A}\ \overset{\downarrow}{N}\ \overset{\downarrow}{V}\ \overset{\downarrow}{D}$ дает деривационный комплекс $D\ A\ N\ V\ [R_4{''}N]D$. Аппликация $R_3{''}N$ к N в составе того же ядерного комплекса дает деривационный комплекс $M\ A\ N\ [R_3{''}N]V\ D$ и т. д. Имея запас R-образов ядерных классов, можно при помощи операции аппликации получить в принципе любой комплекс, служащий аналогом распространенного простого предложения любой сложности.

К трем типам лингвистических моделей — модели с конечным числом состояний, модели НС и трансформационной модели, рассмотренных Н. Хомским, можно добавить четвертый тип — аппликативную модель. Модель НС, как доказал Н. Хомский, ограничена в своем применении и поэтому должна быть дополнена трансформационной моделью. Что же касается аппликативной модели, то она настолько гибка, что для нее не существует трудностей, характерных для модели НС; в связи с этим в принципе не возникает необходимости дополнять аппликативную модель трансформационной моделью.

Вопрос о соотношении модели НС и аппликативной модели требует специального исследования и будет рассмотрен нами отдельно. Здесь же мы ограничимся указанием на две существенные черты аппликативной модели, делающие ее значительно более гибкой по сравнению с моделью НС.

1. Модель НС заключает в себе пространственные представления и поэтому в ней не допускаются перестановки элементов в цепочке. Модель НС оказывается неприменимой к предложениям типа английского *He gave it up*, поскольку в этом предложении связанные друг с другом слова *gave* и *up* разделены пространственно словом *it*. Поскольку *He gave it up* не подходит для модели НС, приходится вводить специальное транс-

формационное правило, преобразующее эту конструкцию путем перестановки элементов в конструкцию *He gave up it*[3]. Что же касается аппликативной модели, то конструкции данного типа не создают для нее никаких трудностей, ибо аппликативная модель не заключает в себе никаких пространственных представлений и способна устанавливать связи между элементами, разделенными другими элементами.

2. Возьмем фразу: *Старый товарищ брата*. Спрашивается — как с точки зрения модели НС делить данное предложение: (*Старый товарищ*) *брата* или *Старый* (*товарищ брата*)? Мы видим, что скобочная запись, соответствующая данной модели, неизбежно требует последовательного включения элемента, устанавливая в первом случае более тесную связь между словами *старый* и *товарищ*, а во втором — между словами *товарищ* и *брата*. Но оба эти решения неприемлемы на абстрактном уровне структуры языка, поскольку действительная связь здесь является параллельной, а не последовательной, и поэтому она должна быть представлена в виде следующей аппликативной схемы:

товерищ → старый
товерищ → брата

Таким образом, мы видим, что в силу пространственных представлений, заключенных в модели НС, эта модель слишком конкретна и поэтому ведет к смешению плана языка с планом речи (в соссюровском смысле этих терминов). В самом деле, только что приведенные варианты скобочной записи отражают реальные отношения между словами, но эти отношения принадлежат не плану языка, а плану речи.

Хотя аппликативная модель вполне достаточна для порождения простых предложений любой сложности, тем не менее существует важное соображение в пользу того, чтобы, применяя аппликативную модель, мы все же не отказывались от трансформаций. Дело в том, что именно трансформации позволяют установить отношения инвариантности между предложениями, а инвариантность представляет собой стержень как синтаксической, так и вообще лингвистической структуры. Конечно, можно посредством операции аппликации получить раздельно два предложения: *Мальчик пишет письмо* и *Письмо пишется мальчиком*, но только трансформация дает возможность вскрыть отношение инвариантности между обоими предложениями и показать, что второе может быть получено из первого. Раскрытие отношения инвариантности между предложениями сильно сокращает число операций, необходимых для порождения всего многообразия предложений, и позволяет, таким образом, создать более экономное грамматическое порождающее устройство. Если опираться на принцип инвариантности, то задача состоит в том, чтобы определить круг исходных простых предложений, из которых можно при помощи трансформаций получить все остальные предложения.

Спрашивается, может ли быть принят в качестве такого круга исходных предложений установленный нами выше набор ядерных предложений? Очевидно, нет. В нашем наборе ядерных предложений не предусмотрены предложения с объектными комплексами, включающими в себя винительный и другие косвенные падежи существительных, а без объектных комплексов нельзя обойтись при порождении предложений путем трансформаций (взять хотя бы порождение пассивных предложений, в которых в качестве исходных служат предложения с объектным комплек-

[3] См. Y. Bar-Hillel, Decision procedure in natural languages, «Logique et analyse», nouvelle série, 2-e année, janvier 1959.

сом с вин. падежом существительного). Наша система ядерных предложений построена в качестве основы для определения ядерных классов и порождения системы R-образов ядерных классов, без чего невозможно построение аппликативной модели. Что же касается порождения предложений при помощи трансформаций, то для этой цели наша система ядерных предложений должна быть расширена путем включения в нее предложений с объектными комплексами. Эти последние могут быть получены посредством операции аппликации с использованием R-образов ядерных классов.

Нашу систему ядерных предложений, дополненную предложениями с объектными комплексами, мы будем называть расширенным синтаксическим ядром. Вопрос о точном объеме расширенного синтаксического ядра требует специального исследования и не будет рассматриваться в рамках настоящей статьи. Здесь достаточно ограничиться констатацией, что существенной характеристикой расширенного синтаксического ядра является наличие в нем предложений с объектными комплексами.

Итак, применение трансформаций в рамках построенной нами аппликативной модели требует различения двух понятий — узкого синтаксического ядра и расширенного синтаксического ядра. В связи с применением трансформаций мы предлагаем определение понятия трансформации, которое считаем полезным для целей аппликативной модели. Предлагая приводимое нами определение трансформации, мы должны указать, что не считаем это определение окончательным, не нуждающимся в дальнейших коррективах, а рассматриваем его в качестве предварительного, рабочего определения, которое должно быть проверено практикой лингвистических исследований.

Прежде чем определить понятие трансформации, введем понятие п о л я о т о б р а ж е н и я. Полем отображения мы называем множество, включающее в себя любой класс K и совокупность его R-образов — $R''K$.

Теперь дадим следующее определение трансформации: т р а н с ф о р м а ц и я е с т ь у с т а н о в л е н и е и н в а р и а н т н о г о о т н о ш е н и я м е ж д у к о м п л е к с а м и A и B, п р и к о т о р о м к о м п л е к с B с ч и т а е т с я п р о и з в о д н ы м о т к о м п л е к с а A, причем выполняются следующие условия:

1. Любому классу X_i в комплексе A может быть сопоставлен в цепочке B класс X_j, входящий в то же поле отображения, что и класс X_i и, наоборот, любому классу X_j в комплексе B может быть сопоставлен в комплексе A класс X_i, входящий в то же поле отображения, что и X_j.

2. Пусть в комплексе A классы X_i и Y_i связаны отношением доминации — $X_i \rightarrow Y_i$; тогда в комплексе B сопоставленные данным классам классы X_j и Y_j должны быть связаны между собой отношением доминации — $X_j \rightarrow Y_j$ или $X_j \leftarrow Y_j$[4].

Давая данное определение трансформации, мы должны подчеркнуть, что считаем его достаточным только в рамках аппликативной модели на абстрактном грамматическом уровне. Что же касается более конкретных уровней, то здесь в определение трансформации должны быть введены новые условия. Вопрос об определении трансформаций на разных уровнях абстракции будет рассмотрен в другом месте.

---

[4] В иных терминах данное условие было впервые сформулировано в работе П. А. С о б о л е в о й «Опыт исчисления трансформаций на основе теории С. К. Шаумяна о порождении классов слов в процессе порождения грамматики», сб. «Исследования по структурной лингвистике» (в печати).

О грамматических дифференторах

До сих пор мы рассматривали классы слов на чисто абстрактном уровне как голые основы. Однако в конкретных языках каждому из рассмотренных классов сопоставляется известное число абстрактных понятий, обычно называемых грамматическими категориями. Например, в русском языке классу существительных могут сопоставляться категории рода, числа, одушевленности. Отображение классов слов на множество грамматических категорий ведет к разбиению классов на подклассы.

Различают парадигматические и непарадигматические категории[5]. Так, применительно к классу существительных в русском языке парадигматическими категориями являются мужской род, женский род, средний род, одушевленность, неодушевленность, а непарадигматическими — единственное число, множественное число, категории падежей.

Если сопоставить грамматику с фонологией, то роль грамматических категорий аналогична роли дифференциальных элементов в фонологии. Поэтому по аналогии с дифференциальными элементами в фонологии, для которых мы предложили термин «дифферентор»[6], мы будем называть грамматические категории грамматическими дифференторами. Подобно тому, как в фонологии с каждой фонемой сопоставляется определенный пучок фонологических дифференторов, и в грамматике с каждым классом слов сопоставляется определенный пучок грамматических дифференторов.

В нашей модели мы считаем целесообразным различать полевые и неполевые грамматические дифференторы. Под полевыми дифференторами мы имеем в виду дифференторы, разбивающие на подмножества поле отображения (как оно определено нами выше). К неполевым относятся все остальные дифференторы. Различение полевых и неполевых грамматических дифференторов не совпадает с указанным выше различением непарадигматических и парадигматических грамматических категорий. Так, с точки зрения этого последнего, категория числа и категория падежа принадлежат к одному и тому же (непарадигматическому) типу категорий. С нашей же точки зрения, категория числа и категория падежа принадлежат к разным типам категорий: первая — к неполевому, а вторая — к полевому типу.

Помимо различения полевых и неполевых грамматических дифференторов, мы вводим также различение универсальных и неуниверсальных грамматических дифференторов. К универсальным дифференторам мы относим ядерные дифференторы и дифференторы, связанные с отображением ядерных классов через ядерные реляторы. Эти дифференторы, как вытекающие непосредственно из свойств нашей модели, постулируются нами как универсальные, т. е. встречающиеся во всех языках, к которым применяется данная модель. Остальные же дифференторы считаются нами неуниверсальными, т. е. встречающимися только в некоторых языках, к которым применима данная модель.

По поводу термина «универсальный» нужно сделать следующие замечания. Термин «универсальный» следует понимать не в абсолютном смысле, а только в связи со сферой применения построенной нами модели. Мы не претендуем на то, чтобы наша модель была обязательно применима ко всем языкам, и в этом смысле большинство грамматических дифференторов может считаться неуниверсальным, но в сфере языков, к которым применима эта модель, указанное выше разделение грамматических

---

[5] См. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962, стр. 74.

[6] См. С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 53.

дифференторов на универсальные и неуниверсальные сохраняет свое значение.

В связи с понятием грамматического дифферентора возникает необходимость ввести в нашу модель две новые операции: операцию отображения классов слов на грамматические дифференторы и операцию конъюнкции грамматических дифференторов в предложении.

Операция отображения классов слов на грамматические дифференторы приводит к разбиению классов слов на подклассы. Что касается операции конъюнкции грамматических дифференторов, то она приводит к разбиению всех возможных сочетаний классов и подклассов в предложении на допустимые и недопустимые сочетания[7].

Общая схема аппликативной порождающей модели со спаренными генераторами

Все изложенное выше приводит нас к новому виду порождающей модели, которую мы будем называть аппликативной порождающей моделью со спаренными генераторами. Новый вид порождающей модели языка имеет две главные части: 1) генератор комплексов символов, 2) генератор классов символов. При этих генераторах существует морфонемное кодирующее устройство, фонемное кодирующее устройство и устройство физического воплощения. После того как цепочки символов интерпретируются нами как предложения, а классы символов интерпретируются как классы слов, предложения и слова должны быть переведены с уровня их абстрактного представления на уровень реального языка. Это достигается перекодированием символов, обозначающих абстрактные предложения и слова (предложения-генотипы и слова-генотипы) в символы, обозначающие морфонемы и фонемы, и, наконец, в символы, обозначающие физические воплотители фонем, т. е. звуки. В результате получаем реальные предложения (предложения-фенотипы) и реальные слова (слова-фенотипы).

Аппликативная порождающая модель со спаренными генераторами может быть представлена на схеме (см. стр. 70).

Стрелки между генератором комплексов символов и генератором классов символов показывают, что между этими генераторами существует обратная связь. Рассмотрим теперь отдельные части аппликативной порождающей модели со спаренными генераторами и дадим общую характеристику ее работы.

В модель вводится набор исходных символов N, V, A, D, которые подвергаются различным операциям. Работа аппликативной порождающей модели со спаренными генераторами распадается на циклы. Циклом мы называем определенный набор операций, тесно связанных между собой и образующих вместе единую систему операций, которая может считаться одной крупной операцией. Порядок следования циклов друг за другом не всегда является жестким и в некоторых случаях выбор очередного цикла бывает произвольным. Работа аппликативной порождающей лингвистической модели со спаренными генераторами начинается с подачи исходных символов в генератор комплексов символов.

В аппликативной порождающей модели мы различаем две части: абстрактную и конкретную. На выходе абстрактной части мы имеем предложения-генотипы и слова-генотипы, а на выходе конкретной части мы имеем предложения-фенотипы и слова-фенотипы. Абстрактную часть

[7] Операция конъюнкции грамматических дифференторов в нашей порождающей модели соответствует операции конъюнкции в распознающей модели И. И. Ревзина (см. И. Р е в з и н, указ. соч., стр. 154 и сл.).

модели мы будем называть генотипической частью, конкретную часть модели — фенотипической частью.

В работе генотипической части модели мы различаем следующие 10 циклов.

Цикл 1. Генератор комплексов символов порождает ядерные комплексы символов. Информация о ядерных комплексах символов передается в генератор классов символов.

Цикл 2. Путем отображения ядерных классов через ядерные реляторы генератор классов порождает R-образы ядерных классов. Информация об R-образах передается в генератор комплексов.

Цикл 3. Используя необходимые символы из запаса R-образов, генератор комплексов порождает расширенное синтаксическое ядро.

Цикл 4. Путем трансформаций генератор комплексов символов порождает из расширенного синтаксического ядра все совокупности комплексов, служащих аналогами простых предложений всех типов.

Цикл 5. Генератор классов отображает простые предложения через ядерные реляторы классов слов и передает информацию об этом отображении в генератор комплексов.

Цикл 6. На основании полученной информации об отображении простых предложений на классы слов генератор комплексов символов порождает комплексы, служащие аналогами сложноподчиненного предложения.

Цикл 7. Путем операции сложения генератор комплексов символов порождает комплексы, служащие аналогами сложных предложений.

Цикл 8. Путем отображения классов слов на грамматические дифференторы генератор классов символов разбивает классы на подклассы.

Цикл 9. Путем операции субституции генератор комплексов сим-

волов образует всевозможные виды новых комплексов, в которые входят разные подклассы.

Цикл 10. Путем операции конъюнкции дифференторов генератор комплексов символов разделяет все комплексы на комплексы, содержащие допустимые сочетания классов и подклассов, и комплексы, содержащие недопустимые сочетания классов и подклассов.

В результате только что указанных 10 циклов заканчивается работа генотипической части модели и на выходе этой части мы получаем предложения-генотипы и слова-генотипы.

Предложения-генотипы и слова-генотипы подаются в фенотипическую часть модели. В работе фенотипической части модели мы различаем следующие три цикла.

Цикл 1. Предложения-генотипы и слова-генотипы кодируются посредством символов морфонем в морфонемном кодирующем устройстве.

Цикл 2. Полученные морфонемные цепочки перекодируются в фонемные цепочки[8].

Цикл 3. Полученные фонемные цепочки воплощаются в звуковые цепочки, и в результате на выходе мы имеем предложения-фенотипы и слова-фенотипы.

В результате своей работы аппликативная порождающая модель со спаренными генераторами должна породить словарь и грамматически правильные предложения данного языка *.

---

[8] Применительно к фенотипической части модели мы говорим уже не о комплексах символов, а о цепочках символов, поскольку в этой части модели существенны не только отношения аппликативной и конститутивной доминации, но и линейный порядок символов.

* Автор приносит благодарность Ю. Д. Апресяну, К. И. Бабицкому, В. Ингве, Ю. К. Лекомцеву, С. Маркусу, И. И. Ревзину, П. А. Соболевой, Б. В. Сухотину, М. Халле и другим лицам, прочитавшим данную работу в рукописи и сообщившим автору свои критические замечания.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

Н. А. БАСКАКОВ

К КРИТИКЕ НОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Проблема классификации тюркских языков продолжает привлекать внимание советских и зарубежных исследователей. В последнее время было опубликовано несколько новых классификационных схем, из которых наибольший интерес представляют три классификации, опубликованные в «Основах тюркской филологии»: две классификации — И. Бенцинга и К. Г. Менгеса — в вводной статье [1] и классификация, которая принята редакционным комитетом этого труда при распределении в нем материала, а также статья Б. А. Серебренникова, излагающая новую классификационную схему с учетом принципа «индекса слов» [2].

1

Классификация И. Бенцинга формально охватывает только современные тюркские языки, хотя автор привлекает также древние и средневековые тюркские языки, которые в каждой классификационной группе упоминаются как предшественники современных языков, как их более старые формы.

По классификации И. Бенцинга, все тюркские языки разделяются на пять больших групп: 1) булгарскую, 2) южную, или огузскую, 3) западную, или кыпчакско-куманскую, 4) восточную, или уйгурскую и 5) северную.

1. В булгарскую группу (the Bolgar group) входит только один чувашский язык; более древним по отношению к нему И. Бенцинг считает язык волжских булгар. Отношение к этой группе дунайско-булгарского языка, по мнению автора, остается неясным ввиду скудости сведений об этом языке; следует отметить, однако, что опубликованные И. Миккола данные о языке дунайских булгар [3] показывают значительную материальную близость этого языка к языкам волжско-булгарскому и чувашскому (например, *тутом* — ср. чуваш. *тăватăм* «четвертый», *твирем* — ср. чуваш. *тăхăр* «девятый» и др.), что позволяет говорить о близости фонетических систем этих языков. Хазарский язык, о котором сохранилось еще меньше фактических данных, автор не упоминает в составе булгарской группы. В качестве фонетического признака, определяющего булгарскую группу, И. Бенцинг приводит потерю конечного *g*/*γ* (чуваш. *tu* ~ *тăv* «гора» и *śura-n* «пеший»).

Таким образом, с составом языков булгарской группы по классификации И. Бенцинга (если не считать древние дунайско-булгарский и хазарский языки) можно вполне согласиться, поскольку такой состав языков является традиционным и общим для большинства классификаций, а именно: а) древний язык булгар и б) современный чувашский язык.

2. Южная, или огузская, группа [Southern Turkic (the Oghuz group)]

[1] J. Benzing (I) and K. H. Menges (II), Classification of the Turkic languages, «Philologiae turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959.

[2] Б. А. Серебренников, К проблеме классификации тюркских языков, ВЯ, 1961, 4 (ссылки на страницы этой работы далее приводятся в тексте).

[3] См. J. J. Mikkola, Die Chronologie der türkischen Donaubulgaren, «Journ. de la Société finno-ougrienne», XXX, Helsinki, 1913.

состоит, по И. Бенцингу, из трех современных языков: 1) османского (турецкого) со всеми группами диалектов, к которым он, кроме румелийских, анатолийских, крымского и прочих, относит также и современный гагаузский язык; 2) азербайджанского со всеми группами диалектов, в том числе диалектами иранского Азербайджана и диалектом кашкайцев; 3) туркменского языка с диалектами туркменов Ирана и трухменским диалектом. В качестве древних языков он относит к этой группе язык средневековых огузов (имея в виду материалы по огузскому языку в словаре Махмуда Кашгарского 1073 г. н. э.), сельджукский язык (памятники XIII в.), староосманский язык и средневековый язык туркменов (по кыпчакским словарям XIV в.).

Признаками этой группы он считает: а) утрату конечного *g*/γ в многосложных словах (*yaya* «пеший»); б) после согласных аффиксы генитива и датива — соответственно *-ïn* и *-a*; в) формы настоящего времени: турецк. *-ıyor* = азерб. *-ir* (<* *iyir*) = туркм. *-yär*.

Определяя южную, или огузскую, группу, И. Бенцинг опирался в большей степени на географический, чем на исторический принцип группировки языков и поэтому допустил, с нашей точки зрения, некоторое упрощение, игнорируя историческую последовательность; в развитии огузских языков он определил ее в большей степени как южную, но не как огузскую группу. Такой подход привел автора к смешению огузских языков, имевших различный языковой субстрат и характеризовавшихся в процессе своего развития различными связями с другими тюркскими языками. Фонетические, лексические и грамматические особенности каждого огузского языка вызывают необходимость членения огузских языков на подгруппы; такое членение должно отражать отношения и связи входящих в эти подгруппы языков с другими языками, а также исторические условия развития группируемых языков. Так, язык средневековых огузов и современный туркменский язык (вместе с трухменским) характеризуются в большой степени архаичными чертами, отражающими еще слабую дифференциацию огузских и кыпчакских языков в противопоставлении их карлукским и другим языкам; что касается древних языков — сельджукского, староосманского, староазербайджанского — и современных — турецкого, азербайджанского языков и южнобережного диалекта крымско-татарского языка, то они развивались в иных условиях и, подвергаясь другим иноязычным влияниям, значительно видоизменились.

В классификации И. Бенцинга не учтена также и специфика гагаузского языка, который в своем развитии прошел иной путь, чем языки туркменский, азербайджанский или турецкий. Формирование гагаузского языка связано, с одной стороны, с языками узов и печенегов, проникших в Восточную Европу в отличие от турок и основной части азербайджанцев северным путем, а с другой стороны — с языком дунайских булгар, являющимся языком-субстратом по отношению к современному гагаузскому. По причинам как исторического, так и лингвистического характера гагаузский язык, имеющий своеобразные черты и рефлексы булгарского языка (субстратного по отношению к языкам печенегов, узов и гагаузов), должен быть выделен вместе с древними языками печенегов и узов в особую огузо-булгарскую подгруппу. Таким образом, классификация огузских языков у И. Бенцинга была бы более точной, если бы он в большей степени учел исторические и лингвистические моменты в определении специфики классифицируемых языков.

3. В западнотюркскую, или кыпчакско-куманскую, группу [West Turkic (the Kipchak-Koman languages)], по И. Бенцингу, входят три подгруппы: 1) черноморско-каспийская с языками: караимским (западные и восточные диалекты), карачаево-балкарским и кумыкским; 2) ураль-

ская с языками: татарским и башкирским. К этой же группе без достаточных оснований он относит и степные диалекты крымско-татарского языка, которые по фонетическим, лексическим и грамматическим показателям должны были быть отнесены к первой подгруппе; 3) арало-каспийская с языками: казахским, каракалпакским, ногайским. К этой же подгруппе также необоснованно автор относит киргизский язык, хотя и отмечает его близость к алтайскому (Горный Алтай).

В качестве древних и средневековых языков к этой же группе, по классификации И. Бенцинга, относятся: язык кыпчаков-команов (по памятнику «Codex Cumanicus») и язык кыпчаков (по кыпчакским словарям XIII—XV вв. и словарю Махмуда Кашгарского).

Основными признаками, характеризующими западнотюркскую, или кыпчакскую, группу, И. Бенцинг считает: а) переход конечного γ в *w* (или его дериваты) — *taγ* > *taw* «гора» > кирг. *tō*, ср. алт. *tū*; *jajaγ* > *yayaw* «пеший» /татар. *ğäyäw*/ башк. *yäyäw* /казах. *žayaw* > кирг. *žō*, ср. алт. *d'ayū*; б) особенности вокализма и ассимиляции согласных (ср. *küčler* «силы», татар. *köčlär*, башк. *köster*, казах. *küšter*).

Как уже отмечалось выше, И. Бенцинг необоснованно включает в западную, или кыпчакскую, группу киргизский язык, который по всем фонетическим, лексическим и грамматическим признакам стоит ближе, например, к языку алтайскому (южные диалекты), чем к языкам кыпчакской группы. Неточным в лингвистическом отношении является в данной классификации отнесение крымско-татарского (степные диалекты) языка к уральской группе. По своим нормам крымско-татарский может быть отнесен в классификации И. Бенцинга скорее к черноморско-каспийской группе, чем к уральской. Распределение остальных кыпчакских языков по группам вполне соответствует их специфике.

4. Восточная, или уйгурская, группа [East Turkic (the Uigur group)], по И. Бенцингу, состоит из двух современных языков: узбекского и новоуйгурского. К этой же группе автор относит древние и средневековые языки: древнеуйгурский VIII—IX в., чагатайский XIII в., а также караханидско-тюркский и хорезмско-тюркский. Основным признаком данной группы языков он считает переход звонких конечных *g*/γ > *k*/*q* (*yayaq*).

Возражения вызывает отнесение к данной группе древнеуйгурского языка, архаичного по своим признакам. Хотя генетически древнеуйгурский язык тесно связан с современными узбекским и новоуйгурским языками, но в отношении специфики фонетических, лексических и грамматических признаков он так же, как и древнеогузский язык орхонских надписей, ближе стоит к таким языкам, как тувинский, хакасский и проч., составляя вместе с ними и другими тюркскими языками Сибири и Центральной Азии свою особую большую самостоятельную группу.

5. Северная группа (North Turkic), по И. Бенцингу, разделяется на две подгруппы: 1) арало- (sic! может быть, Алтае-? — *Н. Б.*)-саянскую (the Aral-Sayan group) с языками: алтайским (ойротским), шорским, хакасским, тувинским, карагасским и 2) северносибирскую (the North Siberian group) с языками якутским и долганским. К последней группе условно отнесен также и древнеогузский язык орхонских надписей.

Признаками северной группы тюркских языков И. Бенцинг считает: а) варьирование конечного *g*/γ по языкам хакас. *čazaq* «пеший», тув. *čadaγ*, но якут. *sati*; тув. *daγ* «гора», но якут. *tïa*; б) наличие причастной формы *-γałaq* (< * *γan ele yoq*), в алт. *barγalaq*, хакас. *parγalaq*, тув. *barγalaq*.

Северная группа по своему составу является наиболее сложной, и при классификации языков этой группы обнаруживаются наибольшие расхождения во взглядах ученых-тюркологов. Так, объединяя в одну

подгруппу алтае-саянских языков такие языки, как алтайский (ойротский), шорский, хакасский, тувинский и карагасский, И. Бенцинг упускает из вида довольно резкие расхождения в фонетике, лексике и грамматике между языками тувинским и карагасским, с одной стороны, алтайским (ойротским) — с другой, и хакасским и шорским — с третьей; эти языки по существу могли бы составлять самостоятельные подгруппы хотя бы по одному из основных фонетических признаков — соответствию $d/t \sim z/s \sim y$, не говоря уже о лексических и грамматических признаках. В большинстве классификаций предшественников И. Бенцинга эти языки распределяются следующим образом: а) к *d/t*-языкам обычно относят языки тувинский и карагасский, к ним же могут быть отнесены языки, обладающие другими специфическими особенностями,— якутский и древнетюркские языки: древнеогузский (язык орхонских надписей), древнеуйгурский и древнекиргизский (язык енисейских надписей); б) к *z/s*-языкам — хакасский, шорский (мрасский диалект), камасинский, чулымский (нижнечулымский, или кюэрикский), а также саларский и сарыуйгурский диалекты новоуйгурского языка; в) к *y*-языкам: алтайский (ойротский). Особое место среди *y*-языков данной группы занимают шорский (кондомский диалект) и северные диалекты алтайского языка (туба, кумандинский и лебединский, или чалканский), которые по другим признакам сближаются с *z/s*-языками. Кроме того, алтайский язык (южные диалекты), как уже сообщалось выше, имеет много лексических и грамматических черт, сближающих его с киргизским языком.

Таким образом, северная группа тюркских языков и в особенности ее северносибирская подгруппа в классификации И. Бенцинга вызывает наибольшие возражения и недоумения; не соответствующее действительности распределение языков в этой части классификации объясняется, по всей вероятности, недостатком сведений по данным языкам в научной лингвистической литературе.

Констатируя некоторые расхождения между классификацией И. Бенцинга и классификациями, опубликованными советскими тюркологами, все же следует отметить значительное сближение взглядов тюркологов на вопросы лингвистической классификации тюркских языков не только по основным их группам, но и в более мелких их подразделениях.

2

Классификация К. Г. Менгеса по своим классификационным группам языков мало отличается от классификации И. Бенцинга, хотя последовательность распределения групп у Менгеса несколько иная. По классификации К. Г. Менгеса, все тюркские языки разделяются на шесть основных групп (в свою очередь объединяющих двенадцать более мелких подразделений — подгрупп): А — центральная и юго-западная группа (the Central and Southwest Asiatic languages or Türküt languages) с подгруппами: 1) центрально-азиатской (the Central Asiatic group), к которой отнесены все древние и средневековые языки (т. е. язык енисейско-орхонских надписей, древнеуйгурский язык, средневековый тюркский язык караханидов, зарегистрированный в словаре Махмуда Кашгарского, хорезмско-тюркский, чагатайский) (кроме средневекового кыпчакского и булгарского), а также современные узбекский (иранизованные диалекты), новоуйгурский и киргизский языки и 2) юго-западной, или огузской (the Southwest- or Oγuz group), с древними языками — сельджукским и староосманским — и с современными — турецким, азербайджанским, гагаузским и туркменским; В — северо-западная, или кыпчакская

(the Northwest- or Qïpčaq division), группа с подгруппами: 1) старосеверо западной подгруппой среднетюркского периода (Old Northwestern of the «Middle Turkic» period), куда отнесен язык команов-кыпчаков (половцев); 2) черноморско-каспийской (Ponto-Caspian languages) с языками: караимским, карачаево-балкарским, крымско-татарским и кумыкским; 3) волжско-камско-западносибирской (Wolga-Kama-West-Siberian languages) с татарским языком, западносибирскими татарскими диалектами, барабинским, кюэрикским и башкирским языками; 4) арало-каспийской (Aralo-Caspian languages) с языками казахским, каракалпакским, кыпчакскими диалектами узбекского языка, ногайским и киргизским языками, причем последний, будучи связан по своему происхождению с центрально-азиатской подгруппой группы А и арало-каспийской подгруппой группы В, представляет собой переходную форму по отношению к языкам этих двух подгрупп; С—группа с подгруппой: 1) алтайской (ойротской) (Oyrot) с горноалтайским языком и его диалектами, генетически связанным также с последующей D-группой; D—группа с подгруппами: 1) центральноюжносибирской, абаканской, или хакасской (the Central-South-Siberian, Abakan or «Xakas» group), объединяющей шорский и хакасский языки со всеми их диалектами; 2) восточной, или тувинской, подгруппой (the East or Tuva group), состоящей из двух языков — тувинского и карагасского, связанных с последующей Е-группой; Е—группа, состоящая из северо-восточной, восточносибирской, или якутской, подгруппы (the Northeast, East-Siberian, or Jakut group), к которой относятся языки якутский и долганский. Наконец, последняя F—группа — волжско-булгарская, или хунну-булгарская (the Volga-Bulgarian or Hunno-Bulgarian), составляют две подгруппы: 1) волжско-булгарская (Volga-Bulgarian) с дунайско-булгарским и волжско-булгарским языками; 2) чувашская (Čuvaš) подгруппа с современным чувашским языком.

Классификация К. Г. Менгеса в большей степени учитывает историческую основу, хотя названия групп и подгрупп носят чисто географический характер. Распределение всех древних, средневековых и современных языков по классификационным разделам является еще более близким к классификациям, опубликованным советскими тюркологами.

Вызывают сомнение и возражения только некоторые положения классификации К. Г. Менгеса. Прежде всего объединение языка енисейско-орхонских надписей с более поздними средневековыми языками — караханидским, чагатайским (староузбекским) — и современными узбекским и новоуйгурским в одну центрально-азиатскую группу не оправдано их различными фонетическими, морфологическими и лексическими признаками точно так же, как и включение киргизского языка в арало-каспийскую подгруппу северо-западной, или кыпчакской, группы. Здесь результаты применения исторического принципа классификации не согласуются с лингвистическими признаками классифицируемых языков. Недостаточно мотивировано также объединение таких языков, как татарский, с одной стороны, и кюэрикский (чулымский) — с другой; не разделены диалекты горноалтайского языка, северные диалекты которого должны быть скорее включены в центрально-южносибирскую, абаканскую, или хакасскую, подгруппу D-группы, чем в ойротскую (горноалтайскую) подгруппу С-группы.

Тем не менее классификация К. Г. Менгеса является более историчной и в большей степени учитывает особенности языков, чем классификация И. Бенцинга, хотя внешний вид классификационной схемы К. Менгеса (названия групп и подгрупп, порядок их следования) и наводит на мысль о первичности географического признака как ее основного принципа.

3

Третий вариант классификации тюркских языков, принятый за основу редакционным комитетом «Philologiae turcicae fundamenta» при последовательном распределении очерков по конкретным языкам в книге, является наиболее историчным из предложенных там классификаций.

Все тюркские языки разделяются редакцией книги на следующие четыре группы: I) древнетюркская (Das Alttürkische)—язык енисейско-орхонских надписей и древнеуйгурский в различных разновидностях письменности; II) средневековотюркская (Das Mitteltürkische) группа языков с двумя подгруппами: 1) западносредневековотюркской (Westmitteltürkisch) подгруппой — язык «Codex Cumanicus», мамелюко-кыпчакский и армяно-кыпчакский; 2) восточносредневековотюркской (Ostmitteltürkisch) подгруппой — язык караханидских памятников, хорезмско-тюркский и чагатайский (староузбекский); III) новотюркская (Das Neutürkische) группа языков с подгруппами: 1) южнотюркской (Südtürkisch) подгруппой — староосманский язык, турецкий язык с анатолийским, румелийским, гагаузским и южнокрымским диалектами, азербайджанский и туркменский языки; 2) западнотюркской (Westtürkisch) подгруппой, куда входят языки: а) новокоманские: караимский, карачаево-балкарский, крымско-татарский, кумыкский и б) уральские: казанско-татарский и башкирский; 3) центрально-тюркской (Zentraltürkisch) подгруппой с арало-каспийскими языками: казахским, каракалпакским, ногайским, кыпчакскими диалектами узбекского языка, киргизским языком; 4) восточнотюркской (Osttürkisch) подгруппой — узбекский, новоуйгурский, сарыуйгурский, саларский языки; 5) северно-тюркской (Nordtürkisch) подгруппой — алтайский, хакасский, чулымский, камасинский, шорский, тувинский, карагасский, якутский языки; IV) булгарская (Die bulgarische Gruppe) группа (хуннский, дунайско-булгарский, волжско-булгарский, чувашский языки).

В данной классификации, созданной для узко практической цели, распределение всех языков осуществлено, так сказать, в грубых чертах, чем, вероятно, и объясняется неправомерность отнесения к одной классификационной подгруппе таких языков, как казахский, каракалпакский и ногайский, с одной стороны, и киргизский, генетически более близкий к горноалтайскому,— с другой. Неправильно объединены в одну подгруппу узбекский и уйгурский языки с сарыуйгурским и саларским. Весьма сложной и разнородной по своему составу является пятая подгруппа новотюркских языков, куда входят, с одной стороны, *d/t*-языки — тувинский, карагасский (тофаларский), якутский; *z/s*-языки — шорский, хакасский, а с другой — *y*-языки — алтайский.

Тем не менее рассматриваемая классификация представляет, несомненно, значительный интерес и в общих чертах не противоречит тем общим положениям, которые установлены в классификациях как И. Бенцинга и К. Г. Менгеса, так и русских и советских тюркологов [4].

4

Наконец, недавно появилась статья Б. А. Серебренникова «К проблеме классификации тюркских языков», в которой в кратких чертах критически изложены некоторые из существующих классификаций русских и зарубежных тюркологов и сделана попытка дать новую классификацию тюркских языков с учетом так называемого «индекса общих слов».

[4] См., например, Н. А. Баскаков, К вопросу о классификации тюркских языков ИАН, ОЛЯ, 1952, 2.

Однако статья Б. А. Серебренникова вызывает некоторые недоумения с точки зрения как самого метода исследования, которым он пользовался, так и с чисто фактологической стороны.

Метод Б. А. Серебренникова характеризуется следующими основными чертами: 1) механическое перенесение фонетических закономерностей изменения звуков в индоевропейских языках на фонетические закономерности тюркских языков и неучет специфики исторического развития звуков тюркских языков; 2) произвольное смешение диахронического и синхронического плана исследования; 3) неучет субстрата в историческом развитии языков; 4) априорные выводы, сделанные либо на основании явлений, вызванных не генетическими внутренними законами развития языков, а внешним воздействием, либо в результате некоторых фактических погрешностей автора. Касаясь законов фонетического развития тюркских языков, Б. А. Серебренников в некоторых своих положениях игнорирует реальные фонетические явления, зарегистрированные в письменных памятниках древнетюркских языков и в некоторых диалектах современных живых тюркских наречий, о чем была уже опубликована специальная заметка Р. Г. Ахметьянова [5], которая избавляет нас от полемических возражений по данному вопросу.

Устанавливая принципы отбора отличительных классификационных признаков, Б. А. Серебренников справедливо считает, как и все его предшественники, наиболее удачными те фонетические признаки, которые связаны с рядом морфологических признаков; однако конкретные примеры, на которые он опирается, являются весьма неудачными. Так, Б. А. Серебренников считает, что «такой фонетический признак, как, например, изменение древнего задненёбного γ в конце закрытого слога и в интервокальном положении в тюркских языках северо-западной группы, всегда бывает связан с рядом морфологических признаков — таких, как настоящее время, образуемое посредством деепричастия на *-a/-e*, и причастие на *-γan*. Напротив, сохранение γ при тех же условиях в языках южной группы оказывается совмещенным с такими морфологическими признаками, как настоящее время на *-r* и причастие на *-myš*» (стр. 65).

Здесь автор допускает целый ряд погрешностей с чисто тюркологической точки зрения. Во-первых, задненёбный γ, действительно изменяясь в конечной позиции слова (например, *daγ* > *taw*>*too*/*tuu* «гора» и т. п.), не только остается без изменения в интервокальной позиции (*aγač*/*aγaš* «дерево»), но и является характерным именно для данной группы языков в отличие от южной, где этот звук, как правило, изменяется (*aač* < *aγač* «дерево»). Во-вторых, сохранение конечного γ не обязательно сопряжено с наличием в данном языке причастия на *-miš*. Так, в хакасском языке при сохранении конечного γ продуктивным причастием является причастие на *-γan*, а не на *-miš*.

Что касается формы настоящего времени, то во всех тюркских языках в основе настоящего времени лежит одно и то же причастие на *-ar*. Вариации же форм настоящего времени связаны не с формой причастия на *-ar*, а со степенью различной редукции вспомогательных глаголов, образующих видо-временные формы настоящего времени в различных тюркских языках, так как формы настоящего времени *-yär* (<*-a*+ *yatar*~ *yorur*) в туркменском, *-yor* (<*-a* + *yatar*~*yorur*) в турецком, *-ir* (<*-i* + +*yir* < *a* + *yatar* ~ *yorur*) в азербайджанском, *-a* (<*-a* + *turur*) ~ *atïr* (<*a* + *yatïr*) в казахском, каракалпакском и других языках восходят в формам на *-ar*/*-r*. Противопоставление же этих форм в кыпчакских

[5] Р. Г. Ахметьянов, К вопросу о природе звуковых переходов в тюркских языках (о переходе *r* ~ *z*), ВЯ, 1961, 6.

и огузских языках Б. А. Серебренниковым объясняется либо непризнанием общепризнанной в тюркологии этимологии этих форм, либо произвольным смешением диахронического и синхронического плана исследования (именно это смешение декларируется Б. А. Серебренниковым— стр. 65).

Странной и противоречивой кажется также недооценка воздействия языковых субстратов на фонетику и грамматику той или иной группы тюркских языков. Так, отрицая необходимость выделять татарский и башкирский языки в особую кыпчакско-булгарскую подгруппу (стр. 68),— хотя воздействие на эти языки одного и того же булгарского субстрата совершенно очевидно,— Б. А. Серебренников далее «рассматривает как совершенно бесспорное установление» в числе других «групп близкородственных языков» группы «1) татарский, башкирский» (стр. 73). Разве не общими субстратными воздействиями можно мотивировать также отнесение в одну подгруппу узбекского и уйгурского языков и т. д.?

Считая одним из важнейших признаков классификации языков лексический признак, Б. А. Серебренников делает попытку построить классификацию с учетом так называемого «индекса общих слов».

«Если тюркские языки расклассифицировать по индексу общих слов,— пишет Б. А. Серебренников,— то все тюркские языки можно разделить на четыре большие группы: I — турецкий, азербайджанский, гагаузский, туркменский; II — татарский, башкирский, кумыкский, ногайский, балкарский, узбекский, уйгурский; III — казахский, киргизский; IV — тувинский, хакасский, якутский, чувашский» (стр. 73). Не учитывая того, что лексика является самым подвижным и изменяющимся элементом языка и что общий лексический слой двух или нескольких языков может быть объяснен не только благодаря генетической близости этих языков, но и как возникший в результате длительных контактов соседящих народов, в результате вхождения их в единый языковой союз, Б. А. Серебренников считает возможным объединять в одну группу такие языки, как татарский, башкирский, кумыкский. ногайский, балкарский, с одной стороны, и относительно далекие по родству узбекский и уйгурский языки — с другой (стр. 73). Ошибочно считая уйгурский и узбекский кыпчакскими языками, он на основе «индекса общих слов» делает поспешный априорный вывод о лексических связях их с языками огузскими, т. е. с турецким и азербайджанским и т. д. (стр. 73), хотя совершенно очевидно, что как по фонетике и грамматике, так и по лексике упомянутые языки четко разграничиваются на три совершенно различные группы: кыпчакскую (татарский, башкирский, ногайский, кумыкский, балкарский и др.); огузскую (турецкий, азербайджанский, гагаузский, туркменский) и карлукскую (узбекский и уйгурский). Заключение Б. А. Серебренникова о значительном слое общей лексики в языках татарском, узбекском, уйгурском, турецком и азербайджанском, видимо, основано на том, что старые литературные языки этих народов действительно были близки между собой благодаря огромному проценту (достигающему 50—60%) общих арабских и персидских заимствованных слов, но такого рода «индекс общих слов» не может быть использован в качестве критерия, устанавливающего генетическую общность языков.

Поспешными и в значительной мере априорными являются выводы Б. А. Серебренникова также и в отношении III и IV групп тюркских языков его классификации «по индексу общих слов». Киргизский и казахский языки, действительно имеющие некоторый общий лексический слой, что объясняется соседством этих народов, чрезвычайно различны по лексике, относящейся к деталям быта и хозяйства, которая в большей степени связывает киргизский с языками алтайским и уйгурским, а казах-

ский — с языками каракалпакским и ногайским. Что же касается IV группы классификации Б. А. Серебренникова, то эта группа скорее напоминает рубрику «и прочие языки», так как тувинский, хакасский, якутский, с одной стороны, и чувашский,— с другой, представляют собой, конечно, совершенно различные языки и «по индексу общих слов».

Смущают читателя и некоторые фактические погрешности в статье Б. А. Серебренникова. Например, только поспешностью автора можно объяснить то, что классификация И. Бенцинга приписывается не только И. Бенцингу, но и К. Г. Менгесу (стр. 63), в то время как классификация К. Г. Менгеса является совершенно другой, значительно отличающейся от той, которая ему приписывается Б. А. Серебренниковым. Никто из тюркологов не относит уйгурский и узбекский языки к кыпчакской группе языков, как это утверждает автор той же статьи (стр. 63), если не считать нескольких кыпчакских диалектов узбекского языка, который, как известно, имеет сложную диалектную структуру и в состав диалектов которого входят диалекты и с карлукской (как главной), и с огузской, и с кыпчакской основой.

Таким образом, и с исторической, и с лингвистической точек зрения как критическая часть статьи Б. А. Серебренникова, так и новая классификационная его схема содержат много погрешностей.

*

Подводя итоги последним исследованиям, касающимся классификации тюркских языков, следует отметить определенный прогресс как в отношении уточнения состава языков отдельных групп, так и в отношении членения групп на подгруппы. Новейшие исследования показали также продуктивность генетических принципов классификации, которые естественно сочетаются с использованием лингвистических признаков, поскольку близкие языки имеют и больше общих черт, чем языки, связанные более отдаленным родством. Различия, возникшие у близкородственных языков в процессе их дифференциации, в современных классификациях объясняются главным образом тремя основными факторами: а) внутренними законами развития каждого конкретного языка, б) влиянием на развитие отдельных языков соответствующих субстратов и в) воздействием соседних неблизкородственных или неродственных языков, которые образуют вместе с данным конкретным языком территориальный языковой союз с некоторыми общими чертами, главным образом в области лексики и фонетики и меньше — в области морфологии и синтаксиса.

Так, для некоторых группировок тюркских языков характерны некоторые общие черты, возникшие не в силу генетической близости этих языков, а в результате длительных контактов их носителей. В качестве примера могут служить тюркские языки Поволжья (татарский и башкирский, с одной стороны, и дальний по родству — чувашский язык), тюркские языки Южной Сибири (алтайский, шорский, хакасский, тувинский, входящие в разные классификационные группы), тюркские языки Средней Азии и Казахстана (узбекский, уйгурский, туркменский, казахский, каракалпакский, киргизский), тюркские языки Кавказа (карачаево-балкарский, ногайский, кумыкский) и другие языки.

Дальнейшие пути уточнения существующих классификаций тюркских языков должны идти в плане разработки проблем сравнительно-исторической грамматики, лексикологии и фонологии тюркских языков, а также проблем языковых субстратов и языковых союзов. Наряду с этим исторические, историко-этнографические и антропологические исследования также должны оказать существенную помощь в установлении полной и истинной картины генезиса тюркских народов и их языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

М. В. ПАНОВ

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

Любое буквенное письмо[1] может быть построено на одном из трех принципов: фонетическом, фонематическом или традиционном. Фонетические написания передают звуковой облик слова; конечно, только с известной точностью. При фонетической орфографии, проведенной последовательно, невозможна передача одного и того же звукового типа разными буквами. Напротив, фонематическое написание принципиально допускает такую возможность. Оно требует передачи звукового строя слова, очищенного от всех позиционных взаимодействий между звуками. Все позиционные мены устраняются путем сведения каждой звуковой парадигмы[2] к ее основной разновидности, выступающей в сильной позиции.

Традиционный принцип внутренне парадоксален: он заключается в том, что использование букв не обусловлено живым строем языка, живым звуковым или фонемным составом слов[3]. Если этот принцип проводится последовательно, то буквенное письмо превращается в иероглифическое. Поэтому в буквенном письме традиционный принцип может применяться только тогда, когда он непоследователен. Например, английские написания *through* [θru:], *plough* [plau], *dough* [dou], *thorough* ['θʌrə], *tough* [tʌf], *cough* [kɔf], *hiccough* ['hikʌp], *hough* [hɔk] традиционны: одинаковость буквосочетания *ough* здесь не обусловлена, не оправдана звуковым или фонемным строем передаваемых слов, и совершенно произвольно (с синхронной точки зрения) фонематически различное передается одинаково. Но эта произвольность ограничена. Так, звукосочетание [ou] передается тем же буквосочетанием и в слове *thought*; звукосочетание [au] — в словах *sough* и *slough*; следовательно, связь между буквосочетанием и звуковым сегментом не вполне произвольна.

Фонетическая орфография в принципе может быть строго последовательной; принято считать, что санскритское или старославянское письмо были образцами именно такой строгой фонетичности. Проверить это, однако, трудно; а среди фонетических письменностей, обслуживающих живые языки, вряд ли можно найти последовательные. Близко к идеалу (фонетическому!) сербское письмо; и поэтому именно оно показывает, что непоследовательность фонетической орфографии — не простая случайность, которую легко преодолеть при очередной реформе. Сербское

[1] Буквенное письмо противополагается иероглифическому. Иероглифы соотнесены со знаковыми единицами языка, буквы — с фигурами (в том значении, которое этому термину придает Л. Ельмслев).

[2] Под парадигмой подразумевается ряд единиц, позиционно взаимоисключенных.

[3] Все принципы, в том числе и традиционный, определены на основании строго синхронных соотношений между письмом и звуковой стороной языка; поэтому замечание А. Н. Гвоздева о том, что введение этого принципа противоречит синхронному анализу, основано на недоразумении (см. А. Н. Гвоздев, Об основах русского правописания, М., 1960, стр. 47).

письмо передает позиционные чередования: *сладак — слатка*, *учити — уџбеник*, *створити — здружити*, *гост — гозба*, *врстан — врсна*, *гроздак — гроска* и т. д. Однако явления äussere Sandhi не передаются: *кодкуће* и т. д., хотя фонетическая орфография требовала бы *кот куће* и т. д. Не обозначаются некоторые фонетические чередования, преодолевающие границу морфем: *градски*, *господство* (хотя *бекство*, *српски*, *бански*).

Огромное большинство орфограмм позволяет считать украинскую орфографию фонетической [4]. Ср., например, написания: *щасливий — щастя*, *жалісливість — жалість*, *вісник — вість*, *чесність — честь*, *поїзний — поїзд* и т. д. Однако и она не последовательна и не передает фонетические мены перед диэремой: *без шуму* [ж+ш], *з жалю* [ж+ж], *вшити* [ж+ш], *у книжці* [з'+ц'], *на річці* [ц'+ц'], *б'ешся* [с'+с'], *не мажся* [з'+с'], *не морочся* [ц'+с'].

Непоследовательности фонетических орфографий оказываются весьма последовательными и даже систематичными. Почти во всех фонетических орфограммах не отмечаются позиционные изменения на стыках ясно отделяемых смысловых единиц. Причина ясна: эти изменения обычно остаются за порогом сознания говорящих; нужна слишком специальная фонетическая выучка, чтобы их услышать [5]. С другой стороны, в этом случае совершенно очевидна избыточность таких фонетических обозначений. Например, если бы в русском письме был последовательно проведен фонетический принцип, то появились бы написания: *с рысью*, *сь течью*, *з болью*, *зь дестью*, *ш шырью*, *ж жызнью*, *щ щелью*. Чрезмерный «натурализм» этих написаний очевиден. Следовательно, две причины мешают фонетической орфографии стать последовательной: во-первых, позиционные чередования только очень неполно осознаются говорящими и, во-вторых, их письменная регистрация для общения избыточна, что особенно ясно при явлениях äussere Sandhi, но существует и в других случаях [6].

Только фонематический принцип письма по существу своему должен быть строго последовательным; он требует последовательности во всех звеньях орфографической системы. В настоящее время фонематический принцип является основным в нашем письме [7]; он объединяет правила разного строения: а) после таких-то букв пишутся (или не пишутся) такие-то буквы. Например, после *ж*, *ч*, *ш*, *щ* пишутся *а*, *у*, *и*, а не *я*, *ю*, *ы*. Это фонематически обосновано: перечисленные согласные не имеют фонематической мягкости или твердости, и обозначать ее с помощью маркированной гласной буквы нет оснований; используется немаркирован-

---

[4] Фонетическая орфография (сербского или украинского типа), с точки зрения, например, пражской фонологической школы является фонематической (при условии, что знаки архифонем «омонимны» знакам немаркированных членов привативной оппозиции). Поэтому, может быть, было бы удобнее применять иной термин для ее обозначения; пока его нет.

[5] Санскрит последовательно (насколько можно судить) передает явления äussere Sandhi. Это, очевидно, отражает социальный характер письма: оно было достоянием ограниченной социальной группы; поэтому оказалось возможным резко избыточную информацию на письме обеспечить «избыточным» трудом профессионалов. В этом отношении последовательный фонетизм сродни иероглифизму. Расширение демократической основы письма всегда связано с устранением некоторых избыточных орфографических норм.

[6] Фонетическая орфография оправдывает себя в языках, где нейтрализация фонем — достаточно редкое явление в речевом потоке; но и в них возникают трудности в связи с орфоэпическими колебаниями, диалектным дроблением и (в еще большей степени) в результате влияния на письмо фонематического слуха пишущих (см. А. Белић, Правопис српскохрватског књижевног језика, Београд, 1950, стр. 44—45, 47, 63).

[7] Примеры стихийной замены фонетических написаний фонематическими см. в кн.: «Русский язык и советское общество. Проспект», Алма-Ата, 1962, стр. 94.

ная[8]; б) чтобы написать букву в составе такого-то слова, надо сравнить это слово с другим, имеющим в составе ту же морфему. Смысл этой операции в том, чтобы проверить, какой фонеме (или какому «фонемному ряду») принадлежит данный звук; это важно при нейтрализации фонем. Поэтому безударные гласные проверяются ударными и т. д. Эти два типа правил говорят о фонематичности нашей графики (тип а) и нашей орфографии (тип б); они господствуют в современном русском орфографическом своде.

Однако беда русской орфографии в том, что она еще и сейчас фонематически непоследовательна: в ней сосуществуют три принципа, капризно ограничивающие и оттесняющие друг друга. Именно эта непоследовательность и создает трудности в пользовании нашим письмом. Последовательное проведение фонематического принципа в русской орфографии потребует следующих изменений[9]:

1. После *ц* писать всегда *и* (а не *ы*): *циган, ципленок, наципочках, ццц; лисицин, сестрицин, длиннолиций; птици, огурци.*

2. После *ч, ш, щ, ж* (на конце слова или перед другой согласной буквой) не пишется *ь*: *рож, ноч, несеш(ся), знаеш(ся); маж(ся), спряч(ся); стрич(ся); сплош, вскач, проч, настеж; виш, биш* (ср. *ночка, дочка, туч, горяч...*).

3. Для обозначения ⟨о⟩ после шипящих под ударением используется буква *о*, без ударения — *е*: *лжош, лжот, печош, печот; перекочовывать, затушовывать, корчовка, затушовывание; напряжон, напряжонность, напряжонно, отрешонный, отрешонность, отрешонно, жжоный, учоный; дирижор, стажор, ухажор; жорнов, жолтый, чолн, щоки, шол, шолк; о чом, нипочом...* (ср.: *плечо, плечом, межой, чужой; крючок, медвежонок, книжонка, ежовый, смешон, свежо, княжон; обжора, крыжовник, жом...*).

4. Для обозначения йота (после согласных перед гласными) использовать: а) в сложных словах — дефис: *ин-язовцы, ком-ячейка, пан-Европа, транс-европейский*; в остальных случаях — букву *ь*: *подьезд, обьем, изьявить, дизьюнкция, иньекция, обьект, субьект, адьютант, отьявленный.*

5. Приставки *без, воз, вз, из, низ, раз, роз, чрез* всегда писать с буквой *з*: *разписка, изпугаться, взкричать...*

6. Беглый гласный (после мягких согласных) во всех формах словоизменения передавать буквой *е*: *достоен, шалуней, ущелей...*

7. Суффикс прилагательных ⟨-ан-⟩ и ⟨-анн-⟩ изображать буквами *ан, ян*. Этот суффикс пишется во всех прилагательных, которые имеют значение 'сделанный из того-то, что указано производящей основой пригательного' (прямое и связанное с ним переносное). Таким образом: *оловяный, стекляный, деревяный; масляный* (*масляный ком* = 'из масла'); *клюквяный, соломяный*; но: *ветренный, заветренный.*

8. Страдательные причастия, даже если они позиционно преобразованы в прилагательные, писать с *-нн-* в суффиксе: *вязанный, крашенный, мешанный, маслянный, печонный...*

9. Глаголы *видить, зависить, обидить* (sic!) относятся, естественно, ко 2-му спряжению. Глаголы *вертеть, смотреть, терпеть, гнать, ды-*

---

[8] Ср. И. С. Ильинская, В. Н. Сидоров, Современное русское правописание, «Уч. зап. [МГПИ им. В. П. Потемкина]», XXII. Кафедра русск. языка, 2, 1953, стр. 19.

[9] Материал, изложенный дальше, основан на предложениях сектора современного литературного языка ИРЯ АН СССР; использованы также некоторые замечания, высказанные при их обсуждении. Порядок следования предложений: 1) правила, касающиеся графики (1—4); 2) правила, касающиеся орфографии (5—12).

шать, держать, слышать рекомендуется писать по 1-му спряжению, но допускается написание и по 2-му.

10. Суффикс *-ану-* пишется всегда с *а*: *колануть, полосануть* (но: *захолонуть*, где нет этого суффикса).

11. В корнях отмечают только непозиционные чередования гласных (все чисто буквенные чередования устраняются): *рос-, рост-*: *росла, растение, возрост, отрость*; *гар-*: *загарелый, нагареть* (ср.: *изгарь, выгарки*); *плав-, плыв-*: *плавец, плавчиха* (но: *плывун, плывуны*) и т. д.

В глагольных корнях (и радиксоидах, т. е. «корнях», сращенных с приставкой) *-пер-, -бер-, -мер-, -тер-, -дер-* писать только *е*: *уперлись — упереться, смерть — умерать, протер — протерать*; также: *сжечь — сжегать, расстелят — расстелать* и т. д. В глаголах с радиксоидом *-лож-* (с чередованием *г/ж* в разных формах) писать *о*: *предложить — предлогать, предположенный — предполагать* и т. д. Так же: *коснуться — касаться* и пр.

12. В заимствованных словах не писать удвоенных согласных, если они не передают двойных фонем в составе слова: *субота, процес, паралельный, клас, оперета, програма, колона* и т. д. (но: *гамма, ванна, гамм, ванн*); *програмка, колонка, класный...*

В результате последовательного применения фонематического принципа во многих случаях становится более полным графическое тождество морфем. Например, в написаниях *разберет — разбирает, запер — запирает, замер — замирает, обберу — обдирает, растер — растирает* и т. д. чередование букв *е — и* не отражает никаких фактов живого литературного языка; фонематически эти корни (и радиксоиды) надо обозначать так: ⟨б'ор⟩, ⟨п'ор⟩, ⟨м'ор⟩, ⟨д'ор⟩, ⟨т'ор⟩. В глагольных образованиях встречается только ⟨о⟩ в сильной позиции; то же и в именных отглагольных образованиях (*растирка, протирка, обдирка* — изолированные факты, не влияющие на оценку фонематического состава корня в глагольной парадигме). Введение единообразных написаний этих корней в виде *-бер-, -пер-, -мер-, -дер-, -тер-* позволит увеличить графическое тождество внутри каждой морфемы и избавиться от ряда правил, громоздких и бессмысленных (поскольку они не отражают ничего реально языкового).

Фонематический принцип почти всегда ведет к тому, что морфема передается в единообразном графическом облике; поэтому часто фонематический принцип называют морфологическим. Это отождествление оправдывает себя в учебниках, научно-популярной литературе; однако отождествление этих двух принципов в научных работах приводит к тяжелым ошибкам. От таких ошибок не свободны труды, подготовившие орфографический свод 1956 г. Например, было принято правило о написании *о* или *ё* после шипящих (для ударных слогов): если [о] не чередуется с *е*, то надо писать *о*; если же чередуется, то *ё* (*е*). Правило это во всех отношениях неудачно. Оно нефонематично: одна и та же фонема ⟨о⟩ в одной и той же позиции передается двумя буквами: *о* и *ё* (*е*). Оно требует чтобы гласная буква в сильной позиции (т. е. передающая ударный гласный) проверялась безударными положениями. Это противоречит всем правописным привычкам, существующим в фонематической орфографии, и поэтому трудно для усвоения. Более того: *о* (после шипящих, в ударном слоге) можно писать только после того, как пишущий перебрал все слова с данным корнем и убедился, что чередования [о] с *е* нет (да, именно так: правило требует установить чередование звука с буквой; ср. *разжевать* — и поэтому *разжевывать*, но *сжимать* и поэтому *жом*). Разумеется, уверенности в том, что учтены все однокоренные слова, у пишущего в процессе письма не может возникнуть, если он не пользуется словарем. Допускается, далее, проверка одной гласной в сильном положении

с помощью другой гласной тоже в сильном положении: *поджегший*, так как *сжечь*. Наконец, написание *о* или *е* в корнях противоречит написанию *о* или *е* в той же позиции в суффиксах.

Как могло появиться такое многосторонне неудачное правило? Это — плата за теоретическую упрощенность, за незаконное отождествление фонематического принципа с морфологическим. Морфологический принцип формулируется обычно так: одну и ту же морфему надо писать всегда одинаково. В словах *жена*, *желтеть*, *дешеветь*, *шептать* неизбежно написание *же*, *ше* (буквенные знаки *жо*, *шо* для безударных слогов требуют чтения [жо, шо] или [жа, ша]; ср. *жокей*, *шоссе* и пр.). Следовательно, чтобы сохранить единый буквенный облик слова, надо писать *жёны*, *жёлтый*, *дешёвый*, *шёпот*. На самом деле наше письмо вовсе не стремится к неизменной передаче облика морфемы; оно не передает только собственно позиционные изменения (чередования) в морфеме. При современных соотношениях в русском письме (т. е. когда за *жо*, *шо* для безударных слогов закреплено чтение не [*жы*^{э}], [*шы*^{э}], а иное) наиболее приемлемым с фонематической точки зрения является предложенное выше решение (п. 3). Естественно, что оно и практически наиболее целесообразно [10].

Фонематические написания, усиливая единообразие наших письменных навыков и привычек, всегда оказываются практически целесообразными. Однако в некоторых случаях вопрос очень осложняется синонимическими и омонимическими взаимоотношениями между морфемами. Существуют написания: *кожаный*, *вощаной*, *глиняный*, *серебряный*, *оловянный*, *стеклянный*, *деревянный*. Следовательно, есть два графических суффикса: с одним и с двумя *н* после *а* (*я*); значение их тождественно ('сделанный из того, что названо корнем'). Несомненно, что эти два написания передают два разных по строению суффикса. Двойные фонемы находятся в сильном положении перед и после ударного слога; тогда в *оловянный* для ⟨нн⟩ сильная позиция и суффикс—⟨-анн-⟩;в *жестяной*, *костяной*,*вощаной*— тоже сильная позиция для ⟨н⟩ и суффикс—⟨-ан-⟩. Однако два суффикса, тождественные по значению и очень близкие по фонемному составу, влияют друг на друга, создают вариативность в произношении каждого из них. Поэтому целесообразно ввести одно написание для обоих суффиксов и писать (в прилагательных, основное значение которых 'сделанный из'): *кожаный*, *глиняный*, *серебряный*, *вощаной*, *оловяный*, *стекляный*, *соломяный*. Таким образом, здесь в одном написании объединяются две разные фонемные последовательности; необходимость их объединения вытекает именно из их фонемного строя.

Так же вопрос решается и о правописании полных страдательных причастий, но в сторону двойных *н* (независимо от того, «перешли» они в прилагательные или нет); ср. *данный*, *определенный*, *огорченный* — с ⟨нн⟩, но в отдельных словах: *печеный*, *вареный* — с ⟨н⟩. Орфографически это можно обобщить в написаниях с двумя *н* [11].

---

[10] Словесное ударение — фонематическая единица; в строго последовательном фонематическом письме оно должно быть обозначено (как и было, например, в русских изданиях первой половины XVIII в.). Поэтому написания *жёрновá*, *жёнá* последовательно фонематичны. Затем для знака *ё* избирается замена — знак *е*; эта замена имеет чисто внешний характер (вместо одного начертания —другое); следовательно, написания *жернова*, *жена* фонематичны. Однако здесь введенное нами *е* «совпало» с *е—ĕ*, обозначающими мягкость предшествующего согласного, а это уже можно рассматривать как нарушение фонематического принципа (шипящие не обладают фонематической мягкостью). Таким образом, предлагаемые написания бесспорно фонематичны только для ударных позиций.

[11] См. Л. П. Калакуцкая, Орфография страдательных причастий прошедшего времени в связи с их адъективацией, «Изв. Латв. АН, ОЛЯ», 1963, 1.

Фонематический принцип лежит в основе всех предложенных написаний. Однако во всех ли случаях целесообразно нефонематическое написание заменять фонематическим? Такая замена всегда будет облегчением для пишущего, вернее — для обучающегося письму. Но усовершенствование письма, облегчая обучение в школе, имеет и ряд других задач, которые надо учесть. В большинстве случаев эти задачи также решаются введением фонематических написаний. Многие научные термины являются интернациональными; поэтому правописание их в языках народов Советского Союза желательно максимально сблизить. Предложение писать их фонематически (*без удвоения согласных букв, когда в строении* слова нет двойных фонем) отвечает этой цели. В украинской и белорусской орфографии не пишутся сдвоенные буквы, если в составе слова нет удвоения фонем (укр. *абревіатура*, *атестація*, *бабіт*, *геморой*, *катар*, *лема*, *хлорофил* и т. д.). Такое написание заимствованных слов сближает это письмо также и с письмом многих тюркских народов.

Введение нового правописания не должно омертвить огромные книжные богатства, накопленные за десятки лет. Если орфографическое нововведение дифференцирует употребление того или иного знака, усиливает *его различительную функцию* (*так, что энтропия этого знака возрастает*), то чтение текстов затрудняется. Напротив, уменьшение энтропии данного знака, падение его различительной силы не препятствует чтению старых (до реформы изданных) текстов. Например, в XVIII в. не было буквы *э*; ее функцию выполняла буква *е*. Написания *ех*, *етот*, *ети* читались, как современные *эх*, *этот*, *эти*. После введения буквы *э* функция буквы *е* изменилась, возникло новое противопоставление *э* — *е*; различительная сила буквы *е* возросла. Чтение старых написаний *ех*, *ети* и пр. теперь представляет определенную трудность; чтобы орфоэпически правильно интерпретировать тексты, нужна особая выучка. Напротив, замена по реформе 1918 г. букв *ѣ* и *е* одной буквой *е* не мешает восприятию старых текстов. Важно подчеркнуть, что все предлагаемые здесь новшества уменьшают различительную силу буквенных знаков и поэтому не будут препятствием при чтении старых текстов. Правда, нужны дополнительные исследования, учитывающие всю сложность изменяемых взаимоотношений между знаками письма, но общий вывод и сейчас уже очевиден.

Наконец, при оценке орфографических новшеств надо учитывать и интересы полиграфии. Если нововведения из-за увеличения числа двухбуквенных написаний вместо однобуквенных, числа раздельных написаний вместо слитных заметно удлинят тексты, то это надо признать серьезным минусом предлагаемых изменений.

Все названные соображения не должны, однако, привести к беспорядочному использованию то одних, то других критериев. Нужен алгоритм, показывающий порядок включения отдельных критериев, узаконивающих новшество.

Он может иметь следующую форму:

I. Выдвигаются все возможные для данной орфографической системы фонематические предложения. К ним относятся: а) предложения о замене нефонематических написаний фонематическими; б) предложения о замене одних фонематических обозначений другими, тоже фонематическими, но допускающими более широкое обобщение по каким-либо правилам [12].

Выдвинутые предложения могут быть приняты или не приняты в соответствии со следующими пунктами.

II. Если предлагаемое изменение касается малочастотных орфограмм (число которых в потоке речи не превышает определенного эксперимен-

[12] См. в перечне предложений по орфографии п. 9.

тально установленного статистического порога), то оно принимается[13]. Если же это условие не выполнено, то см. следующие пункты.

III. Если по новому правилу «различительная сила» знаков (в орфограммах, подчиненных этому правилу) уменьшается, то новшество принимается. Уменьшение «различительной силы» знаков оценивается путем сравнения энтропии, которую они несли до и несут после принятия правила.

IV. Если условия, указанные в пп. I—III, не выполняются, то орфографическое изменение не принимается.

Орфографические предложения, перечисленные выше, сделаны с учетом (пока что предварительным) этих требований. Именно поэтому в перечне нет, например, предложения о замене написания *его*, *ого* во флексиях написанием *ово*, *ево*; об изменении флексии предложного и дательного падежей у слов типа *об армии* и предложного у слов типа *о пролетарии*, *о здании* (фонематически эти формы можно было бы писать с буквой *е* в конце) и нек. др. Возможно, однако, что после экспериментального установления порога частотности измененных орфограмм, при котором чтение старых текстов не затруднено, окажется допустимым принять и эти предложения.

Предлагаемый алгоритм имеет предварительный характер; многие данные, которые надо учитывать в орфографии, в нем не нашли отражения. Важно все же, чтобы была строгая очередность в использовании критериев принятия или непринятия орфографических нововведений, а не хаотическое и бессистемное их применение.

*

Вопрос о слитном и раздельном написании тоже не лежит вне компетенции фонематического принципа. В языке существуют особые фонемные разграничительные единицы (диэремы); одни из них свидетельствуют о границах между морфемами, другие — о границах между словами[14]. Однако диэремы того и другого типа часто нейтрализуются, т. е. показатели границ между словами выражаются так же, как и показатели границ между морфемами. В случаях нейтрализации фонематическая орфография требует сохранения того обозначения фонемной единицы, которое налицо в сильной, различительной позиции. Например, произносится: *без дел*, *через невод* — с твердым [з]; но *бездельник*, *разнежиться* — с мягким [з']. Фонетические закономерности на морфемных границах внутри слова и на межсловесных границах различны; два типа диэрем не совпадают — они находятся в сильной позиции. Напротив, если на стыке находится гласный + гласный (*наохался*, *наорал* — *на озере*, *на окне*), диэремы обоих видов не отличаются друг от друга и не отличаются от отсутствия диэремы, т. е. от положения внутри морфемы. Но фонематическая орфография требует, чтобы единицы, различающиеся в сильном положении, во всех случаях (и при их нейтрализации) обозначались

[13] Может быть, следует установить два таких порога, для первых двух (или трех) букв слова более высокий, чем для остальных. Изменение начала слова приводит к значительным затруднениям в пользовании прежними словарями и справочниками (с алфавитным расположением материала). Именно поэтому не выдвигается предложение вместо написания приставки *раз — рас* всегда писать *роз* (с буквой *о*, как следовало бы по фонематическому признаку).

[14] Подробное (хотя во многом и неточное) описание их см. в книге А. Н. Гвоздева «О фонологических средствах русского языка», М.—Л., 1949, стр. 84—97.

[15] См. Р. И. Аванесов, Русское литературное произношение, 2-е изд., М, 1954, стр. 85. Здесь описан один из типов литературного произношения.

по-разному; т. е. в данном случае, чтобы предлоги писались отдельно, приставки — вместе со словом. (Предлоги рассматриваются как отрезки перед межсловной диэремой, приставки — как отрезки перед межморфемной диэремой.)

Трудности, связанные с применением этого принципа, бывают двух типов. Диэрема — суперсегментная единица. Суперсегментные же единицы очень часто не передаются на письме, если даже оно построено на фонематическом принципе,— и это не мешает пользоваться им. Напротив, это делает письмо экономным и простым. В русском письме не обозначены такие суперсегменты: ударение; межморфемная диэрема (она обозначается слитным написанием, т. е. так же, как отсутствие диэремы); ряд интонационных единиц. Язык обладает очень высокой избыточностью информации. На письме, которое предполагает возможность замедленного, повторного восприятия, многие показатели выгодно снять. Суперсегментные единицы часто нейтрализуются; иногда сильные позиции (т. е. случаи отсутствия нейтрализации) оказываются попросту редкими; это относится в первую очередь к диэреме. Поэтому из двух возможностей: опустить некоторые сегментные показатели или некоторые суперсегментные — при письменной передаче речи избирается вторая. Можно принять следующее правило при построении орфографии: суперсегментные показатели могут не передаваться, если они страхуются другими (нефонематическими) ярусами языка.

Еще одна трудность возникает за пределами фонематической проблематики, хотя и она вызывается необходимостью различать фонематические единицы (диэремы) разного типа, находящиеся в слабой позиции. Зачастую трудно разграничить приставочные и предложные единицы. Исходить надо из понятия слова, противопоставляя его понятию сочетания слов.

Следует рассмотреть такие случаи: правописание наречий; слитное и раздельное написание частицы *не*; орфограммы сложных прилагательных; передача на письме числительного *пол* (*полтетради*, *пол-Москвы*), частиц, некоторых «аббревиатур».

Слова, соединяясь друг с другом, образуют единицу (словосочетание), значение которой целиком определяется значением ее частей, т. е. слов. Напротив, значение слова лишь частично определяется составляющими морфемами, оно обычно уже, чем совокупное значение морфем[16]. Этот критерий достаточен, чтобы разграничить сочетание предлога с существительным (т. е. сочетание слов: служебного и полнозначного) и соединение приставки и корня (т. е. сочетание морфем внутри слова). Его следует применить при решении вопроса о правописании наречий. Должны писаться слитно, как сочетания приставки с корнем, такие единицы: *сбоку*, *подчас*, *вперед*, *встарь*, *наоборот*, *налицо*, *насилу*, *нараспев* (как предлагается действующими правилами орфографии); *вобмен*, *вобрез*, *вобнимку*, *вотместку*, *вобтяжку*, *вобхват*, *водиночку*, *вохапку*, *вупор*, *подуклон*, *насовесть*, (*не*) *сруки*, *внасмешку*, (*не*) *вдобру*, (*не*) *вспеху*, (*лежит*) *вголовах*, *вногах*, (*стоит*) *начасах* и т. д. Здесь не стандартизовано (сужено, расширено, сдвинуто) значение приставки или корня. Например, в сочетаниях *сбоку*, *вбок*, *набок*, *вперед*, *наоборот* значение целого не выводится из значения частей: *с*+*боку*, *в* + *бок*, *на*+ *бок*, *в* + *перед*, *на* + *оборот*. В сочетаниях *перед боком*, *на левый бок*, *ударил прямо в бок*, *за этим боком шкафа* и т. д. единица *бок* имеет значение 'одна из сторон туловища, предмета'. Значение целого (т. е. словосочетания) полностью выводится

[16] Это определение исходит из фортунатовской теории слова. Более подробное освещение этого вопроса см. в кн.: «Русский язык и советское общество», стр. 54—56.

из значения составляющих единиц; следовательно, эти составляющие — слова, полнозначные или служебные. Именно потому, что значение целого полностью вытекает из составляющих, ряд таких образований не замкнут. Напротив, ряд *сбоку*, *вбок*, *набок* замкнут: в этих единицах значение части *бок* сдвинуто (не равно тому, которое встречается в бесконечном ряду свободных сочетаний). Поэтому данные единицы — слова, а не словосочетания.

В других случаях сдвинуто значение приставки (по сравнению с соотносительным предложным значением); ср. *вброд*, *вослед*, *насилу*, *поутру*. Нет незамкнутого ряда: *перейти в мост*, *в тропку* и т. д.; поэтому значение *вброд* не выводимо непосредственно из составляющих частей. Иногда изменено значение падежной флексии; поэтому она превращается в суффикс наречия: *всердцах*, *нарысях*. Наконец, могут быть случаи, когда сдвинуто значение обеих сочетающихся частей (корневой и аффиксальной): *разбить наголову*; *знать назубок* и т. д. Членимость на морфемы многих таких образований утрачена. Ясно, что все это слова, а не сочетания слов.

Если часть, следующая после приставки, не употребляется самостоятельно (без предлога) в качестве существительного, то это наречие: *накорточки*, *накарачки*, *начетвереньки*, *начетвереньках*, *подспуд*, *подспудом*; *подмышкой*, *подмышками*. В своде правил орфографии говорится: «Следует писать раздельно сочетания предлогов с существительными: ...если существительное в определенном (одном) значении сохранило хотя бы некоторые падежные формы в сочетании с предлогами»[17]; далее идут примеры, только что приведенные здесь (*на корточки* и т. д.). Это объяснение основано на недоразумении: следуя ему, надо писать раздельно наречия *вбок*, *набок*, *сбоку* и многие другие. Не имеет смысла и замечание, что «существительное» в таких сочетаниях должно иметь одно и то же значение. В наречиях *под спудом*, *под спуд* отрезок *спуд* ничего не значит именно потому, что не встречается в свободных сочетаниях (а если бы он встречался в свободных сочетаниях: *недалеко от соседнего спуда*, *около спуда*, *сзади спуда*, то встречался бы и отдельно, беспредложно). *Под* в наречии *под спудом* не только не предлог, но даже и не приставка. Какой бы критерий слова ни взять, нельзя признать в обрубке *спуд* отдельное существительное.

Итак, слитно пишутся несвободные конструкции, в которых нельзя выделить часть, самостоятельно употребляющуюся как существительное и притом в том же значении, что и послеприставочный комплекс в составе данной конструкции. Эти конструкции надо признать целостными словами-наречиями. По этому правилу следует писать слитно все наречные конструкции, указанные сводом правил орфографии в разделе: «Написания слитные и через дефис (черточку)...Наречия»[18]. Изменения коснутся следующих групп: *вобрез*, *вобнимку*, *вотместку*, *вобтяжку*, *вобхват*, *накорточки*, *накарачках*, (*сделано*) *насовесть*, (*нечист*) *наруку*, (*не*) *сруки*, *внасмешку*, *подмышками*, *подмышки*, *подмышкой*; *безоглядки*, *безпросыпу*, (*нужно*) *дозарезу*, *доотвалу*, *набегу*, *налету*, (*видно*) *наглаз*, *насмех*, *сходу*, (*не*) *вмеру*, (*не*) *подсилу*, (*не*) *вспеху*; (*лежит*) *вголовах*, (*стоит*) *начасах*; *порусски*, *полатыни*, *посоловьиному*, *поиному*, *повидимому*; *нагора*[19].

Раздел о слитных и раздельных написаниях наречий в своде 1956 г. построен на пестрой и разноречивой разноголосице правил. Не-

[17] «Правила русской орфографии и пунктуации». М., Учпедгиз, 1956, стр. 45.
[18] Там же, стр. 43—47.
[19] Вопрос о замене раздельных написаний слитными (для наречных конструкций) актуален и для польской орфографии (см. M. Jurkowski, Uwagi o ortografii i ortofonii polskiej, «Polonistyka», XII, 3, 1959, стр. 41).

которые из них совершенно искусственны. Предлагаемый принцип, основанный на существенных, определяющих признаках слова, внесет единообразие и целостность в орфографию наречий. Однако есть особенность, которая выделяет группу наречных конструкций. Многие из наречных сочетаний стоят на грани между словом (наречием) и сочетанием слов (предлога с существительным). В сочетаниях *без просыпу*, *без устали* трудно, например, определить, используются ли части *просып*, *усталь* как отдельные существительные. Можно подобрать случаи такого использования (*Ни одного просыпа за всю ночь*; *От этой работы усталь адская*); но все они окажутся окказиональными образованиями, а не устойчивыми, полноправными единицами языка.

Часто трудно решить, насколько сдвинуто, несвободно значение составляющих частей такого образования; ср. *без устали*: равно ли оно свободному сочетанию *без усталости*? Можно подобрать тексты, где значение явно сдвинуто: *Он, едва держась на ногах, продолжал без устали кидать уголь в топку* (здесь *без устали* = 'с прежним, с большим напряжением'); но сами эти сдвиги могут оказаться окказиональными. Письмо не может решить, слова это или сочетания слов, так как в самом языке они стоят на границе между тем и этим. Следовательно, рекомендуя писать их слитно, надо допустить возможность их раздельного написания. Норма здесь будет двухступенчатой: она включит рекомендуемое и допустимое. В объяснениях правил 1956 г. говорилось, например, что наречия типа *до зарезу*, *в тупик* решено писать отдельно, чтобы подновить их метафоричность. Затея напрасная: орфографическими средствами нельзя подновить семантику слова, когда она в языке закономерно изменилась. Однако если возможен контекст, требующий этого подновления, то в нем, очевидно, было бы допустимым и раздельное написание[20]. Боязнь вариантных написаний отчасти имеет свои основания: орфография, состоящая сплошь из вариантных написаний, перестает быть орфографией. Но иногда вариантность необходима, и именно в тех случаях, когда она отражает промежуточные, неустойчивые явления в языке; это прямо относится к наречным конструкциям.

Правописание прилагательных с *не* непоследовательно и построено на ряде перекрещивающихся правил; можно свести их к единству. Возможность противопоставить образования *не умный* и *неумный*, *не жаркий* и *нежаркий*, *не обузданный* и *необузданный* считается большим достоинством русской письменной речи. Эта возможность заставляет отвергнуть предложение унифицировать по одному образцу правописание прилагательных с *не*. Надо проверить, насколько мнение о функциональной целесообразности противопоставления *не умный — неумный* и т.д. основано на реальной оценке фактов языка. Прилагательные с *не* можно разделить на три группы.

1. *Неактуальный*, *небдительный*, *небезгрешный*, *небезосновательный*, *неблагоустроенный*, *небоеспособный*, *небюрократический*, *невежливый*, *невиновный*, *невнимательный*, *невоенный*, *невсхожий*, *неграмотный*, *недоброкачественный*, *нежилой*, *неженственный*, *незамужний*, *незаразный*, *несемейный*... В этой группе осуществляются равенства: *не актуальный* = = *неактуальный*, *не бдительный* = *небдительный*, *не виновный* = *невиновный*, т. е. употребление того и другого выражения безразлично. Здесь дихотомическое членение: прилагательное с *не* и то же прилагательное без *не* исчерпывающим образом делят область проявления обозначаемого качества. Отрицая одно (*не военный*), мы тем самым утверждаем другое, второй член дихотомии (*невоенный*).

[20] Ср. в чешской орфографии возможность многие наречия писать и слитно и раздельно с приставкой.

Предполагается, что конструкция *он не умен* и *он неумен*, *гимнастерка не военная* и *гимнастерка невоенная* соотносятся с разными конструкциями в прошедшем времени: *он не был умен* и *он был неумен* и т. д., которые различны по значению. Отсюда делается вывод о необходимости различать *не умен*(*не умный*) — *неумен* (*неумный*) и в других случаях. Это рассуждение для прилагательных описываемой группы не имеет решающей силы; значения *он был неумен* — *он не был умен* тождественны. (Конечно, внутренняя форма конструкций *он не был умен* — *он был неумен* различна, но нет необходимости это различие воспроизводить на письме.)

2. *Невеселый*, *недобрый*, *нежаркий*, *незамысловатый*, *незатейливый*, *некрасивый*, *неласковый*, *немолодой*, *неспособный*, *неумеренный*, *неудовлетворительный*, *нехитрый*... Здесь прилагательное с *не* и то же прилагательное без этой морфемы не исчерпывают дихотомически всех возможностей проявления данного качества. *Удовлетворительная* и *не удовлетворительная работа* исчерпывают все возможности проявления удовлетворительности; *не удовлетворительная* может быть: отличной, хорошей, неудовлетворительной. Здесь *не удовлетворительное* ≠ *неудовлетворительное*: последнее у́же по значению. *Не добрый взгляд* — это взгляд равнодушный, или злой, или ненавидящий... Прилагательное *недобрый* равно только слову *злой* (может быть, еще с некоторым сужением значения). *Нежаркая погода* — не всякая не жаркая, а только прохладная и т. д. Здесь приставка *не* вносит в основу прилагательных этого типа различные нестандартизованные ограничения; значение целого не выводимо из составляющих частей. Это и означает, что *не* у данных прилагательных — приставка.

Здесь противопоставление *не жаркий* — *нежаркий*, *не добрый* — *недобрый* семантически существенно. Однако орфографически его выявлять нет необходимости: диэремный показатель здесь всегда страхуется верхними ярусами языка. Единицы *не жаркий*, *не добрый* и т. д. выступают только в конструкциях с противопоставлением; эти конструкции и покажут, независимо от орфографии, семантику прилагательного с *не*. Невозможно, например, изолированное предложение *Эта работа не удовлетворительная* (в значении 'хорошая'). Обязательны такие сочетания этой единицы: *вовсе не удовлетворительная* или *нет*, *не удовлетворительная*, или *не удовлетворительная*, *а*... Напротив, отсутствие конструкции противопоставления неизменно влечет за собой слитность *не* с прилагательным. Таким образом, орфографическое противопоставление слитного и раздельного написания не нужно и для прилагательных 2-й группы.

3. *Небывалый*, *невероятный*, *невольный*, *негодный* (*мальчишка*), *не забываемый*... Здесь связь между прилагательным с *не* и без *не* разорвана; они не передают признаки, связанные с одной шкалой. Очевидно, что сочетания *небывалый случай* и *он вовсе не бывалый человек*, *невероятный подвиг* и *не вероятный*, *а неизбежный провал* и т. д. связаны с разными контекстами. Таким образом, во всех трех случаях нет нужды (по разным причинам) орфографическими средствами разграничивать прилагательное со «слитным» и с «раздельным» *не*.

Фонематический принцип требовал бы, чтобы во 2-й группе писались слитно *неудовлетворительная* 'плохая' и раздельно *вовсе не удовлетворительная*: в одном случае налицо приставка, в другом частица, т. е. особое слово, а межсловесная и межморфемная диэремы — разные фонемные единицы. Следовательно, хотя после *не* они нейтрализованы, надо их обозначать разными способами. Диэрема — суперсегментная единица; информация, которую она несет, страхуется контекстом; и в данном случае нет необходимости ее орфографически выявлять. Действительно,

глаголы тоже могут иметь при себе частицу *не* и приставку *не*[21]. Ср.: *Все наши планы на заседании не одобрили* (*не* — приставка; значение глагола фразеологически суживается до пределов 'отвергли') — *Да нет, он не смотрел и не одобрил еще наши планы* (здесь только отрицается одобрение; значение целой единицы *не одобрил* сводится к значению частей; *не* — частица, отдельное слово); ср. также: *Всех своих родственников он не любит*; *Он не позволил ехать на каток* и т. д. (здесь в обоих случаях *не* — приставка).

Правописание не разграничивает два типа глагольных сочетаний с *не*; нет необходимости делать это и для прилагательных.

Итак, предлагается такая последовательность правил: 1) слова, не употребляющиеся без *не*, пишутся с этой морфемой (или морфемоидом) вместе. Если указанное условие не выполняется, то см. дальше; 2) глагольные формы (спрягаемые, инфинитив, деепричастие, причастие), неместоименные прилагательные, неместоименные наречия и предложные сочетания пишутся с *не* отдельно. Так же пишутся местоименные слова, если на *не* отсутствует ударение: *Его считали не тем, кто он есть*; *Материал не такой, какой нам нужен*; *Ты не туда повернул*. Если слова не принадлежат к этим классам, то см. дальше; 3) слова пишутся отдельно от *не*, если они входят в такие обороты: а) «*вовсе* и его синонимы + *не* + *N*»; б) «*не* + *N*» в составе именного сказуемого при нулевой связке, если есть связь с конструкцией «*не* + ненулевая связка + *N*» : *Бык овце не товарищ*; *Это не работник*; *Не дерево, а с листочками*; *Летит, а не птица, везет, а не лошадь*; в) «*если* + *не* + *N* + , *то*...» (и синонимы этого оборота): *Кабы не клин да не мох, никто бы плотнику не помог* (В.И. Даль); г) «*чуть ли* + *не* + *N*», «*едва ли* + *не* + *N*», «*разве* + *не* + *N*», «*это ли* + *не* + *N*», «*как же* + *не* + *N*», «*нет*, + *не* + *N*»; д) оборот с противопоставлением: *Не место красит человека*; *По дороге шел не трактор, а танк*[22]; 4) слова, не учтенные предыдущими правилами, пишутся вместе с *не*. Сюда относятся существительные и все местоименные слова с ударяемыми *не*.

Правило первое предшествует второму — четвертому, потому что оно сильнее их (при столкновении выходит победителем первое; ср.: *ненавидеть, невзлюбить*). Второе и третье равноправны, т. е. не противоречат друг другу. Однако применение второго практически легче, поэтому оно предшествует третьему. Третье сильнее четвертого. При существовании этого четырехступенчатого правила возможно некоторое количество исключений (например, философский термин *не-Я*), но число их может быть сведено к минимуму.

Предлагаемые правила вводят ряд новшеств, но их не так много. Все причастия по этим правилам должны писаться отдельно с *не*, в том числе и при отсутствии пояснительных слов. Все прилагательные, полные и краткие, также пишутся врозь с *не*. Далее, предлагается писать: *И у непоэтов встречаются настоящие стихи*; *Все неиспанцы были лишены завоевателями самых простых прав*; *Над этой машиной думали инженеры и неинженеры*; *Неастматиков здесь не принимают* и т. д. Требует объяснения, почему для всех глагольных форм и для прилагательных избрано раздельное написание с *не*, для существительных — слитное. Это, с одной стороны, отве-

[21] Ср. разграничение в украинской орфографии *невдужати* 'хворать' — *не здужати* 'не смочь'; *неславити* 'позорить' — *не славити* 'не прославлять'.

[22] Третье правило, очевидно, можно формулировать по-другому, иначе сгруппировать материал или даже заменить перечень формул общим указанием: при отрицании понятия *не* пишется отдельно от слова, к которому относится. Вряд ли это облегчит пользование правилом. Возможно, материал, приведенный в третьем правиле, не полон. Он получен путем просмотров учебников русского языка и сборников диктантов, выпущенных в последние годы (около 20 названий).

чает наметившимся тенденциям в русской орфографии, поэтому связано со сравнительно небольшой ломкой установившихся правописных привычек; с другой стороны, это отвечает строю языка: префиксация у глаголов в современном русском языке тяготеет к агглютинативности, префиксация существительных фузионна; прилагательное ближе к глаголу [23]. Эта общая тенденция касается и приставки *не*: у глаголов она ярко агглютинативна (*не любит, не одобрил, не позволил, не признает*) и предельно близка к частице (*не дымит, не смеется, не переписывает*). У существительных она фузионна.

Числительное *пол* предлагается писать раздельно: *пол страницы, пол яблока, пол Москвы, пол столовых ложки, пол лимонных дольки.* Основание понятно: это отдельное слово, такое же, как *два, три* и т. д. Вызывает опасение омонимичность *пол* с другими словами; ср. *Застеклили пол комнаты — Настелили пол комнаты.* Надо определить путем анализа большого количества текстов, насколько реальна эта опасность. Если она существует, то придется остановиться на дефисном написании этого слова.

Все частицы, т. е. отдельные постпозиционные служебные слова, естественно было бы писать раздельно, по образцу *же, ли, бы.* Относительно частиц *то* и *с* необходима проверка, не вызовет ли их отдельное написание частых омонимических столкновений с предлогом *с* и местоимением *то.*

Особую трудность представляет правописание сложных прилагательных. По действующим правилам надо различать: *народнохозяйственный, малоупотребительный, естественнонаучный* и *беспроцентно-выигрышный, светло-зеленый, русско-немецкий.* В языковом отношении, фонематически это разграничение ни на чем не основано: диэремные явления в обоих случаях одинаковы. Предстоит выбрать — писать ли в обоих случаях такие прилагательные слитно или все через дефис. Вероятно, последнее предпочтительнее, так как многобуквенные нерасчленимые образования, как показывают наблюдения психологов, могут затруднить чтение.

*

Таким образом, все вопросы современной орфографической теории должны получить свое решение на основе фонематической теории; эти решения являются наиболее оправданными и с практической точки зрения.

---

[23] См. «Русский язык и советское общество», стр. 50. В чешской орфографии принято слитное написание *не* с глаголами. Однако это не может быть показательным прецедентом для русского письма. Аффиксы в чешском языке гораздо более агглютинативны, чем в русском (см. А. В. Исаченко, К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков, «Slavia», XXVII, 3, 1958 стр. 347—352). Агглютинацией здесь названо взаимооднозначное соотношение обозначающего и обозначаемого. Таким образом, в чешском тексте противопоставленность межсловных и межморфемных диэрем ослаблена; поэтому и возможно частицу *не* во всех случаях приравнять к приставке.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Е. Н. ПРОКОПОВИЧ

ФУНКЦИИ МНОГОКРАТНЫХ БЕСПРИСТАВОЧНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

В ходе развития русского литературного языка исторические изменения, в нем происходящие, приводят в ряде случаев к тому, что отдельные элементы его грамматической системы утрачивают некогда присущую им живую соотносительность друг с другом. Однако, даже оказавшись вне системы живых отношений и утрачивая в связи с этим свою употребительность, они все же сохраняются, получая новое назначение в языке и выполняя в связи с этим новые функции.

К числу таких образований принадлежат многократные бесприставочные формы с суффиксами *-а-*, *-ва-*, *-ыва-* (*-ива-*) типа *говаривал*, *едал*, *писывал*[1]. Они были широко распространены в русском литературном языке XVIII в., когда стили литературного языка все более тесно сближаются с системой национально-разговорного общенародного языка и формируются устойчивые нормы разговорно-литературной речи на базе сближения живой устно-народной речи с нормами литературного языка [2]. В этот период многократные формы глаголов, сохраняя, как правило, присущие им значения, имеют несколько ограниченную сферу употребления. Наиболее широко они представлены в сатирических журналах Н. И. Новикова, в комедиях Я. Б. Княжнина и Д. И. Фонвизина, в сатирических поэмах В. И. Майкова, в «Записках» А.Т. Болотова и других произведениях русской литературы, тесно связанных по своему языку и стилю с народно-разговорным языком того времени.

«Я и теперь еще помню, как, бывало, *плакивал* этот старичок от радости, что имел столь завидного сына» (Новиков, Живописец); «[Скотинин].... Я сам *служивал* в гвардии и отставлен капралом» (Фонвизин, Недоросль); «Бережливость дяди моего простиралась даже до того, что он не вверял соли стряпчим, но *саливал* щи сам на столе...» (Болотов, Записки); «... и как жил он от меня шагов только со сто, то *хаживал* я к нему нередко и в короткое время сделались мы с ним друзьями, *сиживали*, разговаривали и *гуливали* вместе...» (там же).

В первой половине XIX в. рассматриваемые формы довольно широко используются в художественной литературе. Они употребительны в бас-

[1] Существуют различные точки зрения по вопросу о значении этих форм, о месте их в видо-временной системе русского глагола, а также об их дальнейшей судьбе. Не ставим себе целью охарактеризовать эти точки зрения, так как это послужило бы предметом отдельного исследования. Отметим лишь, что рассматриваемые формы в русском литературном языке XIX в. не могут быть причислены к видовым образованиям (они сохранились преимущественно лишь в форме прошедшего времени). Эта форма прошедшего времени является носительницей особых значений: неоднократной (многократной) повторяемости действия и длительности действия в далеком прошлом.

[2] См. В. В. Виноградов, Вопросы образования русского национального литературного языка, ВЯ, 1956, 1.

нях И. А. Крылова, в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Их широко использует В. Т. Нарежный в своих романах, в частности в «Российском Жилблазе», а также И. И. Лажечников в «Последнем Новике», «Ледяном доме» и других произведениях. Формы типа *говаривал*, *едал*, *писывал* употребляются в поэзии и прозе В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и других писателей того времени. Однако в этот период уже можно отметить факты использования рассматриваемых форм в качестве определенного стилистического средства. Такой своеобразный подход к ним наблюдается в творчестве Пушкина.

Перелом в употреблении рассматриваемых форм наступает в русском литературном языке второй половины XIX в. Они становятся непродуктивными, резко сокращается их употребительность[3]. Претерпевают изменения и значения многократных форм. В связи с этим укрепляется наметившаяся соотносительность с формами единого прошедшего времени на *-л* несовершенного вида. Несмотря на эти изменения, формы типа *говаривал*, *едал*, *писывал* полностью не исчезают. Они сохраняются и используются весьма своеобразно, входя в арсенал изобразительных средств языка русской художественной литературы.

*

Своеобразно сложившаяся во второй половине XIX в. судьба многократных форм не была случайной. Она была тесна связана с пуристическими тенденциями, господствовавшими в среде русской интеллигенции, и не менее тесно — с дальнейшим укреплением в языке двувидовой системы русского глагола. При значительном сокращении использования многократных форм наблюдается заметное сужение круга соответствующих употребительных основ.

По сравнению с другими многократными формами довольно часто встречаются во второй половине XIX в., по нашим наблюдениям[4], лишь такие формы от многократных основ, как *говаривал* (35 случаев употребления в исследованном материале), *живал* (24), *певал* (17), *хаживал* (20). Совсем небольшим числом (от 2 до 10) представлены в исследованном материале такие формы от многократных основ, как *бегивала* (*и*) (2 случая

---

[3] Это подтверждается многими исследователями русского языка — В. В. Виноградовым, А. Мазоном, еще раньше — В. М. Добровским, Л. П. Размусеном и др.

[4] Приводим список исследованных произведений художественной литературы второй половины XIX в. [указание в тексте на литературное произведение дается при условии единичности (1 случай употребления) рассматриваемых форм]: Аксаков, Записки ружейного охотника Оренбургской губернии (Акс., Зап. руж. ох.), Детские годы Багрова-внука (Д. г. Багр.-вн.); Бажин, Степан Рулев (Баж., Ст. Р.); Боборыкин, Китай-город (Боб., К.-г.); Гончаров, Обрыв (Гонч., Обрыв); Достоевский, Бедные люди, Униженные и оскорбленные, Подросток, Братья Карамазовы; Засодимский, Темные силы (Зас., Темн. с.); Левитов, Накануне Христова дня (Лев., Н. Хр. д.); Лесков, Язвительный (Леск., Язв.), Воительница (Воит.), Очарованный странник; Мамин-Сибиряк, Бойцы (М.-Сиб., Бойцы), Дикое счастье (Дик. сч.); Охонины брови (Ох. бр.); Мельников-Печерский, Поярков (М.-Печ., Пояр.), Старые годы (Ст. г.), Бабушкины россказни (Баб. р.); Некрасов, Саша (Некр., Саша), Крестьянские дети (Кр. д.), Кому на Руси жить хорошо (К. на Р.), Русские женщины (Р. жен.); Писемский, Боярщина (Писем., Бояр.), Старая барыня (Ст. б.); Салтыков-Щедрин, Губернские очерки (С.-Щ., Губ. оч.), Помпадуры и помпадурши (Помп. и помп.), Сказки, Благонамеренные речи (Благ. р.), Господа Головлевы (Госп. Г.), Пошехонская старина (Пош. ст.); Славутинский, Жизнь и похождения Трифона Афанасьева, Читальщица (Слав., Ж. и п., Чит.); Л. Н. Толстой, Детство (Л. Т., Дет.), Севастополь в августе 1855 г., Война и мир (В. и м.), Анна Каренина (А. Кар.), Зерно с куриное яйцо (З. с кур. я.), Фальшивый купон (Ф. куп.); Тургенев, Старый помещик (Т., Ст. пом.), Записки охотника (З. о.), Петушков, Дневник лишнего человека, Постоялый двор, Рудин, Отцы и дети (О. и д.), Дым, Новь; Успенский, Скучающая публика (Усп., Ск. пуб.); Чехов, Степь, Рассказ неизвестного человека.

употр.), *бивал(а)* (5 сл.); *бирал(и)* (2 сл.), *важивала (и)* (2 сл.), *видывал* (4 сл.), *говаривалось* (2 сл.), *гащивал* (3 сл.), *делывал(а, и)* (8 сл.), *едал(и)* (4 сл.), *езжал(а, и)* (7 сл.), *езживал(и)* (3 сл.), *знавал(а, и)* (10 сл.), *игрывал(а,и)* (10 сл.) *колачивал (и)* (3 сл.), *крикивала* (2 сл.), *кучивал(и)* (2 сл.), *кушивали* (2 сл.), *лавливал(и)* (3 сл.), *ночевывал* (2 сл.), *обедывал* (4 сл.), *пивал(и)* (5 сл.), *писывал(и)* (2 сл.), *сиживал(а, и)* (8 сл.), *слыхивал(а, и)* (8 сл.), *стаивал* (2 сл.), *читывал* (7 сл.). Наконец, единичные случаи употребления (по 1 примеру) в исследованном материале имеют следующие формы от многократных основ: *бранивал* (Т., Ст. пом.), *варивали* (Усп., Ск. пуб.), *дирались* (Боб., К.-г.), *дирывались* (Т., О. и д.), *думывал* (Слав., Ж. и п.), *жинать — жинать не жинал* (Л. Т., З. с кур. я.), *знавать — случалось знавать* (Некр., Саша), *кармливал* (С.-Щ., Благ. р.), *кашивали* (Л. Т., А. Кар.), *куривали* (Леск., Язв.), *лакомливались* (С.-Щ., Госп. Г.), *маливался* (Леск., Воит.), *менивал* (Л. Т., Ф. куп.), *мывала* (С.-Щ., Пош. ст.), *нюхивала* (там же), *плачивал* (Акс., Зап. руж. ох.), *плясывал* (С.-Щ., Пош. ст.), *раживался* (Л. Т., З. с кур. я.), *саживала* С.-Щ., Губ. оч.), *саживались* (Т., Новь), *севать — севать не севал* (Л. Т., З. с кур. я.), *секали* (Слав., Чит.), *сиживать — любил сиживать* (Л. Т., В. и м.), *служивал* (С.-Щ., Благ. р.), *смеивались* (Л. Т., В. и м.), *стреливали* (Акс., Зап. руж. ох.), *танцовывали* (Л. Т., В. и м.), *таскивал* (С.-Щ., Губ. оч.), *угащивал(а)* (Л. Т., В. и м.), *учивал* (Лев., Н. Хр. д.), *шивали* (Л. Т., Дет.), *шучивал* (Писем., Бояр.).

Ограниченность в употреблении рассматриваемых форм, а также известная лексическая ограниченность круга употребляющихся в языке многократных основ тесно связана с их ограниченностью в грамматическом плане. Рассматриваемые формы уже в первой половине XIX в., а тем более в дальнейшем употребляются, за редким исключением, лишь в форме прошедшего времени [5]. Действительно, в исследованном материале такие формы, как *говаривать*, *говаривавший* и др. под., буквально единичны, хотя теоретически они возможны почти от каждой формы [6]. Поэтому естественно, что формы *говаривал*, *едал*, *писывал* и под. сближаются не столько с соответствующими инфинитивами (*говаривать*, *едать*, *писывать* и под.), которые у одних глаголов единичны и малоупотребительны, у других же вовсе неупотребительны, сколько с инфинитивами глаголов несовершенного вида (*говорить* и под.).

Так старая система форм бесприставочных многократных глаголов оказывается полностью разрушенной. Сохранившиеся изолированные формы прошедшего времени *говаривал*, *едал*, *писывал* и под. в основном становятся синонимичными формам прошедшего времени несовершенного вида на *-л* : *говорил*, *ел*, *писал* и под. При этом присущие многократным формам значения (неоднократной повторяемости действия и длительности действия в далеком прошлом) все более ослабляются вплоть до полной их утраты. В этом отношении очень показательны случаи параллельного

[5] И в памятниках русской письменности второй половины XVII в. инфинитивы от многократных основ довольно редки. Их можно найти в памятниках деловой письменности, причем, как правило, с отрицанием *не* и в значении категорического запрещения чего-либо. Такой пример найден в Азовских повестях (список XVII в.): «Уже бо намъ казакамъ по синему морю Хвалынскому в лехкихъ стругахъ не бывать и в зеленыя дубравы *не гуливать*». Употребление рассматриваемых форм преимущественно в форме прошедшего времени отмечается исследователями русского языка, начиная с М. В. Ломоносова. Четко и определенно говорит об этом А. Мазон: в глаголах типа *сдал*, *знавал*, *езжал*, *читывал* и *говаривал*,— пишет он,— «существование инфинитива является, собственно говоря, скорее теоретическим, чем реальным» (A. Mazon, Emplois des aspects du verbe russe, Paris, 1914, стр. 103).

[6] Ср. у И. А. Бунина: «Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, *живавший* на чердаках...» («Сны Чанга»).

употребления рассматриваемых форм с формами единого прошедшего времени на *-л* несовершенного вида (*говаривал* и *говорил*, *едал* и *ел*, *писывал* и *писал* и под.), которые можно наблюдать в русском литературном языке второй половины XIX в. [7]. Приведем примеры:

«—Да, батюшка Сергей Андреевич,—говорил мне Прокофьич,— в старину *живали* не по-нынешнему. В старину — коли барин, так и *жил* барином...» (М.-Печ., Ст. г.); «Ты *читал* ли, голубчик, Боккачио?... А?...— *Читал*, бабушка.— А сказочки Лафонтеновы *читал*?...—*Читывал* и сказочки, бабушка» (М.-Печ., Баб. р.); «— Ты где *жил* после выхода из школы?— спросил Андрей Никитич.— Во многих местах *живал*» (Баж., Ст. Рул.); «Было время, *плясывал* я. *Плясал*, *плясал* да и доплясался» (С.-Щ., Пош. ст.); «...Ведь и вы, братец, прежде *игрывали*?— Да, *играл*» (там же)[8].

Не менее убедительно об этом же свидетельствуют многочисленные случаи употребления рассматриваемых форм в одном предложении и в одном ряду с формами единого прошедшего времени на *-л* несовершенного вида:

«Он подвергался самым разнообразным приключениям: *ночевал* в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, *сиживал* не раз взаперти на чердаках...» (Т., З. о.); «А в свое время считался первым по губернии хватом; ...песельников *держал*, сам *певал* и *плясал* мастерски...» (Т., З. о.); «...он *сердился*, *гонялся* за ними..., *бранил* их и даже иногда *бивал*...» (Акс., Д. г. Багр.- в.); «...и Никита *щелкал* Андрюшу менее прочих детей, *игрывал* даже с ним под веселый час» (Зас., Темн. с.).

Такое употребление рассматриваемых форм наблюдается и позднее, когда они становятся совсем редкими. Интересен в этом плане пример из повести А. Н. Толстого «Мишука Налымов»: «Прадед Репьев каждый вечер *сиживал* в этой беседке один, *думал*, *вспоминал* и *шептал* имя ушедшей подруги».

Наконец, весьма показательны довольно многочисленные случаи употребления при многократных формах различных наречий определенной семантики (наречия *часто*, *нередко* и под.):

«С детьми Княжевичей и Мансуровых мы были дружны и *часто* вместе *игрывали*» (Акс., Д. г. Багр.-вн.); «На остров *нередко* с нами *хаживала* тетушка Татьяна Степановна» (там же); «А всему причиною отец его, который был истый государственный человек, хоть и *не раз*, говорят, *секали* его за разные плутни...» (Слав., Чит.); «Прежде он *часто* у патрона своего *обедывал*, но однажды случился с ним грех: не удержался, в салфетку высморкался» (С.-Щ., Пош. ст.).

Любопытен пример из «Воительницы» Лескова:

«Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню... и смежную со спальней гостиную комнату, с громадным киотом, перед которым *ежедневно маливался* ее покойник, пустила внаем».

Эти наречия подчеркивают и усиливают значение неоднократной повторяемости действия, которое заключено по существу уже в самих многократных формах. Поэтому самый факт присоединения наречий, усиливающих указанное значение, можно рассматривать как свидетельство того, что значение неоднократной повторяемости действия в последних уже ослаблено.

Иногда в рассматриваемых формах подчеркивается оттенок постоян-

[7] Отдельные случаи такого употребления рассматриваемых форм можно наблюдать уже в памятниках русской письменности второй половины XVII в. (см. Е. Н. Прокопович, Об употреблении прошедших времен глагола в русской письменности второй половины XVII в., сб. «Материалы и исследования по истории русского языка», М., 1960).

[8] Интересен случай параллельного употребления форм у Я. Б. Княжнина в комической опере «Притворно-сумасшедшая»: «[Альберт]... да *лечивали ль* вы когда-нибудь такие болезни?... [Криспин] *Лечивал ли* я? Предорогой вопрос! Конечно, *лечил*».

ства, обычности действия в прошлом. Это имеет место в случаях употребления при них наречий *всегда*, *обыкновенно* и под. Например:

«Из окна направо видна часть террасы, на которой *сиживали обыкновенно* большие до обеда» (Л. Т., Дет.); «И с тех пор он почти покинул дом свой: *обедывал всегда*... или у приятелей... либо в гостиницах...» (Слав., Чит.); «При прежнем губернаторе у нас не позволялось курить в канцелярии. Старшие чиновники *обыкновенно куривали* в маленькой комнатке...» (Леск., Язв.).

Особенно показательны случаи, когда многократные формы употребляются в сочетании с такими наречиями, как *редко*, *иногда* и под. Например:

«Я, признаюсь, *редко слыхивал* подобный голос...» (Т., З. о.); «Я даже *читывал* ему *иногда* „Детское чтение“ (Акс., Д. г. Багр.-вн.); «*Иногда* он *обедывал* у губернатора...» (Гонч., Обрыв); «И с этих пор он... *редко ночевывал* дома...» (Слав., Чит.)

Эти наречия по своей семантике не только не поддерживают значения постоянства, обычности действия в прошлом, но даже противоречат ему. Следовательно, возможность таких сочетаний, видимо, объясняется максимальным ослаблением указанного выше значения неоднократной повторяемости действия.

В рассматриваемых формах ослабляется и значение давности прошедшего действия («прошедшее время давнего обыкновения»). Об этом свидетельствует употребление в русском литературном языке второй половины XIX в. в сочетании с рассматриваемыми формами таких слов и выражений, как *когда-то*, *во время оно* и др. Например:

«...а наташину Хабаровку, в которой мы с вами *во время оно игрывали* на театре, я знаю, как свои пять пальцев...» (Л. Т., Дет.); «Яким старик убогонький, *Живал когда-то* в Питере, Да угодил в тюрьму...» (Некр., К. на Р.).

Эти слова и выражения подчеркивают и тем самым усиливают значение давности прошедшего действия. Однако сама необходимость этого усиления, видимо, и здесь служит свидетельством ослабления указанного значения в рассматриваемых формах. Подобные сочетания изредка встречаются и в русском литературном языке XX в.: «...и было очень странно Вихрову, что тот же человек *когда-то певал* свою коронную Ноченьку на студенческих пирушках...» (Леонов, Русский лес).

Особого замечания требуют многократные формы с отрицанием *не*, употребляющиеся в значении сильнейшего отрицания какого-либо события в прошлом [9]. Многократные формы с этим отрицанием образовались от глаголов различной семантики и употреблялись в XVIII в. и в первой половине XIX в. довольно широко и свободно:

«*Не сыпáв* очень давно или, паче, еще никогда на таких мягких постелях, спал я сию ночь, как в раю...» (Болотов, Записки); «[Петр] Я вить вам сказывал, барыня, что я их [ложки] *не бирывал*...» (Крылов, Кофейница); «Неужели ты, вскричал он, никогда *не люблúвал* прекрасных девушек...» (Нарежный, Аристион).

Сокращение употребительности многократных форм во второй половине XIX в., как уже отмечалось, сопровождалось значительным сокращением числа употребительных в языке основ. Еще более узким становится круг употребительных в языке многократных форм с отрицанием *не* и значением сильнейшего отрицания. По существу, довольно употребительными оказываются лишь образования *не видывал* и *не слыхивал*. В исследованном материале можно отметить 23 случая употребления образования *не видывал* и 17 случаев употребления *не слыхивал*. В ряде

[9] См.: В. И. Чернышев, Отрицание *не* в русском языке, «Материал для словаря русского языка», Приложение к 1 вып. VIII т. [академического] «Словаря русского языка», Л., 1927, стр. 62; Е. А. Иванчикова, Употребление многократных бесприставочных глаголов в русском литературном языке XIX в., сб. «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», IV, М., 1957, стр. 272.

случаев формы *видывал* и *слыхивал* с отрицанием *не* входят в состав таких сочетаний, как *видеть не видывал*, *слухом* (*слыхом*) *не слыхивал*, которые наряду с другими присущи русской разговорной речи[10]. Например:

«Чтой-то, Федор Васильевич, овса-то будто уж и многонько. По знешнему месту и *слыхом* о таких урожаях *не слыхивали*» (С.-Щ., Пош. ст.); «...этот самый Федька был первый разбойник в наших местах,— продолжал Савоська.— Я о нем раньше-то слыхивал много, а *видеть не видывал*» (М.-Сиб., Бойцы).

Значение сильнейшего отрицания, выраженное в формах *видывал* и *слыхивал* с отрицанием *не*, становится в подобных сочетаниях еще более определенным.

Небольшую употребительность в русском литературном языке второй половины XIX в. (от 1 до 6 случаев употребления) имеют такие многократные формы с отрицанием *не* и значением сильнейшего отрицания, как: *не бегивал* (Т., Дым), *не бивал* (3 сл.), *не бирала* (М.-Сиб., Дик. сч.), *не бывывали(о)* (2 сл.), *не важ*и*вался* (Т., О. и д.), *не воровывали* (Писем., Ст. б.), *не гавливали* (С.-Щ., Губ. оч.), *не гащивала* (С.-Щ., Пош. ст.), *не гляживали* (Леск., Язв.), *не говаривал(а)* (5 сл.), *не делывала* (Акс., Д. г. Багр.-вн.), *не дирал* (С.-Щ., Благ. р.), *не едал(а)* (6 сл.), *не живала(и)* (2 сл.), *не жинал* (Л. Т., З. с кур. я.), *не знавал(и)* (3 сл.), *не знавать* (Некр., Р. жен.), *не игрывал(и)* (2 сл.), *не имывали* (С.-Щ., Губ. оч.), *не колачивал* (Некр., К. на Р.), *не маливался* (2 сл.), *не нáшивал* (3 сл.), *не певал* (Слав., Чит.), *не певать* (Некр., Саша), *не пивал(а)* (6 сл.), *не плакивал* (2 сл.), *не получивала* (С.-Щ., Губ. оч.), *не прыгивал* (Лев., Н. Хр. д.), *не саживался* (С.-Щ., Помп. и помп.), *не севал* (Л. Т., З. с кур. я.), *не стаивала* (Л. Т., А. Кар.), *не сыпáл* (С.-Щ., Губ. оч.), *не хаживал* (*а*, *и*) (4 сл.), *не хварывал* (М.-Печ., Ст. г.), *не чищивали* (С.-Щ., Благ. р.).

*

Несмотря на резкое сокращение употребительности многократных форм во второй половине XIX в., на ослабление (вплоть до полной утраты) оттенков значений, отличавших их от других форм прошедшего времени, эти формы не уходят полностью из литературного языка. Они продолжают использоваться, и довольно широко, в целом ряде произведений русской художественной литературы. Став непродуктивными в литературном языке, передав в большинстве случаев свои функции формам единого прошедшего времени на *-л* несовершенного вида (*говорил*, *ел*, *писал* и под.), формы *говаривал*, *едал*, *писывал* и под. получают новое назначение в языке. Они становятся стилистическим средством. Поэтому они употребляются в произведениях художественной литературы, которые в большей или меньшей степени связаны с формой сказа; ими пользуются писатели, вводящие в свои произведения формы устной народной речи.

В русском литературном языке уже с первой половины XIX в. наблюдаются случаи такого использования многократных форм. Это достаточно ярко проявляется в творчестве А. С. Пушкина. Стремясь ввести в поэтический язык элементы живой разговорной речи своего времени, Пушкин использует и рассматриваемые формы. Так, в романе «Евгений Онегин» они употребляются и в авторской речи («Она *езжала* по работам, Солила на зиму грибы...»), и в речи персонажей. Показателен, например, следующий отрывок:

«Старушка ей: „А вот камин; Здесь барин *сиживал* один. Здесь с ним *обедывал* зимою Покойный Ленский, наш сосед. Сюда пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет; Здесь почивал он, кофей кушал, Приказчика доклады слушал И книжку поутру читал... И старый барин здесь *живал*“».

Здесь многократные формы стоят в одном ряду с формами прошедшего

[10] См. Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 73—74 и др.

времени на *-л* несовершенного вида и придают живой разговорный характер речи ключницы. Утверждая в русской реалистической литературе форму сказа, А. С. Пушкин, создавая образ автора-рассказчика, использует в «Повестях Белкина» многократные формы как одно из средств языковой характеристики этого образа[11].

Сказ, по своему происхождению связанный с устным народным творчеством, в XIX в. стал широко распространенной формой литературно-художественного повествования и сыграл важную роль в развитии русской реалистической литературы. Основное действующее лицо сказа — рассказчик, который является как бы связующим звеном между автором и описываемой им действительностью. При этом «характером речи „сказителя", ее отношением к литературно-повествовательным формам определяется в сказе соотношение образа рассказчика с образом автора-писателя»[12]. Это соотношение, однако, не является неизменным. Напротив, образ рассказчика «колеблется, иногда расширяясь до пределов „образа писателя", „автора"... даже в пределах одной сказовой композиции»[13]. С различием в этих соотношениях связано и различие в формах сказа в разных произведениях и у разных писателей.

Наряду с другими народно-разговорными средствами в произведениях, построенных в форме сказа, или в так называемых «вставных» сказах (вставных новеллах в форме сказа) в большем или меньшем количестве употребляются и рассматриваемые многократные формы *говаривал*, *едал*, *писывал* и под.[14] Довольно широко использует их С. Т. Аксаков в «Детских годах Багрова-внука». Показательны его слова в предисловии «К читателям»: «Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика».

В плане развития сказа и употребления в нем многократных форм интересно творчество такого «даровитейшего рассказчика», каким был, по определению Н. Г. Чернышевского, П. И. Мельников-Печерский. В его повестях 60-х годов XIX в. «Поярков», «Старые годы», «Бабушкины россказни» и др. повествование ведется от лица автора-рассказчика. В нить этого повествования вплетаются живые и яркие рассказы других рассказчиков, в которых, как и в речи автора, употребляются многократные формы. Формы *говаривал*, *едал*, *писывал* и под. можно встретить на фоне других средств народно-разговорной речи, в частности эмоционально окрашенной лексики, и в повестях таких русских прозаиков 60-х годов XIX в., как С. Т. Славутинский («Читальщица», «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» и др.), А. И. Левитов («Накануне Христова дня») и др. Например:

«— Ох, тяжко!— продолжал Пантелей... Ведь сначала-то мекал, как бы побольше деньжонками сбиться... а опосля *думывал* семье помочь....» (Слав., Ж. и. п.); «У хорошего было отца Никишка родился, однакож, правду сказать, дурака такого беспримерного искать да искать надобно было... Покуда молод был, *учивал* его знатно отец— вся, бывало, рожа-то в синяках» (Лев., Н. Хр. д.).

---

[11] Любопытно в этом плане, что, по свидетельству акад. В. В. Виноградова, А. С. Пушкин, работая над текстом повести «Станционный смотритель», в предложении «кто не жаловался на станционных смотрителей, кто с ними не бранился?» заменяет форму *бранился* разговорно-народной формой прошедшего времени *бранивался* («К изучению языка и стиля пушкинской прозы», «Р. яз. в шк.», 1949, 3, стр. 20).

[12] В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 122—123.

[13] Там же, стр. 123.

[14] Конечно, употребление многократных форм в подобных произведениях не является непременным. Так, в «Левше» Н. С. Лескова, представляющем образец сказа и содержащем формы и конструкции, свойственные разговорной народной речи, рассматриваемых форм нет.

Особенности создания образа рассказчика, а следовательно, и образа автора в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина еще мало изучены, хотя его творчеству и посвящен ряд трудов. Несомненно и очень важно, что в его произведениях рассказ чаще всего ведется от первого лица и что это лицо — «особое художественное „я", то более, то менее приближающееся к автору»[15]. Интересно и своеобразно употребляются у него рассматриваемые многократные формы. В романе «Пошехонская старина» они включены в речь автора-рассказчика, от лица которого ведется повествование:

«Утро в нашем семействе начинал отец. Он ежедневно ходил к ранней обедне... Еще накануне с вечера он выпрашивал у матушки два медных пятачка на свечку и на просвиру, при чем матушка нередко *говаривала*...»; «Что касается до церкви Успенья-на-Могильцах, то она славилась своими певчими. Помнится, что там по праздникам *певал* крепостной хор Ровинского».

Эти формы встречаются и в диалогах, включенных в повествование, которое ведет автор-рассказчик:

«Много в ту пору француз русским напакостил... Думал, что и бога-то нет, ан бог-от вот он. Насилу ноги уплел.— Даже песню в то время *певали*, как он бежал-то от нас,— припоминает матушка».

В романе «Господа Головлевы» многократные формы, как правило, включены лишь в речь героев романа, в диалоги между ними. (Речь автора—примечательно, что автор здесь не является рассказчиком,—можно сказать, свободна от рассматриваемых форм.)

«Завтра, чуть свет, возьмешь ты Володьку, да скорехонько... и отправляйтесь... Воспитательный-то знаешь?— *Важивала*,— односложно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом. — А *важивала* — так тебе и книги в руки»; «— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару: — пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!— Это как будет угодно маменьке, сударь.— Эхма! А было время, что и *я* дупелей *едал*! *едал*, братец!».

Многократные формы, хотя и в небольшом количестве, представлены в произведениях такого мастера сказа, как Н. С. Лесков. Их находим в очерке «Воительница», в «Язвительном», в «Очарованном страннике», в «Соборянах» и др. В очерке «Воительница», где основное место занимают диалоги героини, мценской мещанки Домны Платоновны с автором-рассказчиком, а также ее живописные по содержанию рассказы, широко представлены разнообразные формы и конструкции, присущие живой разговорной речи. Среди них изредка встречаются и рассматриваемые формы:

«... „что ж,— говорит,— это вы так рассердились?"—„А то,— прямо ей в глаза говорю,— что вы со мной мою хлеб-соль вместе *кушивали*, а меня к своей горничной посылаете"»; «...квартира у тебя нынче очень хороша.— Ничего,— говорю,— Домна Платоновна.— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю... Она прежде была испорчена и на голоса *крикивала*...».

С «Воительницей» сближается по своему сюжету и литературной форме рассказ И. А. Бунина «Хорошая жизнь» (1911 г.). Он написан в форме сказа: о своей жизни повествует ловкая и предприимчивая женщина, в прошлом крестьянка. Автор же не вмешивается в это повествование, которое изобилует характерными для разговорной речи формами и конструкциями. Среди них определенное место занимают и рассматриваемые формы. Например:

«Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь...— глядишь двадцать копеек, тридцать.. Да и *хаживали* мы чисто, нравились военным; «Бывало, как подымет, подымет: „Я монах, красив собою". Эту песню часто *певал*».

Говоря об использовании многократных форм в русском литератур-

[15] В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, стр. 143—144. См. также: А. И. Ефимов, Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, М., 1953, стр. 479 и сл.

ном языке второй половины XIX в., нельзя не обратить внимания на творчество Н. А. Некрасова, все произведения которого, и в частности поэма «Кому на Руси жить хорошо», как известно, связаны с устным народным творчеством. В этой поэме, часто в сочетании с народными пословицами и поговорками, с живой разговорной лексикой, с народными оборотами речи, употребляются и формы *говаривал*, *едал*, *писывал* и под. Они разбросаны в поэме повсюду: в речи действующих лиц, в диалогах, в речи автора. Например:

«А эхо вторит всем. Ему одна заботушка Честных людей поддразнивать,Пугать ребят и баб! Никто его *не видывал*, А слышать всякий *слыхивал*. Без тела — а живет оно, Без языка — кричит!»; «И горя словно не было! Запела, как *певала* я В родительском дому».

Характерно, что в наше время многократные формы встречаются в «Уральских сказах» П. Бажова, хотя и в небольшом количестве. Например:

«Идет эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погодя и песенки запели. Дорога бывалая, *хаживали* на Терсутско за клюквой — что им не петь-то?» («Кошачьи уши»).

К концу XIX в. и особенно позднее, уже в XX в., употребление многократных форм в русском литературном языке еще более снижается, хотя и в это время можно наблюдать случаи использования их в стилистических целях (в диалогической речи, в речи того или иного из участников диалога и т. д.). Например:

«Оно, конечно, спервоначалу трудно было, *делывал* ошибки, но потом привык-с...» (Чехов, Восклицательный знак); «— Ты ему голову разбил!— тихонько напомнил мальчик.— Эка важность! На службе его и не так *бивали*» (Горький, Жизнь Матвея Кожемякина); «Было это зимой тысяча семьсот семидесятого года. Слышал я сторонкой о мятеже на заводе... *Говаривали*, что восстание стихло....» (Паустовский, Судьба Шарля Лонсевиля).

Однако встречаются и такие случаи употребления рассматриваемых форм, когда едва ли можно объяснить их использование стилистическими целями. С подобными случаями (обычно в авторской речи) встречаемся у Л. Н. Толстого («Война и мир», «Анна Каренина») [16], у А. П. Чехова и А. М. Горького, наконец у А. С. Серафимовича, К. А. Федина, М. А. Шолохова и других советских писателей. Например:

«Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку *бирал* матерого волка» (Л. Т., В. и м.); «Не верится Сороке. Много годов *хаживал* он на море» (Серафимович, На льдине); «Жестоко *бивал* его за это Пантелей Прокофьевич...» (Шолохов, Тихий Дон); «Они переписывались, когда *живали* врозь...» (Федин, Костер).

Таким образом, многократные формы могут использоваться и не в стилистических целях, но такое употребление носит эпизодический характер. В основном же рассматриваемые формы, несмотря на их немногочисленность по сравнению с другими формами и конструкциями, входят в арсенал изобразительных средств языка художественной литературы.

---

[16] Характерно, что в романе «Война и мир», при наличии рассматриваемых форм в авторской речи, они отсутствуют в рассказах Платона Каратаева, где широко представлены другие формы и конструкции, присущие народно-разговорной речи. А между тем в известной сказке «Зерно с куриное яйцо», которая относится к более позднему периоду творчества писателя (1885 г.), в речи действующих лиц (не в авторской речи) употребляются такие многократные формы, как, например, *севал*, *раживался* и др.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

Н. Ф. АЛИЕВА

СООТНОШЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ГЛАГОЛЬНЫХ АФФИКСОВ В ИНДОНЕЗИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Глагольная аффиксация в индонезийском языке осуществляется посредством суффиксов и префиксов (инфиксы продуктивно не употребляются) и имеет агглютинативный характер: большинство аффиксов четко выделяется в слове, и каждый аффикс в данном слове выражает, как правило, какое-либо одно определенное значение (если иметь в виду выражение понятий и их отношений); в слове может быть не один, а два или три аффикса, причем каждый из аффиксов сохраняет свое значение.

Индонезийский язык отличается от большинства родственных ему языков бедностью своей аффиксальной системы. В частности, индонезийский глагол имеет всего шесть префиксов (*ber-*, *me-*, *di-*, *per-*, *ter-*, *ke-*) и два суффикса (*-i*, *-kan*). При помощи этих аффиксов осуществляется и образование глагола от неглагольных частей речи и выражение таких грамматических значений, как действительный и страдательный залоги, возвратность, взаимность и совместность действия, переходность действия. Своеобразной чертой аффиксации индонезийского глагола при этом является то, что одни и те же аффиксы, но в сочетании с разными типами корней выступают то как средство создания нового слова с новым лексическим значением, то как средство выражения одной из частных глагольных категорий, не внося в этом случае изменений в лексическое значение глагола. Это свойство наиболее сильно проявляется у аффиксов *me-*, *-i*, *-kan*, в меньшей мере — у префиксов *ber-*, *ter-* и почти не проявляется у префиксов *di-*, *per-*.

Рассмотрим сначала употребление префиксов *ber-*, *me-*, *di-*, *ter-* [1]. Оттенки значений этих префиксов достаточно подробно описаны в различных грамматиках и учебниках; здесь мы на ряде примеров лишь проведем грань между их различными функциями в соответствии с изложенным выше положением.

При помощи префикса *ber-*: 1) обычно образуются глаголы с медиальным значением от неглагольных корнеслов: *berdjalan* «идти» (*djalan* «дорога»), *berkata* «говорить» (*kata* «слово»), *berkuda* «ехать верхом; иметь лошадь» (*kuda* «лошадь»); например: «Dan anak laki-laki itu terus berdjalan kekanan» (Sontani, Awal dan Mira) «И мальчик пошел направо»; 2) от глагольных корней образуются формы с медиальным значением, противопоставленные формам действительного залога с префиксом *me-*: *berdjual* «торговать» (*mendjual* «продавать»— переходный глагол), *bertjutji* «умываться» (*mentjutji* «мыть» — переходный глагол); *berangkat* «отправляться» (*mengangkat* «поднимать» — переходный глагол); например: «Kita lima orang berangkat kekuburan» (Hadi dan Adinda, Dipersimpangan) «Мы пятеро отправились на кладбище».

[1] Префикс *per-* в системе глагола употребляется только в одной функции — для образования побудительных глаголов; чаще же всего он используется как префикс имени существительного. Мы на нем специально не останавливаемся.

При помощи префикса *me-* образуются: 1) глаголы — преимущественно непереходные — от неглагольных частей речи: *menari* «танцевать» (*tari* «танец»), *mengeluh* «вздыхать» (*keluh* «вздох, жалоба»), *menguning* «желтеть» (*kuning* «желтый»), *mengepul* «клубиться» [*kepul* «клуб(дыма)»]; например: «Ia mengeluh sekali lagi» (Iskandar, Salah pilih) «Она снова вздохнула»; Dari balik tenda-tenda itu mengepul asap «Из-за палаток клубами поднимался дым»; 2) форма действительного залога переходных глаголов[2]: *melihat* «смотреть» (страдат. залог — *dilihat*[3]), *menulis* «писать» (страдат. залог — *ditulis*), *melempar* «бросать» (страдат. залог — *dilempar*), *membawa* «нести» (страдат. залог — *dibawa*); например: «Sekali ini Farid bisa melihat komandan resimennja» (Toer, Bekasi) «На этот раз Фарид смог увидеть своего командира полка».

При соединении с некоторыми именами, от которых префикс *me-* образует переходный глагол, он выполняет две функции одновременно: образует глагол и передает значение действительного залога; например: *menjanji* «петь» (*njanji* «песня, пение»), *menggambar* «рисовать, изображать» (*gambar* «картина»). Обычно в языке к таким глаголам существуют параллели с суффиксом *-kan*, указывающим на переходность действия.

При помощи префикса *di-*, как можно видеть из приведенных выше примеров, образуется форма страдательного залога. В отдельных случаях, наряду с этим своим значением, *di-* выполняет также роль словообразующего аффикса, если соответственно в действительном залоге таким же образом ведет себя префикс *me-*. Только как словообразовательный префикс, безотносительно к залоговым различиям, *di-* выступать не может. Например, *digambar* «быть нарисованным» (*menggambar* «рисовать, изображать», где *gambar* «картина» без всякого значения глагольности); здесь *di-*, как в действительном залоге префикс *me-*, выражает значение залога и вместе с тем отличает глагол от имени; то же самое в *dinjanji* (страдат. залог от *menjanji* «петь»), *didjawab* (страдат. залог от *mendjawab* «отвечать на», корень *djawab* «ответ»).

Префикс *ter-* в современном языке имеет гораздо более узкую область употребления, чем префикс *di-*. В соответствии со значением производных, образованных префиксом *ter-*, можно разграничить две функции этого префикса: 1) образование глаголов с пассивным значением с оттенком завершенности или возможности, причем глаголы этого типа могут употребляться в страдательной конструкции: *terdengar* «быть услышанным», *terlupa* «быть забытым», *terikat* «быть связанным», *terkurung* «быть заключенным, запертым в клетку»; например: «Ketakutan terbajang pada muka mereka» (Toer, Bekasi) «Страх отразился на их лицах»; 2) образование глаголов с медиальным значением, по-видимому, имеющих общее происхождение с формами страдательного залога; однако значение страдательного залога в них совершенно не ощущается, зато возникли оттенки внезапности, непроизвольности, неожиданности действия или состояния: *termenung* «задуматься, быть в задумчивости», *terlompat* «прыгнуть, отскочить, отпрыгнуть от неожиданности», *tersenjum* «улыбнуться», *terdjadi* «происходить, случаться»; например: «Tiba-tiba ia terkedjut dan terlompat kepinggir djalan» (Iskandar, Mutiara) «Вдруг он испуганно вздрогнул и отскочил к краю дороги». Эти глаголы совершенно не способны образовывать пассивную конструкцию и не имеют противопостав-

[2] Форма действительного залога (префикс *me-*) в индонезийском языке выполняет также и роль инфинитива; поэтому, давая примеры переходных глаголов без учета залоговых изменений, мы будем употреблять глаголы с префиксом *me-*.

[3] Говоря о страдательном залоге, мы берем здесь лишь формы с префиксом *di-* как бесспорно грамматические образования. Нам представляется недостаточно обоснованным рассмотрение морфем *ku*, *kau* как префиксов, образующих формы глагола.

ленных форм действительного залога. Они существуют в языке как самостоятельные лексические единицы, поэтому можно считать, что префикс *ter-* здесь выполняет роль словообразовательного аффикса. Есть, конечно, и глаголы переходного характера, которые могут употребляться и как глаголы первой группы, и как глаголы второй группы.

Как видим, различия в использовании одного и того же префикса могут быть весьма значительными, что нашло свое отражение во всех трудах по индонезийской грамматике: там идет речь о «различных значениях» того или иного глагольного аффикса. В практической работе это выражение вполне применимо, хотя точнее было бы говорить о различных функциях аффикса. Однако из факта наличия у одного префикса разных, в ряде случаев как будто далеко друг от друга отстоящих значений не следует делать вывод, что мы имеем дело просто с омофонами. На самом деле все значения каждого префикса представляют собой как бы частные проявления одного основного значения, присущего префиксу во всех случаях. Особенность этих частных проявлений в том, что в них главное значение аффикса не только осуществляется по-разному, но и обрастает еще добавочными свойствами и оттенками, которые в своем бросающемся в глаза противопоставлении друг другу часто заставляют забывать о главном значении. Тем не менее такое главное значение все же существует.

Возьмем префикс *me-*. Выражает ли он действительный залог переходного глагола или образует непереходный глагол со значением состояния или действия — он всегда устанавливает совершенно определенное отношение между подлежащим и сказуемым: подлежащее передает с у б ъ е к т действия или состояния, обозначенного сказуемым, сказуемое выражает процессуальный признак, обладателем или создателем которого является подлежащее. Префикс *ber-*, производя новое слово — глагол — от имени или образуя медиальную глагольную форму, противопоставленную действительному и страдательному залогам, и в том и в другом случае показывает, что действие замыкается в самом субъекте, выражаемом подлежащим, что оно не направлено на другие лица или предметы. Основное значение префикса *di-* состоит в том, что он всегда образует форму страдательного залога. Префикс *ter-* как будто раздвоился, ибо в одном случае он указывает на связь подлежащего со сказуемым как объекта с действием (страдательный залог), а в другом случае — на связь подлежащего со сказуемым как субъекта с признаком (действительный залог). Однако противоречие здесь лишь кажущееся. Во втором случае подлежащее, как и в первом, обозначает не активного производителя действия, а скорее непроизвольного, случайного, не по своей воле, исполнителя какого-то акта. *Saja terduduk* «Я сел» (например, от толчка) хотя и не значит «меня посадили, я посажен», но и не показывает, что действие совершено сознательно, активно. Это подтверждается также невозможностью поставить прямое (беспредложное) дополнение после глагола с префиксом *ter-*; например, *Saja teringat akan mukanja* «Мне вспомнилось его лицо».

Таким образом, каждый глагольный префикс имеет одно основное значение, благодаря которому устанавливается определенная связь между глаголом и словом, к которому он в первую очередь относится в предложении,— подлежащим. В этой способности глагола в самой своей форме отразить связь с подлежащим и состоит его главный признак как части речи, которой наиболее свойственна функция сказуемого. Индонезийский глагол, как и глагол в других языках, обладает этим основным свойством, хотя формальное выражение связи с подлежащим идет в нем не по линии лица и числа, а по линии залоговых отношений. Наличие префиксов *ber-* и *me-* в составе глагола-сказуемого предполагает,

что его подлежащее обозначает активного, сознательного производителя действия или носителя признака. Префиксы *di-* и *ter-* показывают, что соответствующее подлежащее должно обозначать лицо или предмет, испытывающий на себе воздействие со стороны.

С точки зрения значения каждого префикса именно эта, синтаксическая по своему характеру, функция связи глагола-сказуемого с подлежащим представляется первичной, основной. Эта функция не связана с различением лексического и грамматического в данном слове, как не зависит она и от характера корня.

Одновременно, учитывая соотношение лексических значений производного слова и его корня, мы можем разграничивать словообразовательные и синтаксические функции префиксов. Получается, что все префиксы синтаксичны, и одновременно те же префиксы выполняют то синтаксические, то словообразовательные функции. Как разрешить это противоречие? По-видимому, эти явления принадлежат одновременно к двум различным уровням: уровень чисто синтаксический подразумевает отношение данного производного глагола к другим словам в предложении, а уровень лексико-синтаксический включает как отношение производного к корню, так и синтаксические связи производного. Каждый акт префиксации должен получать характеристику в аспектах обоих уровней.

Перейдем к суффиксам индонезийского глагола. Их два: *-i* и *-kan*; они входят в состав очень многих слов, поэтому роль их в языке весьма существенна. Как и глагольные префиксы, суффиксы многофункциональны, что нашло свое отражение в грамматиках: в целом суффиксы *-i* и *-kan* описываются как характеризующие переходный глагол, различные их «значения» фиксируются с достаточной полнотой. Исходя из того, что глаголы с этими суффиксами во многих случаях переводятся на европейские языки как переходные глаголы, представляющие собой цельные лексические единицы, многие голландские авторы рассматривают суффиксы *-i* и *-kan* в качестве словообразовательных[4]. Однако, с другой стороны, и европейские, и индонезийские авторы приравнивают эти суффиксы к предлогам со значениями «в», «на», «о», «относительно», «для»; получается, таким образом, что суффиксы, именуемые словообразовательными, оказываются аналогичными по функции предлогам, призванным осуществлять синтаксические связи слов в предложении. Видимо, при отнесении этих суффиксов в разряд словообразовательных аффиксов не учитываются какие-то их существенные черты. В настоящей статье мы остановимся именно на этих чертах, специфичных для грамматического строя индонезийского языка и сближающих его с такими языками, как яванский, сунданский, тагальский.

Суффикс *-kan* употребляется в современном языке в двух основных функциях: для образования побудительного глагола и в функции указателя переходности глагола. В побудительном значении суффикс *-kan* выступает в составе глаголов, подобных русск. *побелить*, *отправить*, *обрадовать* и т. п.: *memutihkan* «белить» (*putih* «белый»), *merusakkan* «разрушить, испортить» (*rusak* «разрушиться, разрушенный; испортиться, испорченный»), *membimbangkan* «беспокоить» (*bimbang* «беспокойный, беспокоиться»), *menaklukkan* «покорить» (*takluk* «покориться»). Поскольку

[4] Например, в грамматике С. А. Мееса суффиксы *-i*, *-kan* рассматриваются как «постоянные, или словообразовательные», аффиксы, входящие в состав основы переходного глагола. См.: C. A. M e e s, Tatabahasa Indonesia, tjet. ke-6, Djakarta — Groningen, 1957, стр. 171—180, 188—189. Ср. также: M. G. E m e i s, Het maleische flexie-type, «Bijdragen voor taal-, land- en volkenkunde», d. 109, 4, 1953. Эмейс, отмечая случаи несовпадения категорий переходности в малайском и европейских языках, называет эти случаи «чуждыми» и не уделяет им специального внимания.

при этом создается слово с новым значением —переходный глагол—от корнеслов других классов, то здесь вполне можно говорить о словообразовательном процессе. Все такие глаголы являются переходными; например: «Itulah jang membimbangkan hatiku» (Moeis, Surapati) «Вот что беспокоит меня (буквально: заставляет беспокоиться мое сердце)»; «Tamara telah menaklukkan semua musuhnja» (Soekarno, Sarinah) «Тамара покорила (буквально: заставила покориться) всех своих врагов».

Переходность глагола в индонезийском языке охватывает различные виды отношения объектов к действию.

1. Суффикс *-kan* либо сообщает глаголу переходность, либо подчеркивает наличие при глаголе-сказуемом прямого дополнения; семантика при этом не изменяется. Сюда относятся и те случаи, в которых суффикс *-kan* приравнивают к предлогам *akan* «к», «по направлению» и *tentang* «о», «относительно». Примеры: «Ia sangat membanggakan dirinja, rumah tangganja, suaminja» (Soekarno, Sarinah) «Она очень гордилась собой, своим хозяйством, своим мужем» (*bangga* «быть гордым», *membanggakan* «гордиться чем-либо»); «Itulah kata-kata jang adinda nantikan dari mulut kanda» (Moeis, Surapati) «Вот те слова, которых я ожидала из ваших уст» (*nanti*, *menanti* «ждать» — переходн. и непереход., *menantikan* «ждать чего-либо», *nantikan*, *dinantikan* — страдат. залог от *menantikan*); «Keelokan, keramaian, kepelesiran kota Djakarta jang ramai itu ditjeriterakannja belaka» (Iskandar, Salah pilih) «Он рассказывал о всех красотах, веселье и развлечениях шумной Джакарты» (*tjeritera* «рассказ», *bertjeritera* «рассказывать» — непереходный глагол, *mentjeriterakan* «рассказывать о чем-либо»— *ditjeriterakan* страдат. залог от *mentjeriterakan*).

2. Суффикс *-kan* может выражать ряд специфических отношений между действием и объектом, не охватываемых категорией переходности в индоевропейских языках. Так, он может показывать, что к глаголу относится существительное, выступающее в функции подлежащего или прямого дополнения и обозначающее в предложении то лицо, для которого или в интересах которого совершается действие. Использование суффикса *-kan* в этом значении свойственно сравнительно небольшому кругу глаголов, хотя среди них есть и весьма употребительные, такие, как *mengambil* «брать, приносить», *membuka* «открывать», *membeli* «покупать», *mentjari* «искать», *mengangkat* «поднимать» и др. Примеры: «Pernah aku dibelikan pamanku sebuah tjelana dril, berwarna biru tua» (Nasjah, Pai Bengal) «Однажды мой дядя купил для меня парусиновые брюки синего цвета»; «Masing-masing ditjarikan pekerdjaan jang sesuai dengan keadaannja dan kekuatan tubuh» (Iskandar, Mutiara) «Для каждой (женщины) подыскали работу, соответствующую ее положению и силам».

На практике встречаются такие случаи, когда лицо, для которого совершается действие, в предложении не называется, и тем не менее суффикс *-kan* присутствует [5]. Анализ контекста таких предложений, однако, показывает, что в нем всегда содержится указание на какое-то лицо, для которого совершается действие. Следовательно, суффикс *-kan* здесь сохраняет указанное свое значение; например: «Memang seorang jang beruntung si Manan itu. Orang tuanja dapat membelikan apa jang dimintanja» (Pai Bengal) «Настоящий счастливец этот Манан. Родители могут купить [ему] все, что ни попросит»; «Laki-laki inilah jang mengambilkan saputangan mereka kalau saputangannja djatuh, laki-laki inilah mengangkatkan kursi, kalau mereka hendak duduk» (Soekarno, Sarinah) «Эти мужчины по-

[5] Это один из ряда случаев, которые, по-видимому, имеют в виду авторы грамматик, говоря, что *-kan* может присоединяться к глаголу просто для благозвучия, без изменения смысла глагола.

дают [им, т. е. женщинам] носовой платок, если платок [у них] упал, эти мужчины пододвигают [им] стул, если они хотят сесть».

3. Суффикс *-kan* указывает на то, что к данному глаголу может относиться дополнение с орудийным значением; в этом случае *-kan* часто бывает по своему значению близок к предлогу *dengan* «с». Название орудия действия в высказывании может нести на себе большее — по сравнению с другими объектами — логическое ударение. Тогда оно выступает как член, непосредственно связанный с глаголом: как подлежащее или как прямое дополнение. Суффикс *-kan*, указывающий на этот вид переходности, может использоваться в глаголах как действительного, так и страдательного залогов; например: «Ajah djanda Abdulgani menasihati anaknja agar uang itu segera dibelikan sawah» (Dimyati, Manusia dan peristiwa) «Отец вдовы Абдулгани посоветовал своей дочери сразу же купить на эти деньги рисовое поле» [*beli* «покупать»— *membeli* «покупать» — *membelikan* (*uang*) «истратить (деньги)»]; «Tiada sebarang orang pandai menembakkan meriam penangkis kapal udara» (Harahap, Ilmu Bahasa Indonesia) «Не всякий человек сумеет стрелять из зенитного орудия» (*tembak*, *menembak* «стрелять» — *menembakkan* «стрелять из чего, чем» — *menembaki* «обстреливать»).

Суффикс *-i*, как и суффикс *-kan*, может выступать в качестве словообразовательного и словоизменительного форманта. В первом случае при помощи его от неглагольных частей речи образуются переходные глаголы, в частности глаголы с побудительным значением; например: *menguliti* «обдирать кожу, шкуру; переплетать» (*kulit* «кожа, шкура; обложка»), *mengepalai* «возглавлять» (*kepala* «голова»), *membasahi* «смачивать, мочить» (*basah* «мокрый»).

Как словообразовательный аффикс суффикс *-i* намного менее продуктивен, чем суффикс *-kan*. В основном он употребляется для выражения синтаксических отношений между глаголом и существительным в предложении; можно различить две основные функции суффикса *-i*.

1. В глаголах, образованных от корней со значением предмета, качества или состояния, *-i* указывает на переходность действия или на направленность состояния субъекта на какой-то предмет; например: «Barang-barang luar negeri tampak telah membandjiri toko-toko» (Toer, Bekasi) «Появились иностранные товары, наводнившие магазины» (*bandjir* «наводнение» — *membandjir* «выйти из берегов» — *membandjiri* «наводнять, заливать»); «Kita telah dapat menguasai keradjaan Mataram» (Moeis, Surapati) «Нам уже удалось овладеть княжеством Матарам» (*kuasa* «власть»— *berkuasa* «иметь власть, стоять у власти» — *menguasai* «властвовать над, овладеть»).

В этом случае суффикс *-i* сближается с суффиксом *-kan*, отличающим переходный глагол от непереходного. Близость обоих суффиксов выражается в том, что от одного корня при помощи этих суффиксов могут быть образованы параллельные взаимозаменяющиеся производные с одним и тем же значением; *menamai* — *menamakan* «называть» (*nama* «имя»), *melindungi* — *melindungkan* «укрывать, защищать» (*lindung* «кров, защита»), *menghalangi* — *menghalangkan* «препятствовать» (*halang* «препятствие»).

2. В глаголах, образованных от глагольных корней, суффикс *-i* уточняет характер переходности, а именно, указывает на наличие объекта, являющегося местом приложения действия; например: «Pertama-tama mereka menembaki pertahanan terdepan» (Toer, Bekasi) «Прежде всего они обстреляли переднюю линию обороны»; «Ditanjainja hatinja: Beginikah manusia ini?» (Hadi dan Ahmad, Dipersimpangan) «Она спрашивала у своего сердца: неужели люди таковы?».

Таким глаголам на *-i* обычно противопоставляются глаголы на *-kan*, требующие объекта с инструментальным значением; например: *mengirimi* (*ibu*) «посылать (матери)» — *mengirimkan* (*surat*) «посылать (письмо)»; *menanjai* (*ibu*) «спрашивать у (матери)» — *menanjakan* (*pertajaan*) «спрашивать (вопрос)»; *memukuli* (*andjing*) «бить (собаку)» — *memukulkan* (*tongkat*) «бить (палкой)».

При сопоставлении подобных пар глаголов становятся очевидными различия в их синтаксических связях: при глаголе на *-i* осуществляется связь с объектом, представляющим собой место приложения или направления действия; при глаголе на *-kan* имеется связь с объектом, приводимым в действие как орудие. При глаголе, включающем в себя тот или иной суффикс, соответствующий объект будет выражаться именным членом, имеющим прямую синтаксическую связь с глаголом,— подлежащим или прямым дополнением. Из этого можно сделать вывод, что суффиксы *-i* и *-kan* служат здесь для выражения синтаксических связей между словами в предложении. Сюда следует присовокупить и те случаи, когда *-kan* присоединяется к переходному глаголу для выражения направленности действия на заинтересованное лицо.

В отдельных случаях от одного корня образуются три переходных глагола, различающихся суффиксальным оформлением и неодинаковыми связями с объектом. Таковы: *menembak* «стрелять, застрелить» (переход. и непереход.)— *menembaki* «стрелять по чему-либо» — *menembakkan* «стрелять из чего-либо, при помощи чего-либо» (корень *tembak*); *membeli* «покупать что-либо» — *membelikan* «покупать для кого-либо; покупать на что-либо (на деньги)» (корень *beli*; по существу он образует с суффиксом *-kan* два глагола, с разными значениями); *memberi* «дать что-либо»— *memberikan* «дать что-либо» (если имеется косвенный объект) — *memberi*[6] «дать кому-либо» (корень *beri*).

Итак, глагольные суффиксы *-i* и *-kan* присоединяются к глаголу для уточнения того, как относится выражаемое глаголом действие к лицу или предмету, на которое оно направлено,— как к орудию, как к месту приложения действия, как к объекту, который заинтересован в результатах действия, и т. п. Отношения такого рода есть отношения синтаксические; основное лексическое значение глагола при этом остается неизменным.

В разных языках подобные синтаксические отношения выражаются по-разному: например, в русском они выражаются способом управления, предложного или беспредложного, в английском — при помощи предлогов. Проводимое в большинстве индонезийских грамматик приравнение глагольных суффиксов по их значению к предлогам лишь подтверждает, что суть выражаемых отношений здесь та же, что и в английском и русском языках,— синтаксическая. Необходимо, таким образом, признать, что в индонезийском языке для выражения данного типа синтаксических отношений существует особый способ—способ изменения суффиксального оформления глагола, который используется в языке наряду с предложной связью и примыканием. Суть этого способа состоит в том, что глагол изменяет свою форму, принимая суффикс, а существительное-дополнение своей формы не меняет, так как существительное вообще не склоняется в индонезийском языке. Такой способ выражения глагольно-объектных отношений представляется противоположным способу глагольного управления, при котором изменяется не глагол, а падежная форма существительного, и применяется он тогда, когда в высказывании нужно подчеркнуть определенный тип объекта.

---

[6] В ряде индонезийских грамматик глагол *memberi* рассматривается как включивший в себя суффикс *-i*, который слился с конечным *-i* корня *beri*.

Этот способ имеет аналогию в родственных индонезийскому яванском, сунданском, тагальском языках. Можно думать, что он составляет особенность грамматического строя индонезийского и близких к нему языков.

Итак, основные значения глагольных суффиксов лежат в плоскости выражения направленности действия на объект, т. е. переходности глагола в различных ее проявлениях (переходность глагола с побудительным значением, направленность действия на прямой объект, а также на объект, являющийся или заинтересованным лицом, или орудием, или местом приложения действия). Вспомним, что основные значения глагольных префиксов, как было показано ранее, сводятся к указанию на характер связи между подлежащим и глаголом-сказуемым. Следовательно, при помощи префиксов и суффиксов, которые в совокупности образуют единую систему, выражаются субъектно-объектные отношения между словами в индонезийском предложении. Внутри этой системы префиксы и суффиксы с точки зрения грамматики лежат как бы на разных уровнях.

Если сопоставить синтаксические (залоговые) функции префиксов и синтаксические функции суффиксов, то можно видеть, что префиксы, образующие грамматические (залоговые) формы, полностью синтаксичны: они указывают на отношения между подлежащим и сказуемым при полном безразличии к лексическому значению слова. Суффиксы же выражают синтаксические связи между словами с учетом их лексических значений, тем самым передавая смысловые отношения между понятиями действия и его объектов. В составе форм страдательного залога суффиксы выглядят индифферентными к синтаксическим связям глагола: последний как бы включает в свое лексическое значение тот или иной оттенок значения переходности.

Формально различие в степени грамматичности между префиксами и суффиксами находит отражение в том факте, что от любого глагола, уже имеющего суффиксы *-i* или *-kan*, могут быть образованы формы и действительного, и страдательного залогов (противопоставленные формы с префиксами *me-* и *di-*), в то время как далеко не к каждому глаголу с залоговым префиксом можно присоединять и тот, и другой суффикс для выражения различных оттенков переходности; например *memindahkan* (от *pindah*) «переселяться», *mendengarkan* (от *dengar* «слышать») «прислушиваться, слушать» не имеют противопоставленных форм на *-i*, а *menemani* (*teman*) «сопровождать (товарища)», *diketahui* (от *ke+tahu* «знать») «быть известным»,— форм на *-kan*.

*

Как было показано, одни и те же глагольные аффиксы выполняют наряду с синтаксическими и словообразовательные функции. С другой стороны, мы отмечали, что каждый аффикс представляет собой единую морфему, имеющую единое основное значение. Согласовать эти два положения между собой можно только в том случае, если постараться увидеть самобытные особенности грамматического строя индонезийского языка, в данном случае — особые черты процессов глагольного словообразования и словоизменения. В известных нам работах по индонезийской грамматике этот теоретический вопрос не затрагивается, хотя некоторые авторы практически делят глагольные аффиксы на словообразовательные и словоизменительные [7].

Особенности словообразовательного и словоизменительного процессов

[7] См. C. A. M e e s, указ. соч., стр. 188—189.

в индонезийском языке состоят в том, что оба эти процесса тесно переплетаются и взаимодействуют друг с другом. Формально выраженных различий, которые помогли бы провести между ними грань, здесь не прослеживается. Выше, отделяя для каждого аффикса его синтаксические функции от словообразовательных, мы пользовались семантическим критерием: если производное слово имеет новое, отличное от основы лексическое значение, передает новое понятие, то имеется налицо словообразование; если же значение слова при прибавлении аффикса не меняется, приобретая лишь новые грамматические свойства (связанные в индонезийском языке с выражением синтаксических отношений между словами в предложении), то здесь следует говорить не о словообразовании, а о словоизменении. Однако взаимодействие словообразования со словоизменением этим не исчерпывается. Выше уже говорилось о двух функциях префиксов (см. стр. 106). К сказанному можно добавить еще некоторые примеры. Так, не может быть сомнения в том, что префиксы *me-* и *ber-*, образуя непереходные глаголы от имен и прилагательных, выполняют словообразовательную функцию. В то же время свойство этих глаголов быть непереходными имеет синтаксическую значимость, будучи непосредственно связано с их отношением к залоговым изменениям, происходящим, несомненно, на грамматическом уровне. Иными словами, один и тот же акт аффиксации, в зависимости от того, в какой связи он рассматривается, имеет и словообразовательную, и синтаксическую сторону.

Возьмем другой пример. Выше было показано, что суффиксы *-i* и *-kan* в составе определенных глаголов выполняют синтаксическую функцию, дифференцируя отношения действия к объекту. Однако по сравнению с префиксами, образующими формы действительного и страдательного залогов, эти суффиксы обладают меньшей степенью абстракции, находясь ближе к области лексических образований. Они являются основообразующими аффиксами, создавая основы, от которых образуются залоговые формы. С точки зрения грамматической категории залога граница между синтаксическими и словообразовательными функциями суффиксов представляется несущественной, хотя с точки зрения лексического значения и синтаксических связей глагола она, как было показано выше, существует. И здесь один и тот же акт аффиксации, в зависимости от того, с какой стороны на него смотреть, обнаруживает то словообразовательные, то синтаксические функции. Подобно этим четырем самым употребительным и продуктивным аффиксам, в каждом случае аффиксального словообразования можно обнаружить синтаксическую сторону (связанную с выражением субъектно-объектных отношений).

Эти две стороны процесса аффиксации в каждом слове дополняют описанную выше способность каждого глагольного аффикса выполнять и словообразовательную, и синтаксическую функцию в составе различных слов. Две эти черты именно и характеризуют индонезийскую глагольную аффиксацию как процесс особого свойства, в котором органически переплетаются явления словообразовательного и синтаксического порядка. Представляется, что учет именно этих фактов поможет изучить и описать грамматический строй индонезийского языка в соответствии с его внутренними закономерностями и собственной системой, не подчиняя такое описание индоевропейской грамматической схеме, в которой словообразование и словоизменение составляют две отчетливо разграниченные сферы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1963

Э. А. МАКАЕВ

СТРУКТУРА СЛОВА В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕЙШИХ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ

§ 0.0. В литературе по германистике вплоть до настоящего времени уделялось мало внимания описанию и анализу особенностей структуры слова в древних германских языках, исследованию их просодических (или супрасегментных) особенностей, а также возможности на основе внутренней и сравнительной реконструкции воссоздать структуру слова и его просодические отличительные признаки в общегерманскую эпоху. В данной работе предпринята попытка описания просодических, фономорфологических и ритмических характеристик слова в языке древнейших рунических надписей. Характеристика вышеозначенных особенностей с неизбежностью будет носить фрагментарный характер, так как материал древнейших рунических надписей в ряде случаев лишает исследователя возможности дать исчерпывающий анализ, а явно недостаточная разработанность проблем, связанных с выяснением структуры слова в индоевропейских и германских языках [1], весьма затрудняет построение дедуктивной теории (хотя бы в плане рабочей гипотезы), которая могла бы отвечать требованиям полного, внутренне непротиворечивого и наиболее экономного описания выбранного исследователем объекта.

§ 0.1. Язык древнейших рунических надписей охватывает период примерно от III до VII вв. н. э. Представляется целесообразным предпослать анализу языковых особенностей рунических надписей этого периода характеристику рунического языка в терминах древнегерманской ареальной лингвистики, т. е. выяснить соотношение языка древнейших рунических надписей, с одной стороны, с общегерманским языком, а с другой — с восточногерманским, скандинавским и западногерманским ареалами. Предлагается, в виде предварительной теории, следующее решение данного вопроса.

§ 0.2. Древнейшие рунические надписи, найденные на территории Дании и Норвегии, за исключением формы личного местоимения 1-го лица *ek*, не содержат никаких данных, которые позволили бы установить в данных надписях наличие языковых особенностей скандинавского (или северогерманского) ареала. В языковом отношении эти надписи могут быть в равной мере отнесены (при соблюдении синхронной соотнесенности) к скандинавскому или к западному ареалу [2]. Вопрос о «готских» рунических надписях в настоящее время требует новой постановки. К. Марстрандер пытался обнаружить наличие довольно значительного количества готских рунических надписей [3]; однако языковая принадлеж-

[1] Небольшая, но любопытная работа Х. Пиппинга (H. P i p p i n g, Sandhierscheinungen in Runeninschriften, «Neuphilologische Mitteilungen», XI, 8, 1909) посвящена руническим надписям эпохи викингов и не затрагивает темы данной работы.

[2] См. H. A r n t z, H. Z e i s s, Die einheimischen Runendenkmäler des Festlandes, Leipzig, 1939, стр. 19—41.

[3] C. M a r s t r a n d e r, De gotiske runeminnesmerker, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», III, 1929.

ность многих из этих надписей остается неясной из-за фрагментарности дошедшего до нас материала и трудностей, связанных с его интерпретацией. Есть основания полагать, что некоторые «готские» рунические надписи, например надпись из Ковеля, которая обычно транскрибируется как *tilariþs*[4] (синкопа *-a* и конечное глухое *-s*<*tilariþaz* обычно считаются несомненными признаками ее готского происхождения), на самом деле являются вовсе не германскими, а, возможно, иллирийскими, а данная форма соответственно читается как *tilarios* и обозначает иллирийское имя собственное в им. падеже ед. числа. Тем самым, за вычетом спорных и сомнительных «готских» или восточногерманских надписей, остается два ареала: скандинавский и западный. Можно предполагать, что после выделения из общегерманского состояния восточногерманского ареала германская языковая общность была представлена двумя ареалами: западным и восточным.

Именно на основе языковых особенностей западного ареала стало формироваться своеобразное литературное койне, первый в истории германских языков литературный вариант, представленный древнейшими руническими надписями. В дальнейшем, во всяком случае не ранее III—IV вв. н. э., из западного ареала вычленилась группа диалектов, давшая основание для конституирования ингвеонской языковой области, что повлекло обособление и дальнейшее самостоятельное развитие как скандинавского, так и западногерманского ареала. Язык древнейших рунических надписей отражает языковое состояние западного ареала германской языковой общности до последовавшего позднее членения; тем самым находит свое объяснение то обстоятельство, что некоторые исследователи пытались в языке древнейших рунических надписей, которые, согласно утвердившейся точке зрения [5], рассматривались как праскандинавские (или прасеверные), обнаружить элементы западногерманских языковых особенностей. Можно указать на О. фон Фрисена [6], который в обширном исследовании пробовал найти значительный западногерманский инфильтрат в области рунической ономастики; можно указать на К. Марстрандера и А. И. Смирницкого [7], которые старались выявить некоторые фономорфологические западногерманские языковые черты в древнейших рунических надписях, например форматив *-o* в им. падеже ед. числа муж. рода в именах собственных: *Fino* (Берга); *Hariso* (Химлингойе), *Aluko* (Ферде), который со скандинавской точки зрения должен рассматриваться как форматив им. падежа ед. числа жен. рода.

Объяснение того обстоятельства, что в основу рунического койне лег именно западный диалектный вариант, а не восточный, лежит, по всей вероятности, в том, что, как признается большинством исследователей в настоящее время [8], руническое письмо распространилось в германском ареале западным, а не восточным путем.

[4] G. Must, The inscription on the spearhead of Kovel, «Language», XXXI, 4 (pt. 1), 1955.

[5] См.: A. Jóhannesson, Grammatik der urnordischen Runeninschriften, Heidelberg, 1923; A. Noreen, Altnordische Grammatik, I, Anhang — Die wichtigsten urnordischen Runeninschriften, Halle, 1923; S. Gutenbrunner, Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen, Heidelberg, 1951.

[6] O. von Friesen, Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden («Uppsala universitets årsskrift»: filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper, 4), Uppsala, 1924.

[7] C. Marstrander, De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet, I (отд. отт. из «Viking», [Oslo]), 1952; А. И. Смирницкий, Что обозначают руны *á* и *o* в исходе именительного падежа единственного числа основ на *-n-* в старших северных рунических надписях? «Вестник МГУ», Серия обществ. наук, 1957, 2.

[8] См.: R. Elliott, Runes, Manchester, 1959; H. Arntz, Handbuch der Runenkunde, Halle, 1944; E. Moltke, Er runeskriften opstået i Danmark?, сб. «Fra Nationalmuseets arbejdsmark», København, 1951.

§ 1. Оформление слова как особой структурной единицы в руническом койне имеет ряд отличительных признаков, позволяющих дать интерпретацию данной структурной единице как со сравнительно-исторической, так и с типологической точки зрения.

§ 2. Ритмико-акцентная характеристика рунического слова определялась следующими конститутивными признаками: а) наличием и строгим соблюдением принципов германской аллитерации, маркировавшей начальные элементы (гласные и согласные) ударного слога. Следует, однако, оговорить, что данный принцип распространялся лишь на метрически релевантные отрезки в руническом койне, т. е. на поэтические отрезки; б) наличием акцентной характеристики слога, в которой в порядке возрастающей шкалы можно выделить следующие фазы: слог (или, чаще всего, элемент фонетического слова), акцентно равный нулю; акцентно-слабый слог, акцентно-полусильный слог (по терминологии А. Кока, «infortis») и акцентно-сильный слог; в) наличием гласных полного образования, а также долгих и кратких гласных в акцентно-сильных и в акцентно-слабых слогах, дистрибуция которых имела структурную релевантность не только для метрики, но и для системы языка. Представляется необходимым более подробно остановиться на данной особенности.

§ 2.1. В отношении метрики (или поэтических отрезков) следует иметь в виду, что дистрибуция кратких и долгих слогов (долгих, естественно, naturā et positione) в составе рунического слова в общем следует принципам метрической схемы, элементы которой для индоевропейского поэтического языка постулировались Ф. де Соссюром, Я. Вакернагелем, К. Марстрандером и Ф. Шпехтом [9]. Как было впервые обнаружено Ф. де Соссюром [10], для индоевропейского поэтического языка было характерно чередование долгих и кратких слогов и, тем самым, стремление избегать скопления кратких слогов. Если обратиться к руническому койне, то возможно обнаружить в некоторых рунических надписях соблюдение общеиндоевропейских принципов; ср. в надписи на Золотом роге из Галлехуса *ek hlewagastiR holtijaR horna tawido* «Я, Хлевагастиз из рода Холтиев, рог сотворил»; ср. в надписи из Кьелевига: *hadulaikaR. ek hagustadaR hlaaiwido magu minino* «Хадулайказ. Я, Хагуста(ль)даз, похоронил моего сына [11]». Можно, следовательно, полагать, что в руническом койне сохранялись некоторые приемы структурного оформления слова, характерного для индоевропейского поэтического языка.

§ 2.2. В отношении системы языка дистрибуция долгих и кратких слогов в составе слова имела существенные последствия для тех фономорфологических процессов, которые описываются как закон Зиверса — Эджертона. Следует указать на то, что рефлексы данного закона в рунических надписях до сих пор не привлекали внимания исследователей, а в то же время в руническом койне наблюдается ряд отклонений от действия данного закона, требующих особого объяснения. Так, чередование /i/ и /ij/, регулируемое структурой предшествующего долгого или краткого слога, в рунических надписях представляет следующую картину: а) после дол-

[9] F. de Saussure, Une loi rythmique de la langue grecque, «Recueil des publications scientifiques de F. de Saussure», Genève, 1922; J. Wackernagel, Das Dehnungsgesetz der griechischen Komposita, «Kleine Schriften», Göttingen, б. г.; его же, Indogermanische Dichtersprache, «Philologus», 95, 1943; C. Marstrander, Über den Charakter des ältesten germanischen Rhythmus, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», IV, 1930; Fr. Specht, Zur indogermanischen Sprache und Kultur, KZ, LXIV, 1—2, 1937. О соотношении метрики и акцентологии см. также: A. Schmitt, Musikalischer Akzent und antike Metrik, Münster, 1953.

[10] См. указанную в примеч. 9 работу Ф. де Соссюра.

[11] См.: A. Heusler, Deutsche Versgeschichte, I, Berlin, 1956, стр. 86; его же, Die altgermanische Dichtung, Darmstadt, 1957, стр. 73, 84, 87—88; W. P. Lehmann, The development of Germanic verse form, Austin, 1956, стр. 77—80.

гого слога /i/: *raunijaR* (Эвре Стабю); *þirbijaR* (Бармен); *makia* (Ви); *holtijaR* (Галлехус); *arbija*, *arbijano* (Тюне); б) после краткого слога /j/: *aljamarkiR* (Корстад); *harja* (Ви); *ranja* (Дамсдорф); *swabaharjaR* (Ре). Однако в ряде случаев общая закономерность нарушена; ср.: *gudija* (Нурдгуглен); в краткости предшествующего слога не приходится сомневаться; ср.: в гот. *gudja*, др.-исл. *godi* «священнослужитель, жрец», *auja* (брактеат из Скодборга и Зеланда), *harijan* (Скоэнг); *wajemariR* (Торсбьерг); *ladawarijaR* (Тервикен); *stainawarijaR* (Ре); *tojeka* (Нолебю; чтение неясно). На основании вышеприведенного материала можно было бы прийти к выводу, что закон Зиверса — Эджертона вообще не действовал в руническом койне. К этому выводу действительно приходит В. Краузе[12], указывая на то, что «написания *-ja* и *-ija-* произвольно чередуются в прасеверных надписях; ср. *SwabaharjaR*: *StainawarijaR* на камне из Ре. Данные написания не основаны на старом звуковом законе, как то раньше принималось». Таким образом, В. Краузе считает, что чередование *-ja* и *-ija-* является принадлежностью графической, а не фономорфологической системы рунического койне. Вряд ли, однако, можно согласиться с утверждением о том, что закон Зиверса — Эджертона, действовавший во всех германских языках, прекратил свое существование в руническом, получая в то же время отражение в рунической графике. Случаи типа *harja*, *alja*, с одной стороны, и *arbijano*, *raunijaR*, с другой — с непреложностью указывают на эффективность данного закона в руническом койне. Следовательно, объяснения требуют такие формы, как *stainawarijaR* и *gudija*. Что касается *stainawarijaR*, то А. Янсén указывал на возможность считать данную форму *-ij-* субститутом *-j-* [13]. В этом объяснении остается неясным, имеет ли А. Янсén в виду графические особенности данной надписи или он разделяет точку зрения В. Краузе. Исходя из соображений этимологического характера, Э. Хардинг предполагал, что *stainawarijaR* нужно транскрибировать следующим образом: *stainawārijaR* [14]; а второй компонент данного сложного слова сближался Э. Хардингом с др.-в.-нем. *wâri* «верный», др.-исл. *værr* «спокойный, дружеский». Быть может, в том же направлении следует искать объяснения *ladawarijaR* (Тервикен). С другой стороны, вполне возможно, что в формах типа *gudija*, *wajemariR*, *harijan* речь идет об известных палеографических приемах мастеров рунического письма, созданных по моделям долгосложных образований и лишь графически обобщенных в других образованиях. Колебания типа *aljamarkiR*, *harja*, *harijan* свидетельствуют, по всей вероятности, о наличии различных школ (и, следовательно, различных традиций) мастеров рунического письма, различных традиций рунической палеографии. На основании вышеизложенного можно лишь отчасти согласиться с категорическим утверждением К. Марстрандера: «Совершенно неверно, что написание *-ija-* обязательно предполагает наличие предшествующего долгого слога» [15]. Если закон Зиверса — Эджертона вообще не действовал в руническом койне, то тогда остается совершенно непонятным, чем было вызвано чередование *-ja-* и *-ija-* в многочисленных вышеприведенных примерах. К. Марстрандер прав в том, что в рунических надписях рефлексы данного закона не получали однозначного графического отображения. Сам К. Марстрандер взвешивает возможность интерпретации *gudija* как

[12] W. Krause, Runeninschriften im älteren Futhark, Halle, 1937, стр. 570/148.
[13] A. Janzén, De fornvästnordiska personnamnen, «Nordisk kultur», VII, Stockholm — Oslo — København, 1947, стр. 101.
[14] E. Harding, Språkvetenskapliga problem i ny belysning, I, Lund, 1937, стр. 52 и сл.
[15] C. Marstrander, Rosselandssteinen, «Universitetets i Bergen Årbok», 1951, стр. 29; его же, De nordiske runeinnskrifter..., I, стр. 41.

gundija, но в таком случае данная форма не может быть выведена из**gunþija*, ибо др.-норв. *Gunni* предполагает *gunþi*. Следовательно, пестрота в графическом отображении рефлексов закона Зиверса — Эджертона в руническом койне свидетельствует не об эффективности или неэффективности данного закона в языке рунических надписей, но о том, что собственно лингвистическая сторона проблемы в данном случае отягощена соображениями палеографического характера.

§ 3. К вопросу о готском *þrije*. Особого рассмотрения требует вопрос о руническом числительном *þrijoR* (Тюне) «три» (им. падеж мн. числа жен. рода) и готской форме *þrije*. В сравнительной грамматике германских языков форма готского род. падежа числительного «три» *þrije* не получила удовлетворительного объяснения [16]. На фонологическом уровне следовало бы ожидать **þriddje* с закономерным рефлексом закона Хольцмана; ср. гот. *twaddje* «два», др.-исл. *tveggja*, др.-в.-нем. *zweio*, общегерм. *twajjōn* и др.-исл. *þriggja* «три», др.-в.-нем. *drîo*, общегерм. *þrijjōn*. Остается неясным отсутствие симметричного построения в готском языке: гот. *twaddje*, но *þrije* при др.-исл. *tveggja*, *þriggja*. Объяснение данной аномалии в готском языке, предложенное Р. Траутманом [17], является совершенно неудовлетворительным. Р. Траутман исходит при анализе гот. *þrije* и др.-исл. *þriggja* из германских акцентных отношений, считая вместе с Г. Бехтелем, что действие закона Хольцмана сказывалось лишь в том случае, когда акцент падал на слог, следовавший за /i/ и за /u/. Не говоря уже о том, что данная интерпретация наталкивается на ряд непреодолимых затруднений, как раз в отношении гот. *þrije* индоевропейский материал, приводимый Р. Траутманом, свидетельствует против его объяснения; ср. др.-исл. *þriggja*, греч. τριῶν; ср. гот. *þrije*, др.-инд. (вед.) *trīnā́m*. Р. Траутман в данном случае не учитывает литовской формы, но литов. *trijų̃* [18] в согласии с данными древнеиндийского [19] и греческого языков свидетельствует об окситонезе в общеиндоевропейском.

В этом плане вряд ли доказательно указание Р. Траутмана на то, что гот. *þrije* возникло из герм. **trīōn* (очевидно, * *þrīǭ*?). Поэтому представляется желательным найти иное объяснение гот. *þrije*. Весьма инструктивно сравнение с древнеисландским языком и соположение формы количественного и порядкового числительного. Ср. др.-исл. *þriggja* и *þriðja* «третий» (род. падеж). Следовательно, формы количественного и порядкового числительного были четко дифференцированы. Иначе обстояло дело в готском языке, в котором засвидетельствованы следующие формы порядкового числительного «три» [20]: муж. род им. падеж *þridja*, дат. падеж *þridjin*, вин. падеж *þridjan*, жен. род им. падеж *þridjo*, сред. род (в наречной функции) *þridjo* «в-третьих». Форма род. падежа мн. числа **þridje* не засвидетельствована, но ее структурное оформление не вызывает никаких сомнений. В том случае, если бы в гот. *þrije* оказался реализованным рефлекс закона Хольцмана, мы должны были бы иметь одну и ту же форму **þriddje* (и * *þridje*) для количественного и порядкового числительного. То, что фонологическое развитие *-jj* в др.-исл. */-ggj/* и в гот. */-ddj/* имело различные последствия, объясняет н а-

[16] Ср. E. Kieckers, Handbuch der vergleichenden gotischen Grammatik, München, 1960, стр. 174—175; W. Krause, Handbuch des Gotischen. München, 1953, стр. 178.

[17] R. Trautmann, Germanische Lautgesetze in ihrem sprachgeschichtlichen Verhältnis, Kirchhain, 1906, стр. 48.

[18] J. Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir formos, Vilnius, 1957, стр. 142.

[19] J. Wackernagel — A. Debrunner. Altindische Grammatik, III, 1930, Göttingen, стр. 346.

[20] M. Jellinek, Geschichte der gotischen Sprache, Berlin — Leipzig, 1926, стр. 141.

личие формы с рефлексом закона Хольцмана в др.-исл. *þriggja* и отсутствие формы с рефлексом закона Хольцмана в гот. *þrije*. Следовательно, ведущими здесь оказались морфологические факторы, которые определили структурный облик гот. *þrije*, являющегося на уровне фонологии аномальным образованием, но совершенно оправданным образованием на уровне морфологии.

§ 4. Характеристика слова как особой структурной единицы в руническом койне может определяться конститутивными признаками одного (именно лексического) уровня, а также определенным набором констант различных уровней: руническое слово характеризуется на уровне фонемики значительной автономностью слога, на уровне морфемики — предельной четкостью морфемной членимости, наличием прозрачных морфемных швов, что имеет следствием значительное сокращение морфемных пограничных сигналов, которые становятся избыточными. Абсолютное начало и абсолютный конец рунического слова (т. е. переход от паузы к ритмической группе и переход от ритмической группы к паузе[21]) характеризовались в основном набором одних и тех же фонем, однако с некоторыми существенными ограничениями.

§ 5. Фонема-графема /*R*/ имела следующую дистрибуцию: 1) она допускалась в абсолютном исходе слова, а также 2) допускалась в интервокальной позиции, но была 3) недопустима в начале слова, 4) допускалась после согласного, но не перед согласным. Ниже даются примеры на все вышеуказанные позиции: 1) *raunijaR* (Эвре Стабю); *laukaR* (Флексанн); *halaR* (Стенстад); *sijosteR* (Тюне); *erilaR* (Линдхольм); *frawaradaR*, *slaginaR* (Мейебру); *runoR* (Чюрко); *haukoþuR* (Вонга); 2) *HraRaR* (Ре); *aRina* (Бю); *hroRaR* (Бю); *haraRaR* (Эйдсвог); 4) *tAitR* (Твейто); *...alhR* (Маглемосе; чтение неясно); *AfatR* (Истабю). На основе дистрибутивного анализа фонему-графему /*R*/ в руническом койне можно рассматривать как ограниченный односторонний отрицательный сигнал, как сигнал, отрицающий начало слова[22]. Э. Сальбергер[23] предлагает интерпретировать руническую фонему-графему /*R*/ как показатель словораздела (Worttrennungsindizium). Автор указывает на то, что примерно в 110 словах /*R*/ встречается в исходе слова и примерно в 5 словах — в интервокальной позиции. Но именно наличие /*R*/ в интервокальной позиции заставляет отдать предпочтение данному выше объяснению.

§ 6. Значительные затруднения представляет анализ /h/ в руническом койне. Несмотря на имеющееся небольшое, но обстоятельное исследование С. Эйнарссона[24], посвященное фонеме /h/ в рунических надписях, остается невыясненным наличие аллофонов у данной фонемы и их распределение в различных позициях. Кроме того, во многом неясно соотношение фонемы /h/ и графемы (H) в руническом, поскольку в отдельных случаях есть основание полагать, что графема (H) выступала или, во всяком случае, могла выступать в виде аннулятора гиата (Hiatustilger). Если можно согласиться с С. Эйнарссоном в том, что в абсолютном начале слова фонема /h/ обозначала /X/, то ее реализация в исходе слова остается неясной; ср. *aih* (Мюклебустад; интерпретация представляет

---

[21] H. Weinrich, Phonologie der Sprechpause, «Phonetica», VII, 1961, стр. 5.
[22] См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 317—318.
[23] E. Salberger, Die Runogramme der Goldbrakteaten von Väsby und Äskatorp, Lund, 1956, стр. 130—131.
[24] St. Einarsson, The value of initial *h* in primitive Norse runic inscriptions, «Arkiv för nordisk filologi», L, 1—2, 1934; см. также: M. Kristensen, Folkemål og Sproghistorie, København, 1933, стр. 65—78; H. Andersen, Om tiden for assimilationen af *ht* til *tt* «Arkiv för nordisk filologi», LXXV, 1—4, 1960, стр. 250—251.

большие затруднения); *ęih* (Оверхорнбек; написание и интерпретация неясны); в этой связи следует указать на то, что остается совершенно неясным, в какой мере в руническом сакральном слове *alu* следует принимать отпадение конечной фонемы /h/, как то в категорической форме постулируется В. Краузе [25]. Еще более неясным является вопрос о /h/ как аннуляторе гиата. Примеры, приводимые В. Краузе: *marihai* (Ви; со знаком вопроса у В. Краузе); *frohila* (брактеат из Дарума); *susihe* (Нолебю; со знаком вопроса у В. Краузе); *niuha — niuhA* (Стентофта) — все без исключения допускают столь различную интерпретацию, что не представляется возможным использовать данный материал в отношении графического обозначения гиата в рунических надписях [26]. Не представляется также возможным установить, какие аллофоны /h/ были представлены в рунических надписях в интервокальной позиции; ср.: *haha* (Стрем); *faihido* (Эйнанг); *fahi* (брактеат из Осума); *fahido* (Ре); *hariuha* (брактеат из Зеланда). Можно только предполагать на основании дальнейшей истории фонемы /h/ в скандинавских, а также и в других германских языках (но не на основании самого рунического материала), что, по всей вероятности, в руническом койне первоначально дистрибуция фонемы /h/ была одинаковой в любой позиции, а в дальнейшем, возможно, в рунических надписях переходного периода (т. е. в VII—IX вв.) в интервокальной позиции и в позиции абсолютного начала слова утвердился аллофон /h/ данной фонемы, а в позиции перед или после согласного и в абсолютном исходе слова — аллофон /x/ данной фонемы. Именно в этом переходном периоде дистрибуцию аллофонов /h/ и /x/ можно рассматривать как афонематические пограничные сигналы [27], взаимно отрицающие начало или конец слова: /h/ можно рассматривать как ограниченный односторонний отрицательный сигнал в отношении конца слова, а /x/ — как тот же сигнал в отношении начала слова.

§ 7. В связи с дистрибуцией фонем /h/ и /R/ в руническом слове и их использованием в качестве пограничных сигналов неизбежно встает вопрос о позиции нейтрализации в руническом слове. К сожалению, относящийся сюда материал древнейших рунических надписей настолько фрагментарен, что не представляется возможным сделать какие-либо общие выводы на основе данного материала. Можно указать лишь на следующие формы: *Alawid* (брактеат из Скодборга [28]); *birg* (Унедал; чтение и интерпретация данной формы и всей надписи в целом до сих пор остаются неясными; последняя попытка интерпретации данной надписи, принадлежащая Х. Андерсену [29], вряд ли может рассматриваться как дающая окончательное решение вопроса). На основании позднейших данных, относящихся к истории скандинавских языков, можно заключить, что процесс

---

[25] W. K r a u s e, Runeninschriften..., стр. 663.

[26] О *marihai* см.: C. M a r s t r a n d e r, De nordiske runeinnskrifter..., стр. 37—44; L. J a c o b s e n, E. M o l t k e, Danmarks Runeindskrifter, Text, København, 1942, стр. 243—244; о *frohila* см.: C. M a r s t r a n d e r, Rosselandssteinen..., стр. 36 (предлагается чтение *frodila* с ошибочным написанием /d/ и сопоставляется с др.-в.-нем. *Fruotilo*). В. Краузе (W. K r a u s e, Runica III, «Nachrichten der Akad. der Wissenschaften in Göttingen», I, Phil.-hist. Klasse, 9, 1961, стр. 274), по всей вероятности, не принимает предположения К. Марстрандера, ибо по-прежнему настаивает на том, что /h/ в *Frohila* является аннулятором гиата; о *susihe* см.: E. S v ä r d s t r ö m, Västergötlands runinskrifter, 3, Uppsala, 1958, стр. 92—100 (дается чтение *susih*); о *niuha-niuhaA* см.: C. M a r s t r a n d e r, De nordiske runeinnskrifter..., стр. 114—132.

[27] См. Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 302—303.

[28] О данном имени см.: E. W e s s é n, De nordiska folkstammarna i Beowulf, Stockholm, 1927, стр. 40; A. J a n z é n, The provenance of Proto-Norse personal names II, «Names», II, 3, 1954, стр. 173.

[29] H. A n d e r s e n, Opedalstenen, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XIX, 1960.

оглушения конечных звонких согласных еще не наступил в руническом койне: первые примеры оглушения конечных согласных встречаются лишь в рунических надписях переходного периода; ср. *wArb*, *ob*, *laţ*, *fokl* (рунический камень из Эггьюма). Единственным примером нейтрализации контраста глухой — звонкий в конечной позиции могли бы являться: *gibu* (брактеат из Зеланда); *gAf* (Стентофта), который можно было бы сопоставить с готским: *giban* ~ *gaf*. Но данный рунический пример оказывается призрачным, ибо форма *gAf* засвидетельствована в рунической надписи переходного периода [30]. Не приходится объяснять, что рунические надписи эпохи викингов, выполненные младшим руническим алфавитом, ничего не дают в отношении проблемы нейтрализации, ибо в них контраст глухих — звонких согласных оказался иррелевантным в самой системе графики. Следовательно, и с этой точки зрения можно прийти к выводу о том, что абсолютное начало и абсолютный конец руни-ческого слова характеризовались примерно одним и тем же набором фонем (см. § 4).

§ 8. Цементирование морфем, допускающих свободное вычленение в иерархически высшую структурную единицу — слово, могло идти различными путями в языках, в которых один и тот же набор фонем и некоторых супрасегментных признаков мог быть в акцентно-сильных и акцентно-слабых слогах. В руническом слове акцентно-сильные и акцентно-слабые слоги имели один и тот же набор фонем, и можно смело полагать, что некоторые супрасегментные черты, особенно долгота, характеризовались одинаковой дистрибуцией в акцентно-сильных и акцентно-слабых слогах; ср.: *fino*, *saligastiR* (Берга); *vidugastiR* (Сунде); *alu* (брактеат из Дарума); *faihido* (Эйнанг); *aluko* (Ферде); *tawido* (Галлехус); *runoR* (Ерсберг); *magu*, *minino*, *hlaiwido* (Кьелевиг); *ha(i)teka* (Линдхольм); *frawaradaR* (Мейебру); *runo*, *fahi*, *raginaku(n)do* (Нолебю); *ungandiR* (Нурдгуглен); *swestar minu liubu meR wage* (Унедал); *satido* (Ре); *igijon* (Стонстад); *hAborumR*, *hagestumR* (Стентофта); *leƀro* (Строруп); *ƀrawijan*, *haitinaR* (Танум); *kunimu(n)diu wurte runoR an walhakurne* (Чюрко); *wajemariR* (Торсбьерг); *wiwaR after woduride wita(n)dahalaiban worahto* (Тюне); *la(n)-dawarijaR* (Тервикен); *agilamu(n)don* (Росселанн); *haukoƀuR* (Вонга); *makia* (Ви).

В руническом койне цементирование морфем в слово осуществлялось на основе контрастного противопоставления главного и второстепенного ударения при иерархии главного ударения. В данной акцентной оппозиции маркированным членом было главное ударение, а немаркированным членом — второстепенное ударение. В рунических поэтических отрезках маркированность главного ударения находила выражение и поддержку в принципах германской аллитерации. С этой точки зрения языковые единицы, имевшие в отношении акцентной структуры лишь второстепенное ударение (так называемые служебные слова, предлоги), в руническом койне являлись частью фонетического слова и не могли рассматриваться как структурно оформленные самостоятельные единицы. Возможно, что в отдельных случаях их несамостоятельность находила даже графическое отображение; ср. *ni s solu sot* (Эггьюм); если следовать конъектуре К. Марстрандера [31], то в надписи *ek erilaR asugisalas muha haite* (Крагегуль) следует читать: *uha haite*, а (*m*) является графическим сокращенным выражением вспомогательного глагола **em/im*.

---

[30] М. Кристенсен (M. Kristensen, указ. соч., стр. 76—77) считает возможным отнести процесс оглушения звонких спирантов в конечной позиции к эпохе древнейших рунических надписей («tidlig urnordisk»).

[31] C. Marstrander, De nordiske runeinnskrifter..., стр. 30—31.

Столь значительная роль акцентного фактора в цементировании морфем в руническое слово, несомненно, связана с использованием весьма ограниченного набора морфемных и словесных пограничных сигналов. Это находит свое объяснение как в особенностях самой германской акцентной системы (наличие фиксированного ударения, закрепленного, как правило, на первом слоге слова, наличие значительного количества слогов с гласными полного образования и имевших подвиды второстепенного ударения, в связи с чем акцентный вес слова приобретал решающее значение в самой организации слова), так и в особенностях морфемного состава рунического слова, представлявшего структуру, которая могла иметь значительное количество слогов: трех-четырех-пятисложные структуры слова — обычное явление в руническом койне; ср.: *agilamu(n)don* (Росселанн); *wita(n)dahalaiban* (Тюне); *frawaradaR* (Мейебру); *kunimu(n)diu* (Чюрко); *stainawarijaR* (Ре); *hlewagastiR* (Галлехус). Тем самым организующие функции акцентного фактора в руническом слове вырисовываются со всей определенностью.

§ 9. Представляет большую познавательную ценность сопоставление приемов морфемного цементирования в руническом слове с приемами, употребляемыми в других языках и языковых семьях. Подобное соположение не только помогает контрастно оттенить приемы морфемной спайки в подлежащем описанию языке, но дает одновременно возможность определить типологию структуры слова в данном языке. Описывая явления морфемной спайки в более крупные единицы, И. А. Бодуэн де Куртенэ отмечал, что гармония гласных в туранских языках служит, так сказать, цементом, соединяющим или связывающим слоги в слова. В ариоевропейских языках эту роль соединения слогов в слове играет, прежде всего, ударение.

Оформление слова как особой структурной единицы в древнеиндийском языке имеет ряд отличительных черт, полярно противоположных приемам морфемной спайки в руническом слове. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в индийской грамматической традиции, во всяком случае в некоторых ее проявлениях, в качестве основной единицы языка исследовалось предложение [32], а слово рассматривалось как нечто вторичное, производное по отношению к предложению, как то, что искусственно вычленялось из предложения или ритмической группы. Бхартрхари в своем трактате «Vākyapadīya» указывал на то, что «в звуковой единице ее конструктивные признаки не имеют самостоятельного существования точно так же, как звуковые единицы не имеют самостоятельного существования в слове, а слова не имеют существования вне предложения» [33]. В фонетических описаниях в качестве исходной единицы выбиралась ритмическая (или «дыхательная») группа: *ekaprana — bhava* [34]. Отношение между двумя редакциями ведических текстов: «Saṃhitā», где основной единицей было предложение или ритмическая группа, и «Pada», где основной единицей было изолированное слово [35], в трактате «Ṛk-Prātiśākhya» выражено следующим образом: *saṃhitā padaprakṛtiḥ*, что делает возможной двоякую интерпретацию: или *saṃhitā* — основа *pada*, или *pada* — основа *saṃhitā* [36], однако вряд ли можно сомневаться в том, что индийскими грамматиками именно *saṃhitā* рассматривалась как основа

[32] См. W. S. Allen, Phonetics in ancient India, Oxford, 1953, стр. 9. В дальнейшем все цитаты из древнеиндийских трактатов, а также их перевод даются по данной работе; следует иметь в виду также книгу Л. Рену (L. Renou, Terminologie grammaticale du sanscrit, Paris, [1956]).

[33] W. S. Allen, указ. соч., стр. 9.

[34] Там же.

[35] Там же, стр. 10.

[36] Там же.

pada. В отношении слов как самостоятельных единиц есть прямое указание в трактате «Atharva-prātiśākhya», где говорится о том, что «изучение изолированных слов предназначено для обучения правилам начала и конца слов (т. е. правилам сандхи), их правильной формы, их тона и их значения»[37].

В этой связи следует указать на то, что явления внешнего и внутреннего сандхи (или, в иных терминах, морфемные и словесные пограничные сигналы в древнеиндийском слове) для древнеиндийских грамматистов были принципиально тождественны или, как это выражено в «Ṛk-prātiśākhya»: *apratyāmnāye padavac ca padyān* «в случае, если это не относится к противоположному, части слова следует анализировать так же, как слова»[38]. В трактате «Vājasaneyi-prātiśākhya» то же самое выражается так: avagrahaḥ padāntavat «правила, применимые к изолированным словам, относятся и к морфологическому анализу»[39]. В то же время принципиально важно, что с точки зрения типологической классификации, предложенной Н. С. Трубецким[40], к языкам, в которых морфемные и словесные пограничные сигналы тождественны, можно отнести руническое койне, в котором морфемные и словесные пограничные сигналы в основном того же порядка, но не древнеиндийский, в котором весьма значительной морфемной вариантности пограничных сигналов противостоит ограниченное количество словесных пограничных сигналов. В. Аллен разграничивает в своем обстоятельном и интересном исследовании[41] соответственно морфолексические и морфофонематические альтернации и видит причину ограничения словесных пограничных сигналов в известной слабости конечной позиции в древнеиндийском языке, что вызвано, по В. Аллену, тем, что конечные отрезки допускают в значительной степени предсказуемость последующих элементов и становятся тем самым избыточными. То, что маркирует древнеиндийское изолированное слово,— это его пограничные сигналы, сигналы абсолютного начала и конца слова. Приходится особо подчеркнуть весьма значительное количество и разнообразие пограничных сигналов в древнеиндийском слове[42].

Можно без преувеличения утверждать, что структурная оформленность слова в древнеиндийском языке в его изолированном положении создавалась наличием определенных пограничных сигналов; в несомненной связи с этим находится практика индийских лексикографов, исходивших в своих списках или из корня, или из основы, но не дававших исходную форму слова (им. падеж ед. числа), подверженную различным правилам внешнего сандхи. Весьма примечательно, что собственно акцентная характеристика слова (а в политоническом языке, каковым являлся древнеиндийский, таковой была тональная характеристика) играла значительно меньшую роль, что объяснялось не только тем, что наличие (отсутствие) одного из трех древнеиндийских тонов (удатты, анудатты, свариты) было сопряжено с характеристикой слога, а не слова, и тем самым тональная характеристика не имела и не могла иметь акцентно-организующую или кумулятивную функцию, но и тем, что наличие значительного количества словесных пограничных сигналов сужало функции тональной характеристики слова. Нетрудно заметить, что в этом отношении струк-

[37] Там же.
[38] Там же, стр. 65.
[39] Там же.
[40] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 321—325.
[41] W. S. Allen, Sandhi («Janua linguarum», XVII), 's-Gravenhage, 1962, стр. 14—19.
[42] См.: J. Wackernagel, Altindische Grammatik, I, Göttingen, 1957; F. Sommer, Zum vedischen Sandhi, «Festschrift für W. Streitberg», Heidelberg, 1924; W. S. Allen, Sandhi.

тура древнеиндийского слова полярно противоположна структуре рунического слова. На основании сравнения двух словесных структур: древнеиндийской и рунической — можно установить следующую закономерность: 1) максимальная акцентная организация слова предполагает наличие минимального количества пограничных сигналов; 2) минимальная акцентная характеристика слова предполагает наличие максимального количества пограничных сигналов.

Подтверждением данного постулата, помимо вышеприведенных соображений, является также то, что в древнеиндийском языке с акцентной точки зрения предложение и слово могли иметь тождественную характеристику[43]; это положение немыслимо и недопустимо в таких языках, как германские, в которых акцент имел словесно-организующие функции и в которых слово получило акцентно иную характеристику, чем ритмическая группа или предложение. Акцентно-структурная организация слова в германских языках, а также, насколько можно судить по поэтическим отрезкам, и в руническом койне характеризовалась наличием одного главного ударения, противопоставленного всем прочим акцентным типам. Наличие двух (и более) главных ударений уже свидетельствовало о том, что речь идет о структурах иерархически высшего порядка — о словосочетании или о фразе. Первый слог слова, как правило, являлся акцентно-кумулятивным центром структуры слова в германских языках; он являлся акцентной доминантой, по отношению к которой все прочие слоги слова с иным акцентным весом располагались в порядке нисходящей градации. Весьма примечательна и в данном случае контрастная характеристика древнеиндийского слова, которое, правда, в довольно ограниченном количестве случаев могло иметь два главных ударения (т. е. два слога с удаттой: ср. вед. *étavái* «идти», *súbhás-pátī* «господа украшения»[44]. Более подробно данные вопросы, а также проблема автономности слова рассматриваются в работе автора «Структурное оформление слова в индоевропейских языках» (рукопись).

§ 10. В языке рунических надписей переходного периода (VII—IX вв.) наблюдаются значительные преобразования структуры слова, что было подготовлено и обусловлено тем, что в силу действия различных фономорфологических факторов автономия слога уступила место контрастному противопоставлению ударных и неударных слогов с иным набором фонем и иной супрасегментной характеристикой в ударных и безударных слогах; ср.: *hAerAmAlAusR*, *bArutR* (Бьеркеторп, ср. форму *bAriutiþ* в надписи из Стентофты); *hAþuwolafR*, *hAriwolAfR* (Стентофта); *AfatR* (Истабю); *stAin*, *fiskR*, *fokl* (Эггьюм); *orte* (Бю).

Контрастное противопоставление главного и второстепенного ударения, которое в руническом койне было использовано не только при цементировании морфем в слово, но которое также обладало морфемной релевантностью, ибо, структурно оформляя слово, оно одновременно являлось показателем иерархии морфем в составе слова, продолжало сохраняться в языке рунических надписей переходного периода, но отныне уже преимущественно в функции добавочной характеристики на фоне фонемно- и морфемнорелевантного противопоставления ударных и неударных слогов[45].

[43] J. Wackernagel, Altindische Grammatik, I, стр. 292.

[44] Там же, стр. 287.

[45] В данной работе оказались вне рассмотрения два вопроса: явления эпентезы в руническом слове и фономорфологические варианты рунического слова. Эти вопросы могут получить освещение лишь на основе анализа соотношения графем и фонем, на основе лингвистической интерпретации приемов рунической палеографии, что должно стать предметом специального исследования.

§ 11. В основе вышеизложенных соображений о структуре руни-ческого слова лежало представление о том, что субстратом тех морфо-логических и фономорфологических процессов, экспонентами которых выступают морфемные и словесные пограничные сигналы, являются различные антропофонические и фонологические факторы. Известно, что явлениям внутреннего и внешнего сандхи может быть дана интерпретация как в терминах фонологии, так и в терминах морфологии[46]. Известно также, что могут быть такие явления внешнего сандхи, которые не совпадают с морфемными границами[47], что тем самым настоятельно требует их интерпретации на уровне антропофоники или фонологии, но материал древнейших рунических надписей настолько фрагментарен, что он дает возможность наиболее эффективного анализа преимущественно в фономорфологических и морфологических терминах. К этому остается добавить, что автор данной работы склонен разделять взгляд, согласно которому истинная природа пограничных сигналов, независимо от их происхождения, раскрывается лишь на уровне фономорфологии и морфологии.

---

[46] См.: I. L e h i s t e, An acoustic-phonetic study of internal open juncture, «Phonetica», V, 1960 (Suppl.); N. C h o m s k y, M. H a l l e, F. L u k o f f, On accent and juncture in English, Сб. «For Romann Jakobson», 's-Gravenhage, 1956; K. P i k e, Interpenetration of phonology, morphology and syntax «Proceedings of the 8-th International congress of linguists», Oslo, 1958; Ch. H o c k e t t, A course in modern linguistics, New York, 1958.

[47] См. W. M o u l t o n, Juncture in modern standard German, «Language», XXIII, 3, 1947.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

G. F. Meier. **Das Zéro-Problem in der Linguistik. Kritische Untersuchungen zur strukturalistischen Analyse der Relevanz sprachlicher Form.** — Berlin, Akademie Verlag, 1961 («Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 2). 249 стр.

Рецензируемая книга состоит из пяти глав. В I и III главах рассматриваются некоторые общетеоретические вопросы (знак, оппозиция, релевантность и т. д.). II, IV и V главы посвящены проблеме нуля, причем лишь в V главе автор предлагает свое решение рассматриваемой проблемы, которое автоматически вытекает из выводов, полученных в I и III главах. Несмотря на то, что бóльшую часть книги составляет разбор различных лингвистических работ (главы II, IV, значительная часть I и III глав), мы ограничимся рассмотрением лишь собственной лингвистической программы автора.

Книга Г. Майера не содержит (или почти не содержит) нового материала и была задумана как попытка дать новое освещение уже известным фактам под углом зрения теоретических взглядов автора (стр. 7, 12—13). Однако именно эти взгляды и вызывают серьезные возражения. Основным недостатком работы является то, что в ней не разделяются понятия языка и речи. В результате этого под языком фактически понимается либо процесс коммуникации в целом, либо различные части этого процесса (восприятие речевого сообщения слушателем, звуковой поток и т. д.).

Одно из определений языка у Майера связано с понятием формы. Под формой Майер понимает «все (чувственно) воспринимаемые возбуждения (отдельные возбуждения или последовательности возбуждений), которые служат членам определенного языкового коллектива для взаимного понимания» (стр. 15). Эти возбуждения выступают как средства коммуникации и приравниваются Майером к коду (стр. 23). Иными словами, форма, а следовательно, и код представляют собой звуковой поток речи, объективно воздействующий на слушателя, но не обязательно им воспринимаемый (стр. 19). Совершенно очевидно, что при таком ограничении в понимании языка автор лишь выводит означаемое из элементов, относимых им к языку, но не выходит за рамки речи.

Кроме того, под формой понимается также звуковой поток, расчлененный на отдельные означающие и на их составные части («К форме относятся, с одной стороны, звуки, звуковые последовательности, морфемы, слова, фразы, предложения, последовательности предложений, а с другой — последовательности ударений, интонаций, паузы...» — стр. 15). Следует, однако, указать, что членение и классификация формальных элементов по существу не могут быть осуществлены, так как Майер предлагает отказаться от критерия релевантности при операциях с формой. Это фактически означает отказ от анализа под определенным углом зрения и, следовательно, дает возможность выбирать любой принцип классификации, например различия в голосовых модуляциях при выделении звуков.

Понятие функции, предлагаемое в работе, которое является вторым основным понятием в языковой модели Майера, весьма противоречиво и, как нам кажется, постоянно колеблется между двумя интерпретациями. В соответствии с первой функция — это коммуникативный эффект формы. Под этим новым термином скрываются старые мысли о представлениях, понятиях, возникающих в сознании слушающего при восприятии форм (стр. 49, 53 и др.). Ясно, что такой подход не помогает решению трудностей, связанных с проблемой значения, а лишь переводит их рассмотрение в область психологии.

В соответствии со второй интерпретацией функция представляет собой не сам коммуникативный эффект, а лишь способность его вызывать, т. е. указывает на роль формы в процессе коммуникации. Эта интерпретация функции является результатом того, что из понятия формы искусственно исключается вопрос о ее использовании, что явилось следствием отрицания релевантности на уровне формы.

С указанным истолкованием функции связано определение синтагмы. Автор полагает, что тот или иной коммуника-

тивный эффект, т. е. то или иное представление, как правило, достигается не одной формой, а совместно несколькими формами. Эти формы образуют синтагму (стр. 77). В предложении *Das Kind hat kein Fleisch gegessen* формы *hat* + *gegessen* вызывают вместе представление о прошедшем времени и поэтому являются частями синтагмы — синтагмемами.

В принципе, по мнению автора, синтагмами разной длины являются сложные и производные слова, словосочетания, члены которых связаны различными отношениями, предложения, хотя по «теоретическим и технико-практическим основаниям» их обозначают разными терминами (стр. 79). Если при замене одной из синтагмем на синтагмему другой синтагмы меняется коммуникативный эффект, то эти две синтагмемы составляют парадигму и являются парадигмемами (стр. 78). Очень любопытно, что для автора достаточно наличия одного предложения, которое бы оставалось осмысленным после такой замены, чтобы считать испытуемые части парадигмемами. Так, в приведенном выше предложении *ge* (*gegessen*) оказывается находящимся в парадигматическом отношении с *ver* (*vergessen*). То, что в остальных случаях *ge* не может быть заменено на *ver* (например, *in getan*), очевидно, считается несущественным. Особое место среди синтагмем занимает предложение, которое автор считает основной единицей языка, поскольку в нем достигается полное соответствие между коммуникативным намерением и коммуникативным эффектом (стр. 166). Предложенное Майером понятие синтагмы никак нельзя признать удачным. Оно настолько неопределенно и не связано ни с какими формальными критериями, что его нельзя использовать при языковом анализе.

Противоречивое использование функции сказывается и на определении других понятий, в частности знака и языка. Язык по некоторым определениям автора включает лишь форму, по другим же — и форму, и функцию (стр. 178). Очевидно, в первом случае автор исходит из первой интерпретации функции как самого коммуникативного эффекта, а во втором — из определения функции как роли формы в речевой деятельности. Такие же несоответствия в формулировках встречаются и в отношении знака. Он приравнивается то к форме, то к форме с соответствующей функцией (синтагме).

Говоря о характеристике знака в рассматриваемой работе, необходимо добавить следующее: 1) знак понимается как выражение, указывающее на содержание, находящееся вне самого знака. Этой интерпретации соответствует мысль о том, что язык принадлежит лишь плану выражения; 2) поскольку понятие знака совпадает с ранее введенными понятиями (например, с синтагмой), оно становится излишним, на что указывает сам автор (стр. 170).

Остановимся еще на некоторых характеристиках формы и функции. Автор выделяет формы, обладающие большей или меньшей степенью самостоятельности или зависимости. Для выявления этой степени зависимости Майер предлагает различать формы, способные выступать «во многих разнообразных окружениях», и формы, появляющиеся лишь в «определенных окружениях»; далее, формы, которые связаны с «определенным типом окружения» (неясно, как понимается тип окружения), и формы, которые «встречаются только в одном окружении», но не связаны с его типом, и т. д. (стр. 44). Степени зависимостей должны быть определены статистическими методами.

Нам представляется, что в данном случае термин «зависимость» употребляется вместо термина «сочетаемость», и дело идет фактически о различии между элементами с широкой и узкой сочетаемостью, как грамматической, так и лексической. Термин «зависимость», очевидно, заимствуется у Ельмслева [1], но употребляется не для характеристики отношения между двумя членами, а для обозначения признака, присущего данному члену. Сама процедура, таким образом, не представляет ничего нового, но ее интерпретация в данной работе необычна. Дело в том, что автор предлагает ее, собственно, не для характеристики формы, а для характеристики функции. Такой подход к оценке функции дает, с одной стороны, весьма тривиальные результаты (например, утверждается, что функция формы *dannen* в немецком языке полностью зависит от взаимодействия с формой *von*, поскольку они всегда встречаются в речи вместе), а с другой стороны, из поля зрения автора выпадают неустойчивые идиоматические сочетания [2], значения членов которых действительно обусловлены окружением (например, *оставаться* в *оставаться с носом*).

Следующий вопрос, который интересует автора,— это вопрос о роли каждой формы, составляющей предложение, в общем коммуникативном эффекте. Для выявления этой роли автор предлагает особый эксперимент, применение которого иллюстрируется на примере предложения *Das Kind hat kein Fleisch gegessen*.

Автор указывает, что при нечетком произношении *da* вместо *das* не произой-

[1] Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960.

[2] См. И. А. Мельчук, О терминах «устойчивость» и «идиоматичность», ВЯ, 1960, 4.

дет существенного изменения в коммуникативном эффекте; напротив, при выпадении *Kind* фантазия слушателя может подставить на его место много других слов; далее, нечеткое произнесение *hat* может привести к тому, что оно будет интерпретировано либо как *hat*, либо как *hatte*, причем последнее не нарушит существенно смысл предложения (особенно в некоторых диалектах); при выпадении же *geg* форма *gegessen* может быть воспринята как *zu essen* и т. д.

Эти рассуждения завершаются утверждением о том, что вклад различных форм в достижение общего коммуникативного эффекта неодинаков; в связи с этим неясно, чем же определяется этот вклад, должен ли он быть выражен качественно или количественно. Поскольку автор довольно последовательно говорит о количестве слов, которые могут быть подставлены на место опущенного, можно было бы предположить, что он руководствуется вероятностью предсказания данного слова относительно остальных членов предложения (или одной части синтагмы относительно другой). Однако этому предположению противоречит стремление учитывать различия в значении между испытуемым словом и его возможными заменами. Но если даже наше первое предположение правильно, то выбор предложения как исходной точки такого анализа представляется неудачным, поскольку его применение, как нам кажется, является наиболее полезным лишь для выявления устойчивых сочетаний[3]. Напротив, вероятность предсказания слова *мальчик* относительно *мясо* и *съел* вряд ли интересна [4]. При проведении данного теста автором следует также признать отрицательным смешение разных уровней анализа (фонологического, лексического и грамматического).

Вопрос о доле функции, выражаемой отдельной формой, совершенно неожиданно приобретает новое звучание в результате того, что эта доля получает точное количественное выражение: F_1 (форма) выражает, например, $^1/_3\,S_1$, $^1/_4\,S_2$, $^1/_{15}\,S_3$ (функции). Каким образом получены эти величины? На первый взгляд кажется, что для этой цели мог бы быть использован приводимый выше тест. Однако утверждение автора относительно того, что в предложении всегда должно быть столько форм, выражающих данную функцию, чтобы сумма частей функции, приходящихся на долю каждой формы, была равна единице, противоречит нашему предположению, так как ясно, что сумма вероятностей предсказания одного члена синтагмы относительно другого лишь случайно может быть равна единице. Следовательно, предположение об использовании указанного теста отпадает. Итак, остается совершенно непонятным, каким образом могут быть получены количественные выражения функций. Кроме того, если они не являются вероятностями, то что вообще они означают? Остается только предположить, что автор действительно пытается утверждать, что, например, *hat* выражает одну треть представления о прошедшем времени, а *gegessen*— две оставшиеся трети.

Далее мы узнаем, что количество функции, приходящееся на долю формы, называется сигнальной значимостью и передается символически выражением $V = \frac{S}{F}$; позднее выясняется, что данная запись не просто символическое изображение, но дробь, служащая для определения сигнальной значимости. Например, утверждается, что если $S = 1$ и $F = 2$, то $V = {}^1/_2$.

Таким образом, автор либо отказывается от своего же настойчивого утверждения (которое делалось всего несколькими строчками выше) относительно того, что количество функции, приходящееся на долю формы, неодинаково, либо следует признать, что данная формула не может служить для определения сигнальной значимости; или, наконец, сигнальная значимость отлична от количества функции, сигнализируемого данной формой, и представляет собой некоторую среднюю величину.

Далее, автор пытается применить ту же формулу для определения сигнальной значимости частей формы, очевидно, не принимая во внимание, что значение (функция) может соотноситься лишь с целым означающим, а не с его частями. В результате у автора получается, что сигнальная значимость части формы всегда больше сигнальной значимости целой формы. Так, например, 0,05 формы при $S = 1$ могут выражать 20 единиц одной и той же функции. Абсурдность этих данных, однако, не заставляет автора отказаться от его алгебраических выкладок. Больше того, автор пользуется ими для получения своего основного доказательства неправомерности введения понятия нуля в лингвистике. Этот вывод получается при помощи следующего рассуждения: поскольку деление любого числа на нуль дает бесконечно большое число, то сигнальная значимость нулевой формы бесконечно велика, что бессмысленно, и поэтому нулевая форма не может существовать. Заметим, что при последней интерпретации сигнальной значимости автор подменяет вопрос о коли-

[3] См. И. А. Мельчук, указ. соч.

[4] Этот вопрос, наверное, имеет смысл лишь в самом общем виде: отгадывание некоторого n-го слова при известности $(n-1)$ слов (И. М. Яглом, Вероятность и информация, М., 1960, стр. 202).

честве разных форм, между которыми распределена функция, вопросом о физической протяженности звуковой последовательности (формы). Вообще понимание сигнальной значимости, предложенное в работе, не имеет лингвистического смысла и не может поэтому служить основанием для отказа от нуля в лингвистике.

К проблеме релевантности автор подходит по существу с точки зрения того, что важно для понимания языкового сообщения. Поскольку эта точка зрения многоаспектна и крайне неопределенна, понятие релевантности у автора получает самые разнообразные определения, исключая, пожалуй, только одно — определение релевантности с точки зрения языка в соссюровском понимании.

Приведем лишь два основных понимания этого вопроса у автора. В одной части работы релевантными, точнее — наиболее релевантными, считаются те звуковые варианты («формы», по терминологии автора), которые лучше всего служат целям слухового восприятия. По мнению автора, это те звуковые варианты, которые обладают наибольшей частотностью появления в речи и поэтому соответствуют речевым привычкам говорящего. Эти варианты называются фонемами (стр. 167). Выявление наиболее часто встречающихся произношений какого-либо звука представляет интерес для анализа речи; однако эта мысль не является новой в лингвистике и восходит еще к Цвирнеру [5]. Правда, последний говорил не о максимальной величине, а о среднестатистической.

Далее, утверждение автора относительно того, что те звуки, которые определяются им как фонемы, легче всего улавливаются, т. е., очевидно, обладают наибольшей вероятностью быть правильно и наиболее быстро воспринятыми (при прочих равных условиях), было бы интересным, если бы оно получило экспериментальную проверку.

В другой части работы автор подходит к определению релевантности с точки зрения того, что важно для понимания смысла передаваемого сообщения (а не его звукового восприятия). В соответствии с этой точкой зрения, более релевантными считаются те звуки или морфемы («формы»), которые с большим трудом восстанавливаются из контекста (стр. 180). Этому определению соответствует тест на релевантность, рассмотренный выше. Вариантом этого понимания является приравнивание релевантности к сигнальной значимости.

В рассматриваемой работе звуковой оппозиции придается исключительно малое значение. К этому выводу заставляют автора прийти следующие соображения. Во-первых, автор считает, что если два члена минимальной пары встречаются в совершенно разных речевых ситуациях и к тому же имеют разные грамматические показатели, то роль звуковой оппозиции в их различении минимальна (стр. 168). В связи с этим признаются лишь действительные оппозиции, т. е. те, которые различают минимальные пары, встречающиеся приблизительно в одинаковых речевых ситуациях и имеющие одинаковые грамматические показатели. Во-вторых, автор вообще придает очень малое значение парадигматическим отношениям, утверждая, что «язык с онтогенетической точки зрения почти исключительно построен синтагматически» (стр. 172).

По мнению автора, парадигматические отношения не осознаются слушателем, не получившим школьного образования (стр. 174). Физиологическим основанием этого утверждения служит мысль о том, что наше усвоение языка базируется на создании динамических стереотипов. Этот термин заимствован из физиологии Павлова и определяется как «автоматическая последовательность рефлексов, которая образовалась на основании постоянно повторяющихся последовательностей возбуждений» (стр. 164).

Однако приведенные доводы не представляются нам убедительными. Во-первых, звуковые оппозиции позволяют выявить те признаки, которыми пользуется язык для различения означающих вообще, а не двух конкретных означающих. Поэтому не имеет никакого значения то, что два слова, которые входят в звуковую оппозицию, могли бы быть омонимами, не вызывая двусмысленности при их употреблении в речи. Во-вторых, понятие динамического стереотипа, как нам представляется, не может служить доказательством ни за, ни против роли оппозиции в языке (образование как комплексных, так и простых рефлексов может быть основано на различении).

Заметим также, что это понятие применительно к языку является еще слишком неразработанным (исключение составляет лишь артикуляционный стереотип [6]), чтобы иметь доказательную силу. Кроме того, как представляется, результаты психологических опытов как раз свидетельствуют о роли различий в их образовании [7]. Едва ли также мож-

[5] О критике его определения фонемы см. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 13.

[6] Ср. Н. И. Жинкин, Механизмы речи, М., 1956.

[7] См. R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956, стр. 15. Укажем также, что использование таких раздражителей при выработке условных рефлексов, на которые условные рефлексы не должны вырабатываться, свидетельствует о роли

но считать правильными утверждения автора относительно того, что говорящим осознаются лишь стереотипы, но не оппозиции (стр. 163). Если под словом «осознается» понимается сознательное мышление, то и стереотип, и оппозиция находятся за его пределами. Разница заключается лишь в том, что при определенных условиях, на которые указывает и автор, оппозиции могут входить в сферу сознания, в то время как динамический стереотип никогда не осознается или осознается лишь частично (мускульные движения в полости рта). Итак, следует признать, что доводы автора относительно несущественности роли оппозиции в языке неубедительны.

На основании рассмотренных теоретических положений автор приходит к выводу о том, что морфемы с нулевым противопоставлений при создании этих рефлексов (см., например, М. В. Матюхина, Образование условного фотохимического рефлекса, «Изв. АПН РСФСР», 81, 1956). означающим не существуют и не могут существовать в языке. Этот вывод делается главным образом на основании двух положений: во-первых, на основе введения понятия сигнальной значимости (при помощи этого понятия автор пытается показать, что морфемы с нулевым означающим должны иметь бесконечно большое количество функций, что вряд ли можно считать серьезным) и, во-вторых, на основе признания лишь синтагматических отношений в языке и тем самым сведения роли оппозиций к минимуму (в результате чего введение морфемы с нулевым означающим лишается основания). Поскольку, как мы пытались показать, понятие сигнальной значимости не имеет смысла, а со вторым положением есть все основания не соглашаться, то отказ от нуля в лингвистике, предлагаемый в работе Майера, следует признать совершенно необоснованным.

В работе дана очень подробная библиография.

О. Н. Селиверстова

Vilém Mathesius. **Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém,** k vydání připravil J. Vachek. — Praha, Nakladatelství ČSAV, 1961, 280 стр.

Книга «Функциональный анализ современного английского языка на общелингвистической основе» крупнейшего чешского языковеда В. Матезиуса, восьмидесятилетие со дня рождения которого отмечалось в 1962 г., содержит систематизированное изложение сведений, частично уже известных у нас по ранее опубликованным работам автора и современных пражских лингвистов, популяризирующих и развивающих его взгляды [1]. Написанная в середине 30-х годов, она является итогом более чем двадцатипятилетнего периода творчества ученого. Проф. Й. Вахек, подготовивший книгу к печати, стремился придать незавершенной рукописи вид, максимально соответствующий предполагаемому авторскому замыслу. В примечаниях учтены работы (в том числе — ряд советских), появившиеся после смерти автора. Текст сопровождается ссылками на ранее изданные труды В. Матезиуса; книга снабжена указателями и резюме на английском и русском языках.

Характер исследования определен в трех вступительных разделах книги. Краткий очерк истории основных направлений европейского языкознания выявляет преемственную связь концепции Матезиуса с идеями Гумбольдта, провозгласившего принцип аналитико-компаративного изучения языков безотносительно к степени их родства. Функционально-структуральное направление, к которому причисляет себя Матезиус, заимствует свой функциональный подход к языку у Щербы, отчасти у Есперсена; от Соссюра, Балли, Сешэ, Якобсона берет начало акцентирование системности языка.

Определение предмета исследования, предлагаемое Матезиусом, характеризует язык как систему знаков, представленную в виде совокупности возможностей, находящихся в распоряжении членов языкового коллектива в данную эпоху и в данном месте, и познаваемую из ее реализаций в конкретных высказываниях. Понимание языка как совокупности возможностей служит автору для последующего обоснования постулируемых им понятий «языковой стилизации» («jazykové stylizace») и «языковой дешифрации» («jazykové dešifrace»). Первый из этих терминов обозначает важнейшую, по мнению автора, стадию речевого акта: языковое оформление «мыслимого содержания» («myslenkového obsahu»); второй — собственно процесс понимания воспринятого отрезка речи. Понятие «стилизации» — основа всей концепции Матезиуса. Имеются в виду специфические для каждого языка особенности языкового упорядочения лингвистически нерасчлененного восприятия действительности. Однако терминологически и гносеологически ошибочной представляется изоляция «мыслимого содержания» от языковой формы: если восприятие действительности лингвистически не де-

[1] См.: V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt, Praha, 1947; J. Vachek, Lingvistická charakteristika současne angličtiny, Praha, 1958; J. Nosek, Základy mluvnice moderní angličtiny, Praha, 1960.

терминировано, то элементарное осмысление воспринимаемого всегда категориально; мыслимое содержание возникает на основе и во взаимодействии с языковыми категориями. Понятие «стилизации», вероятно, приемлемо как термин, характеризующий мыслительные процессы в условиях двуязычия. Схема психологической деятельности, осуществляющей сопоставительный анализ, перенесена Матезиусом на механизм речи вообще — в качестве характеристики его сущности. Задача книги — выяснить, «что является основой стилизации в современном английском языке» (стр. 12),— сформулирована автором без необходимой, по нашему мнению, оговорки,—«в плане сравнения его с чешским»,— хотя фактически книга построена на сопоставлении двух языков. Естественно, что решение подобной задачи не может быть сведено к единой формуле; и действительно, мы находим в книге ряд более или менее широких обобщений. Кстати, проверка степени их актуальности могла бы быть осуществлена только с учетом количественных (статистических) данных, поскольку из изложения не всегда ясно, идет ли речь о типичном для английского языка или только о возможном.

Стадия стилизации в свою очередь представляется Матезиусу состоящей из двух этапов: избирательный анализ (разложение мыслимого содержания на языковые назывные элементы) и соотнесение элементов (акт, создающий предложение). В соответствии с этим изложение делится на две части: учение о языковом наименовании (функциональная ономатология) и учение о языковом соотнесении (функциональный синтаксис). Морфология, понимаемая автором в духе О. Есперсена как учение о языковых структурах, группируемых в системы по формальным признакам [2], эпизодически сопутствует изложению на протяжении обеих частей книги.

Первая часть — функциональная ономатология — открывается разделом, трактующим сущность и характер языкового наименования. Отмечая условность и обобщенность последнего, В. Матезиус различает в нем: 1) основное значение слова («ядро»); 2) множество связанных со словом ассоциаций; 3) эмоциональную окраску. Довольно большое место уделено примерам несовпадения содержания языковых наименований в английском и чешском языках. Рассуждения на эту тему, косвенным образом перекликающиеся с некоторыми положениями этнолингвистики, можно также встретить в популярном очерке автора «Nebojte se angličtiny» (Praha, 1960) и в работах его учеников.

В плане формы Матезиус различает наименования «знаковые» и «описательные». Первые предполагают полное отсутствие синхронической мотивировки, т. е., таким образом, условны; «описательные» поддаются ассоциативному анализу, синхроническому сопоставлению с рядами других слов. Упоминается, что при отсутствии затруднений в понимании описательные наименования воспринимаются как знаковые.

Основной формой наименования является слово — наименьшая обладающая значением самостоятельно употребляемая часть высказывания, выделяемая в результате ассоциативного анализа. Самостоятельность слова проявляется главным образом в его способности к изменению места относительно окружающих его звуковых комплексов. Различие между словом и группой слов проиллюстрировано сравнением французского *Je ne le dis pas* с чешским *Nevypovídám*, в котором, в отличие от французского *Ne le dis-je pas*, нельзя изменить порядок следования компонентов (морфем). Матезиус признает объективность существования слова, отмечая при этом, что самостоятельность слова в принципе потенциальна.

Применительно к проблеме классификации языковых наименований — частей речи — Матезиус считает необходимым вести исследование в трех направлениях: выясняя, во-первых, являются ли части речи в английском языке определенным формальным и функциональным типом; во-вторых, существуют ли между ними четкие границы и как осуществляется переход одной части речи в другую; в-третьих, какие вторичные классификации можно установить внутри частей речи.

Отвечая на первый вопрос, Матезиус констатирует отсутствие четких формальных различий между именем и глаголом. Анализ отношений между существительным и прилагательным сводится к повторению известных тезисов Есперсена, имеющих целью доказать адъективную природу английского атрибутивного имени. Своеобразное разграничение Матезиусом сфер синтаксиса и морфологии приводит его к утверждениям типа следующих: «словосочетание также может быть конвертировано в прилагательное» (стр. 43). Некоторые неточности допущены автором или издателем при характеристике отношений существительных и глаголов, прилагательных и наречий. В качестве примера субстантивно-глагольной конверсии приведено слово *produce* без учета словообразовательной роли ударения (стр. 46); неверно утверждается, что *good* в *It is good to speak frankly* (стр. 47) является наречием.

Переходя к анализу отдельных частей речи, Матезиус предлагает различать: 1) формальную классификацию — учет вариантов формы в пределах одного

[2] Ср. О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 39 и сл.

грамматического значения; 2) «аспектную модификацию» («aspektové modifikace») — собственно морфологические изменения, не сопровождающиеся модификацией характера назывной («pojmenovávací») категории; 3) «категориальные переходы» («kategoriální přechody») — изменения в основном значении слова, в характере назывной категории, без изменения формы. К примерам аспектной модификации относится категория числа или категория определенности у существительных. При категориальном переходе существительное конкретное превращается в абстрактное, существительное с «активным» значением приобретает «пассивное» значение и т. п.

Последующие разделы ономатологического очерка посвящены выявлению особенностей формальной классификации, аспектной модификации и категориальных переходов у отдельных частей речи английского и чешского языков.

В числе категориальных переходов у существительных, помимо упомянутого выше использования абстрактных существительных в качестве конкретных, отмечается способность английского существительного выражать действие подобно глаголу — эта особенность якобы проявляется в сочетаемости существительных с предлогом *by*: *A play by Bernard Shaw*.

Аспектной модификацией у прилагательных являются степени сравнения. Принципы расположения материала и классификация рассматриваемых форм здесь, как и в ряде других мест, остаются не вполне ясными. Так, анализируя степени сравнения «в самом широком смысле» («ve smyslu co nejširším», стр. 61), автор перечисляет следующие пункты: одинаковая степень качества (*as dangerous as...*); первый член имеет большую степень качества (*more dangerous than*); первый член имеет меньшую степень качества [*less* (*not so*) *dangerous than* (*as*)]; компаратив выражает качество без сравнения (*higher criticism*, *vyšší škola*); важным является выражение *the* (*the noisier*, *the better*); любопытен так называемый скрытый компаратив — *too* + прилагательное (*We shall come too late*).

Категориальные переходы у английских прилагательных проявляются в несовпадении их смысловой отнесенности с формально-синтаксической: *... was very long in making itself felt*; *he is sure to come*; *wheels were loud on the gravel*, а также в частичной их вербализации: *to be productive of...* в значении «производить», *to be murmurous* вместо *to murmur*.

Значительное место в книге уделено анализу глагола. Категории лица, числа и залога не касаются, как считает Матезиус, самого глагола ввиду их синтаксической обусловленности. Подлинными аспектными модификациями являются время, вид и наклонение.

Категория времени рассматривается с привлечением известной графической схемы Есперсена. Безоговорочно, как якобы употребительная, приведена форма *will be being built*. К числу перфектных форм (в разделе, специально посвященном глагольному времени) отнесены примеры *Be gone!*; *I'm done with*; *I'm finished with* (стр. 71—72). Такой непривычный порядок рассмотрения и неразличение форм, очевидно, вызваны спецификой подхода автора к проблемам сопоставительной грамматики — несомненной, хотя и не прокламированной приверженностью его к понятийным категориям как исходному материалу для «языковой стилизации».

В трактовке категории глагольного вида Матезиус прямо исходит из априорной схемы видовых значений (перечисляя континуативный, ингрессивный, терминативный, фактивный и т. п. виды) и делает вывод о видовой нейтральности английского глагола. Эта же «понятийная» исходная позиция автора побуждает его, осудив «формализм» Есперсена, сочувственно рассматривать фантастическую, с точки зрения фактов английского языка, систему наклонений М. Дейчбейна [3]. Отсюда перечисление способов эмфатического выражения «фактива»: *he must have money*; *he has money*; *he does work hard* — способов, из которых лишь последний является собственно грамматическим; или тезисы вроде: «Дубитатив выражается в английском языке гипотаксической конструкцией» (стр. 81).

Конечно, рассуждая теоретически, можно представить себе описание строя любого языка, перечисляющее способы выражения всех категорий универсальной логической грамматики. Однако сопоставительное исследование должно основываться на реальной грамматической номенклатуре одного из двух языков. Кстати, в изложении материала Матезиус не придерживается принятой им схемы анализа: регистрация способов выражения логико-грамматических значений перемежается с чисто морфологическими сведениями, с интересными, но прямо не относящимися к делу наблюдениями над изолированными языковыми фактами.

В описании категориальных переходов у глаголов заслуживает внимания замечание Матезиуса по поводу значения глагола *to read*. Этот глагол, указывает Матезиус, не означает «совершать процесс чтения», а означает лишь «быть в некотором отношении к процессу, называемому чтением». «Только контекст определяет актуальное значение глагола применительно к указанному отношению» (стр. 83, 84). Думается, что это высказанное мимоходом замечание вообще удачно характеризует особенности смысловой структуры английского слова.

[3] M. Deutschbein, System der neuenglischen Syntax, Leipzig, 1926.

Вторая часть книги — «Учение о соотнесении (функциональный синтаксис)» — посвящена проблеме предложения. Автор подходит к предложению с функциональной точки зрения, рассматривая его как конструкцию сообщающую: предложение есть элементарное коммуникативное высказывание, при помощи которого говорящий способом, оставляющим с формальной стороны впечатление привычности и субъективной полноты, выражает свое отношение к некоторому факту или совокупности фактов (стр. 89, 90). Матезиус считает излишним акцентирование генезиса предложения, присущее известным определениям Вундта и Пауля, и убедительно обосновывает обязательность упоминания о «привычности» (типичности для данного языка) формы предложения, полемизируя по этому поводу с В. Скаличкой, пытавшимся определить предложение как «элементарную семиологическую реакцию» [4].

Далее излагается уже получившее некоторое распространение в советской лингвистике учение об актуальном членении предложения. Актуальное членение — терминологическая модификация теории психологического субъекта и предиката — не ограничивается констатацией деления предложения на два основных функциональных элемента — «основу» («základ») и «ядро» («jádro») высказывания. Матезиус выявляет взаимоотношения между актуальным и «формальным» членением предложения на грамматическое подлежащее и сказуемое. Один из важнейших выводов книги — обнаруженное Матезиусом закономерное совпадение в английском языке (в отличие от чешского) актуального членения с формальным: основа высказывания, как правило, выражается грамматическим подлежащим, ядро — грамматическим сказуемым. Почти полная невозможность флективного выражения в английском субъектно-предикатных отношений обусловливает широкое употребление пассива и синтаксической эмфазы: *Это письмо* (основа) *написал отец* (ядро) — *This letter* (основа) *was written by Pa* (ядро) или: *It was Pa* (ядро) *who wrote this letter* (основа) [5].

Предложенная Матезиусом схема классификации типов простого предложения исходит из деления предложений на глагольные и безглагольные (при этом отмечается, что английский язык располагает бо́льшим количеством типов безглагольных предложений, чем чешский), а также на одночленные и двучленные. Одночленные глагольные предложения типа *Hřmí*; *Prší* (ср.: *Светает*, *Морозит*) в английском языке не представлены.

Одночленные безглагольные предложения подразделяются на тетические (констатирующие существование неанализируемого смыслового целого) и предикативные. К первым безоговорочно отнесены, наряду с самодовлеющими, законченными отрезками речи (*The bell, sir! Another bottle, please*; *No apologies*), также одночленные части сложных предложений, что противоречит приведенному выше определению предложения, включающему признак «субъективной полноты»: *Another sound and you are a dead man*; *To think that I have always supported him*; *I'll do it, and no mistake*. Под предикативными одночленными безглагольными предложениями понимаются отрезки речи, представляющие собой «ядро» к «основе», заключенной в речевой ситуации: *Nesmysl! Nonsense! Ерунда!* Приводимые примеры структурно разнообразны: *Off to work? Going to school? Off with you! Never met him, I am afraid.*

Иллюстрируя примерами рассматриваемый далее тип двучленных безглагольных предложений, Матезиус начинает с не вызывающей сомнения модели *An excellent idea, this!* Однако двучленность предложения *No harm done!* представляется спорной: это интонационно неразложимое целое; *done* — постпозитивное определение к *harm* — вряд ли может быть квалифицировано как ядро высказывания. Еще более сомнителен пример *I up and say!*, поскольку, во-первых, *up* можно трактовать как заместитель глагола (нечто вроде русской междометной формы *прыг*, *хвать*, ср. встречающееся иногда *I upped and said*); во-вторых, приведенный пример, подобно упоминавшимся выше, не соответствует определению предложения, тем более что *I up* без последующего «*and* + глагол» не употребляется.

Аналогичные недоумения возникают в связи с трактовкой Матезиусом аппозиционных конструкций как предложений, имеющих ослабленную самостоятельность. Соглашаясь с тем, что в предложении *His death, a juridical murder, aroused the jury of the whole population* словосочетание *a juridical murder* обладает предикативностью, мы, однако, не можем пренебречь определением предложения как субъективно полного сообщения. Не являются предложениями и абсолютные конструкции: *The war over* (*finished*) *he returned home* (стр. 107).

Глагольные предложения в английском языке всегда двучленны. Матезиус предлагает различать два способа выражения в них действия: 1) деятель и действие не разделены между подлежащим и

[4] V. Skalička, K problému věty, SaS, I, 1935.

[5] Более подробно эта теория изложена в специальной статье Матезиуса «O tak zvaném aktuálním členění větnem», сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947. См. также статью с тем же названием Ф. Травничка (SaS, 3, 1961), содержащую критику отдельных положений Матезиуса.

сказуемым, а выражены группой подлежащего, причем группа сказуемого лишь констатирует существование того, что представлено в подлежащем: *... before there was any buying and selling in the London market*; *There has been a constant accumulation of evidence*; 2) действие выражено сказуемым, но, в отличие от чешского, сказуемое представляет собой «имя + глагол». Устанавливается четыре разновидности сказуемых этого типа: посессивная — *I have no hesitation in stating that you are wrong* [6]; каузативная — *Well, you shall do the shopping and I shall do the cooking*; адвербиальная — *The Prime Minister and the more moderate group are now in full control of the state*; адъективная — *The organ of the party is frankly critical of the new move*.

Дальнейшие разделы трактуют вопросы, связанные с особенностями выражения в английском языке второстепенных членов предложения. Дополнение в английском языке, по мнению Матезиуса, это такое «номинальное определение глагола, выражающего действие» («nominální určení dějového slovesa»), которое в пассивной конструкции может стать грамматическим подлежащим (следует анализ дополнений «типа аккузативного», «типа дативного» и т. д.). Более частое в английском языке, чем в чешском, употребление прямого дополнения Матезиус относит не только за счет слияния в английском языке винительного падежа с дательным, но главным образом, за счет влияния французского языка, где в отличие от германского дативного управления преобладает аккузативное. В качестве еще более глубокой причины выдвигается тенденция английского языка к выражению синтаксических отношений путем простого соположения («juxtapozici») членов.

Анализируя английское предложение как целое, Матезиус подчеркивает важность так называемой «комплексной конденсации»— тенденции к употреблению синтаксических комплексов (т. е. причастных, инфинитивных и герундиальных конструкций) вместо придаточных предложений. Специальные разделы посвящены выяснению сравнительной роли факторов, определяющих порядок слов в английском предложении. Устанавливается четыре фактора или «принципа»: грамматический (место члена предложения обусловлено его синтаксической функцией), ритмический (констатируется более сильное действие этого принципа в английском языке, чем в немецком). фактор актуального членения (в качестве примера обусловленности порядка слов требованиями актуального членения дается предложение *He gave these books to me*) и, наконец, принцип эмфазы (выясняется, что, в отличие от чешского языка, использующего для целей эмфазы последнее или предпоследнее место в предложении, англичанин помещает выделяемое им слово в самом начале предложения). Отмечается использование в некоторых случаях синтетического порядка слов, напоминающего немецкую рамочную конструкцию: *The visit to our shores of the German president may have far-reaching consequences*.

Раздел «Сведения об отрицании» содержит замечания о *never* и *nothing* как более сильных вариантах отрицания *not*, сопоставление некоторых стереотипных усилителей отрицания (*a straw*, *a bit*) с историей грамматизации французских отрицательных слов (*pas*, *point*), разбор употребления глагола *to fail* как специфически английского способа выражения отрицания и, наконец, вывод о преобладающем употреблении отрицания в начале высказывания: *Nobody ever saw him smile*; *Never did anybody see him smile*; *I don't think he is here*.

Сложное предложение охарактеризовано бегло. Заслуживает упоминания в общем верная характеристика английского языка как избегающего избыточного употребления сложноподчиненных предложений. В заключение отмечается еще одна особенность английского синтаксиса: предложное управление придаточным предложением (*from where I stood*; *with what you are saying*). Это означает, по мнению Матезиуса, что английское придаточное предложение ощущается как часть главного, теснее связано с ним, чем придаточное предложение в чешском языке.

В обширных примечаниях к книге обращает на себя внимание тщательная библиографическая работа составителя. Критические его замечания по адресу Матезиуса касаются, как правило, второстепенных моментов; отдельные явные ошибки автора освещены с нейтралистских позиций (например, примечание к разделу о наклонениях, стр. 219). При переиздании следует устранить ряд стилистических погрешностей в русском тексте резюме.

Ю. М. Скребнев

[6] На понимании глагола *to have* как связочного основывается статья Я. Махачка «A contribution to the problem of the so-called copulas in modern English» («Philologica pragensia», I, 1959).

«Историческое развитие лексики тюркских языков». — М., Изд-во АН СССР, 1961. 468 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

Среди областей тюркологии, мало еще разработанных, наименее, пожалуй, исследована многообещающая область *тюркской лексики*. Нет нужды доказывать, что изучение лексики (в сравнительном и сравнительно-историческом аспектах) является одной из важнейших задач советской тюркологии. Естественно, что советскими тюркологами с удовлетворением встречено издание большого сборника «Историческое развитие лексики тюркских языков». Идея создать такой сборник была в свое время предложена Н. К. Дмитриевым, по заданию которого сотрудниками сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР проводилось изучение лексики отдельных семантических групп; на основе этих наблюдений и были написаны статьи сборника. Сборник состоит из Введения (стр. 3—10) и шести статей, к рассмотрению которых мы обратимся.

Автор статьи «Термины родства в тюркских языках» (стр. 11—81) Л. А. Покровская поставила перед собой задачу «выявить и охарактеризовать то общее, что существует между всеми тюркскими языками в области терминологии родства» (стр. 12, 13), для чего ею собрано и изучено более тридцати терминов, охватывающих основные понятия родства и свойства.

Написанная со знанием предмета, как и все статьи сборника, статья Л. А. Покровской требует лишь уточнения деталей. Аффикс *-ан* в составе слова *оғлан* рассматривается как архаичный показатель множественного числа (стр. 16). Существует ещё другая точка зрения: *-(а)н* — аффикс уменьшительно-ласкательной формы [1]; то же самое следует сказать и об аффиксе *-ақ* в слове *ағлақ* «ягненок, козленок; мальчик, сынишка» (стр. 16): *оғул* «сын» + *-ақ* (Р, стр. 187—188).

Вамбери (V, § 93) слово *қыз* «девица» (стр. 17) сопоставляет со словом *қы* + *-з* «feurig, glühend, erröthet, warm». О слове *чоджуқ* (стр. 19) существует интересное и обстоятельное исследование турецкого филолога А. Джафероглу [2]. Слово *ушақ* (стр. 20) пытались этимологизировать Вамбери (V, § 23) и В. Банг [3].

Аффикс *-й* в составе слов *эней* «бабушка», *атай* «батюшка», *бабай* «дедушка» и др. (стр. 22 и сл.) рассматривается в качестве звательной формы от *эне*, *ата*, *баба*; аффикс *-қай*, несмотря на ссылку на Н. К. Дмитриева, рассматривающего этот аффикс как формант ласкательной формы, разлагается на *-қа* + *-й* (= звательная форма) (стр. 24). Аффикс *й-* <*-қ*; *-қай* <*-қаң* (Р, стр. 184—185, 187 и сл.; Кк, стр. 179; У, стр. 163—166); уменьшительно-ласкательная форма естественно контаминируется с звательной формой.

Туркменское *қаңа* «папа, отец» (стр. 26), кажется, не имеет параллелей в других тюркских языках. Не происходит ли *қаңа* < *қаң* + *-а*, где *қаң* «отец» (ПДТП, стр. 411; ср. МК, III, 382: *kangdaş* «дети одного отца»), *- а* (< *-қа* ~ *-ақ*) — уменьшительно-ласкательный аффикс?

Утверждение, что «...в современном турецком языке слово *аба* не употребляется» (стр. 30), справедливо только в отношении литературного языка; что касается диалектов, то это слово широко бытует в целом ряде районов Анатолии в следующих значениях: «1) мать; 2) бабушка; 3) старшая сестра; 4) госпожа; 5) тетя (со стороны отца); 6) жена

[1] A. Zajączkowski, Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim, Kraków, 1932 (далее обозначается сокращенно — Z), стр. 18—19; Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание. Морфология, М., 1957 (далее сокращенно — Р), стр. 196—197; M. Räsänen, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Helsinki, 1957 (далее сокращенно — Räs.), стр. 107. В статье приняты также сокращения для следующих изданий: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II — Фонетика и морфология, М., 1952 — Кк; C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, 1—7, Leiden, 1951—1954 — Br; [Mahmud Kaşgari], Divanü lûgat-it-türk tercümesi, çeviren B. Atalay, I—III, Ankara, 1939—1942 — МК; H. Vámbéry, Etymologisches Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen, Leipzig, 1878 — V; Н. Ф. Катанов, Опыт исследования урянхайского языка, Казань, 1903 — У; М. Ряснянен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955— Ряс.; Д. А. Магазаник, Турецко-русский словарь, М., 1945 — М Сл; С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951— ПДТП; Л. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, СПб., I — 1869, II—1871 — Б Сл; В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, I — IV, СПб., 1893—1911 — Р Сл; A. von Gabain, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950 — ATG.

[2] Ahmet Caferoğlu, «Küçük, çocuk, enik» kelimelerinin morfolojik ve semantik değişmelerine dair, «Türk Dili». Seri III, No 10—11, 1947, İstanbul, стр. 6—12.

[3] W. Bang, Aus türkischen Dialekten, «Keleti Szemle», XVIII, 1—3, 1918/9, стр. 11.

брата или дяди (= *йенге*)»[4]; видимо, *аба* первоначально означало «старшую в роде (мать)», затем «старшего в роде (отец)» (ср. стр. 31—32).

Говоря о производных от *аба* (*aba*) (стр. 30—31), следует упомянуть турецкое литературное *amca* «дядя по отцу»[5] и его диалектальные варианты *abca*, *abıca*, *abuca*[6], а также *abak*, *abaka*, *abba*[7]. Замечу, что предположение Т. Текина: *amca* < *abıca* < *aba* + *eçe-si* «babanın ağabeyi veya erkek kardeşi»[8] не выдерживает критики; все нисходящее родство представлено уменьшительными формами: *amca* < *abca* < $ab\frac{ı}{a}$ *ca* = «малая мать» ~ «малый отец» (*aba*).

Представляется возможным уточнить состав слова *абыз* (по автору, это *аба* ~ *абы* + формант *-з*, природа которого пока неясна,— стр. 31): *абыз*, как и *абызын/абысын*, является уменьшительно-ласкательной формой на *-з/-с/-зын/-сын/-шын/-чын* < *-з/-с/-ш/-ч* + *-(ы) н* = сочетание двух уменьшительных аффиксов (Р, § 101—102, 104). Татарское *абыстай* < *абы/аба* + *с* (уменьшительный аффикс) + *-тай* (= уменьшительный аффикс).

Абла «старшая сестра» (стр. 32) < *аба* «старшая родственница, старший родственник, мать, отец» и т. д. + *-ла(ң)* (= уменьшительный аффикс) [9]: **абалаң* [оно, как многие трехсложные слова, утратило средний (предударный) гласный] > **аблаң* > *абла* (конечное *-ң/-ң* в азербайджанском и турецком языках, как правило, падают)[10].

В. Банг рассматривает слово *сиңил* (стр. 32—33) как уменьшительно-ласкательную форму от *сиң*[11].

Утверждение, что «в современных турецком и азербайджанском литературных языках основное значение слова *ағa*, „господин", „начальник"» (стр. 34), требует значительных оговорок[12]. Автор затрудняется объяснить семантическое расхождение термина *ағa/ака* в чувашском, где *аккa* «старшая сестра, сестра отца или матери», а также «сестра бабушки со стороны отца», и в других тюркских языках, где это слово обозначает родство по мужской линии (стр. 35). Объяснение этому факту можно найти только в смене матриархального строя патриархальным, когда на место женщины — старшей в семье — стал мужчина— глава рода (ср. также термины *ача/еже*, *аба*, *қарындаш*); в отдельных случаях «матриархальная» семантика сохранилась.

В предложении Л. А. Покровской рассматривать слово *ини* «младший брат» в качестве «морфологически вторичной основы, т. е. притяжательной формы 3-го лица ед. числа (*ин* + *и*), тогда как вариант *иин* следует считать основной формой этого слова, сохранившейся в алтайском языке...» (стр. 37), настораживает наличие долготы в слове *иин*; если действительно *ини* < *ин* + *-и*, то *-и* я склонен рассматривать как рудимент уменьшительного аффикса <*-и(к)*.

Общепринятая этимология *қардаш* < *қарындаш* (стр. 38) окажется не столь убедительной, если принять во внимание, что в казахском языке есть слово *қар* «род, предок»[13].

Глагол *төрөө-* «рождаться» (стр. 45) известен не только в монгольских, но и почти во всех тюркских языках (Р Сл., III, стб. 1251, 1556)

По мнению автора, формант *-ға* в гагаузском *дајыға* «с уверенностью можно отнести за счет славянского влияния» (стр. 48); этот формант «придает... оттенок ласкательности, интимности». Неясно, что же в таком случае мешает видеть в нем уменьшительно-ласкательный аффикс, известный во многих тюркских языках?

Слово *дайын* (стр. 49), вероятно, происходит <*дай* + *-ын* — уменьшительный аффикс.

Турецкий термин *teyze* «тетка по матери» Л. А. Покровская предположительно выводит из *тай/дайы* + *еже* (стр. 51); по Ж. Дени, *teyze* < *tay* (< *tayı* ~ *dayı* «дядя по матери») + *eze* «старшая сестра»[14]; по Т. Текину, *teyze* < **tay/tayı* + + *eze-si*[15]. Нельзя ли в *teyze* видеть уменьшительную форму от *tayı* ~ *dayı* <

---

[4] «Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi», 1, İstanbul, 1939, стр. 61.

[5] См. об этом: T. T e k i n, «Amca» ve «teyze» kelimeleri hakkında, «Türk Dili araştırmaları yıllığı. Belleten», Ankara, 1960.

[6] «Tanıklariyle tarama sözlüğü», II, İstanbul, 1945, стр. 1.

[7] «Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi», I, стр. 62—63.

[8] T. T e k i n, указ. соч., стр. 291.

[9] См. A h m e t C. E m r e, Türkçede isim temelleri, İstanbul, 1943, стр. 104—106.

[10] По С. Чагатай (S a a d e t Çağatay, Die Bezeichnungen für Frau im Türkischen, «Ural-Altaische Jahrbücher», XXXIII, 1—2, 1961, стр. 20), *abla* < *apa* + *lala* «Kinderpfleger», что, конечно, неприемлемо.

[11] W. B a n g, Vom Köktürkischen zum Osmanischen, 4. Mitteilung, Berlin, 1921, § 4. Ср. также: A. C. E m r e, указ. соч., стр. 105; Br., стр. 117.

[12] См. «Türkçe Sözlük», 3-ncü baskı, Ankara, 1959, стр. 12.

[13] См. Ж. Д о с к а р а е в, Краткий очерк о южном диалекте казахского языка, ИАН КазССР. Серия филологическая, вып. 4 (29), 1946, стр. 54.

[14] J. D e n y, Principes de grammaire turque («turk» de Turquie), Paris, 1955, стр. 137.

[15] T. T e k i n, указ. соч., стр. 294.

< *tağayı*? В турецком языке термину *teyze* «тетка по матери» противостоит термин *hala* «тетка по отцу».

Аффиксу *-қақ/-кек* (стр. 58) обычно приписывается значение Deminutiva od. Intensiva (Räs., стр. 101). Слово *бикэ* «госпожа» (стр. 59) = уменьшительная форма на *-а/-е* (<*-ҟа* ~ *-ақ*) (ср. Р, стр. 191) от *бик/бек* «бек, князь». Что касается слова *қатун/хатун/қадын* (и других фонетических вариантов), возводимого Л. А. Покровской к «корню *кат/хат* + формант *-ын*, уже не раз встречавшийся нам в терминах родства» (стр. 59), то его, особенно в форме *хатун* «дама, госпожа, жена важного лица», обычно связывают с согдийским *γwt'ynh* < **xwatāuni* (жен. род от *xwatāwan*); существуют и другие точки зрения, возводящие это слово к китайскому или греческому прототипам[16]. Не исключено, что в данном случае имеет место контаминация формы и значения тюркского слова *қатын* ~ *хатын* (< *қат* «женщина») (V, § 88) и заимствованного слова *хатун* «госпожа».

К списку слов, обозначающих понятие «жена, супруга» (стр. 60), следует добавить: *көч* «семейство, жена» (Б Сл, II, стр. 144—145); казахское *жүбай*, погайское *пише* «жена», турецкое *еş* «супруг, супруга»; а также *тіші*, *діші* (и его фонетические варианты, см. в рецензируемом сборнике, стр. 108); устаревшие слова: *узунтонлуβ*, *қысқаайақлы/β/*, *алβан*, *рафика* и некоторые другие.

Аффикс *-βый/-βай*, возводимый автором «к *гы-* — непродуктивному монгольскому суффиксу для обозначения лиц женского пола» (стр. 74), восходит к *-βақ* — уменьшительно-ласкательному аффиксу (Räs., стр. 101—102).

Слово *қуданда* «сват» (стр. 75) можно предположительно возвести к *қуда* + *-н* (уменьшительный аффикс) + *-да/-ла* (<*-лақ*) (уменьшительный аффикс); ср. тувинское *қудашқы* < *куда* + *-ш* (уменьшительный аффикс) + *-қы* (*-ҟа*) (уменьшительный аффикс); ср. также *абу-ш-ҟа*.

«Словообразовательный формант *-ш*, *-аш*, ...*-ыш*...» (стр. 80—81) отнесен автором к числу формантов, природа которых «еще не совсем ясна», хотя в специальной литературе аффикс *-(а)ч*: *-(а)ш* относится к числу аффиксов уменьшительно-ласкательной формы (Р, § 101).

Исследование Л. А. Покровской подтверждает ранее наблюденное важное явление: терминология родства — название родственных отношений (нисходящее или восходящее родство; а также название родственников по женской линии, т. е. женские формы имен типа: *хан-ым*, *бäг-ӱм*, *бикä*, *бикäч* и др.) представляют собой уменьшительно-ласкательные формы от соответствующих исходных основ (Р, § 33—34; 99—102).

Представленный в статье Л. А. Покровской первый опыт изучения терминов родства (с привлечением материалов почти всех тюркских языков; приходится пожалеть только, что к статье не приложен список исследуемых терминов) является необходимой ступенью к сравнительному изучению терминологии родства с привлечением материала других алтайских языков, в первую очередь данных монгольских и тунгусо-маньчжурских языков.

Основной целью статьи А. М. Щербака «Названия домашних и диких животных в тюркских языках» (стр. 82—172), по определению самого автора, является «объяснительное описание» названий домашних и диких животных; кроме того, «предполагалось раскрыть семантическую структуру некоторых названий с учетом соотношения слов, обозначающих вид животного, самца и самку, а также различные возрастные группы» (стр. 156); автор поставил себе задачей «также посильное этимологическое объяснение наименований животных» (стр. 158). Эта обширная программа успешно выполнена А. М. Щербаком, который собрал, тщательно систематизировал, исследовал и ввел, тем самым, в научный обиход большой фактический материал по разделу тюркской лексики, мало или почти неразработанной. Изучение названий животных ведется автором в сравнительном и в отдельных случаях, где позволяет материал, в сравнительно-историческом плане с широким привлечением материала монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, что, конечно, повышает ценность исследования, обогащая его фактическую часть.

Мое внимание привлекла морфология названий животных, вторжение которой в систему внутривидового обозначения животных (самец — самка — молодняк; ср., например, *өгӱз* «бык» — *өгӱзчӑ* «бычок») представляет, по мнению А. М. Щербака, «факт исключительной важности, свидетельствующий об усилении в тюркских языках процесса обобщенной семантической специализации слова» (стр. 157; разрядка моя.—

[16] Сводку мнений о происхождении этого слова см.: О. И. Смирнова, Заметки о среднеазиатской титулатуре (по монетным данным), «Эпиграфика Востока», XIV, М — Л., 1961, стр. 59—62; R. N. Frye, The history of Bukhara. Translated from a Persian abridgment of the Arabic original by Narshakhī, Cambridge (Mass.), 1954, стр. 110—111, примеч. 38; см. также: А. И. Батманов, Краткое введение в изучение киргизского языка, Фрунзе, 1947, стр. 21; Ряс., стр. 131.

А. К.). Однако внутривидовое обозначение животных при помощи морфологических средств не следует представлять как новую ступень, новый факт «процесса обобщенной семантической специализации слова». Морфологический способ внутривидового обозначения животных является старейшим из возможных способов, что подтверждается наличием этого способа во всех алтайских языках: в одних из них (в частности, тюркских) он очень развит, в других (монгольских и тунгусо-маньчжурских) — менее развит.

Главным, ведущим способом морфологического обозначения внутривидовых различий животных — а иногда и за пределами одного вида — является уменьшительно-ласкательная форма исходной основы. Тот же самый способ, как было показано при рассмотрении статьи Л. А. Покровской, является основным при обозначении нисходящего или восходящего родства (см. также Р, § 33). «Особенность семантического развития последних (т. е. форм уменьшительности.— *А. К.*)..., — отмечает автор,— заключается в преобразовании значения уменьшительности в обобщенное значение молодняка без различения возрастных категорий» (стр. 98—99; см. также стр. 112). К этому точному наблюдению следует еще добавить, что уменьшительно-ласкательные формы используются и для обозначения самок взрослых животных: *інäк* (стр. 97) и его фонетические варианты, включая монг. письм. *ünige(n)* [< *üni* + *-ge(n)* — уменьшительный аффикс], «для которых основой могло послужить слово *інä*, *ӟнä* „матушка“» (стр. 97), являются уменьшительно-ласкательными формами на *-(г)äк*, *-(ч)äк*, *-ӟн* от *інä*, *ӟнä*; слово *ӄїсраӄ* (стр. 90) = уменьшительная форма на *-(а)к* от основы *ӄїсїр* и мн. др.

Ввиду того что автор далеко не во всех случаях отмечает наличие в составе названий животных уменьшительно-ласкательных аффиксов; полезно такие случаи отметить; это позволит составить ясное впечатление о степени распространения этого способа обозначения возрастных (и, реже, половых) групп животных[17]: *ӄулун* «жеребенок» (как и его монгольский, маньчжурский, тунгусский эквиваленты, в которых выделяется уменьшительный аффикс *-ган*, *-хан*, *-кан*), является уменьшительной формой на *-(у)н* (Р, § 104; ср. у А. М. Щербака — стр. 110) от слова **ӄул* (стр. 91), которое, вероятно, этимологически связано с словом *ӄул-а* «желто-серый, буланый, гнедой», производным от которого является *ӄулан* «дикая лошадь, дикий осел» (стр. 95) = уменьшительная форма на *-н* от *ӄула*(?).

Слово *ӄулун* и его синоним *таї* получают дальнейшее морфологическое развитие через присоединение уменьшительно-ласкательных аффиксов: *ӄулун-аӄ*, *ӄулун-чаӄ*, *ӄулун-аβаш*[18] (стр. 90); *таї-ча*, *таї-чаӄ*, *таї-чанаӄ*, *таї-лаӄ*, *таї-заӄ* (стр. 91).

Слово *јабаβа* «жеребенок до двух лет» и его фонетические варианты (стр. 92), по-видимому, представляет собой уменьшительную форму на *-β* от *јаб-а*; это предположение поддерживается ногайской формой *јапаш* «новорожденный жеребенок» (там же) < *јап-а-ш*, где *-ш* — уменьшительный аффикс.

Слово *буӄа* «бык-производитель» (стр. 99) закономерно сопоставляется автором со словом *буβу* «олень» (стр. 134); весьма вероятно, что корень обоих этих слов содержится в слове *буβ* + *-ра* «верблюд-производитель» (стр. 104), где *-ра/-ла* (<*-раӄ/-лаӄ*) — уменьшительный аффикс. Татарское и ногайское *буβаї* = уменьшительной форме на *-ї* от *буβа*. Слово *бузаβї* «теленок» можно возвести к *буз* ~ *бур* «серый» (стр. 100) + *-аβї* (<*-а* + *-βї* ~ *-β-а*) — уменьшительный аффикс; ср.: якутское *боруоску* < *бор* + уменьшительный аффикс *-уоскуу* (стр. 100) <*-уос* + *-ӄу*.

Атан «верблюд-мерин» (стр. 104), видимо, восходит к *ат* «конь, мерин» + уменьшительный аффикс *-(а)н*; монгольский, маньчжурский, тунгусский эквиваленты этого слова являются уменьшительными формами. *Бода-ган*, *ботулаӄ*, *пуду-ӄ*, *боту-ӄ* (*поту-ӄ*) — уменьшительные формы от *бота* ~ *бода* «верблюженок» (стр. 106).

Кӧш-äк, *кӧш-ä ї*, *кїїш-ä-лäк* «верблюженок» (стр. 106) — уменьшительные формы от *кӧш*, которое, с известной долей вероятия, можно сопоставить со словом *ӄоч* «баран-производитель» (стр. 111).

Туркменское *торум*, турецкое *торун* «верблюженок по третьему году» можно, пожалуй, сопоставить со ст.-узбекск. *тор* «теленок» (стр. 102)+*-(у)м* ~*-(у)н* (уменьшительный аффикс); первый вариант аф-

[17] В связи с этим важно отметить тот факт, что монгольские названия, например верблюда, представляют собой уменьшительные формы на *-gen*, *-γan*, *-laγ*, *-ut* (стр. 109).

[18] *-аβаш* = два уменьшительных аффикса *-аӄ(β)* + *-аш* ~ *-ас* ~ *-ач*. Наличие в одном слове двух и реже — трех аффиксов уменьшительности — явление, довольно широко распространенное в тюркских и монгольских языках (см. Р, §§ 100—102); ср. также *-чанаӄ* = уменьшительному аффиксу *-чан* + уменьшительный аффикс *-аӄ*; аффикс *-лаӄ* = двум уменьшительным аффиксам *-л* + *-аӄ*; *-заӄ* = двум уменьшительным аффиксам *-з/-с/-ш/-ч* + *-аӄ*.

фикса сохраняется в составе слов: *хан-їм* «ханша», *бэг-їм* «жена бека»[19].

Бікäч ~ бäкäч «ягненок» — уменьшительная форма на *-(ä)ч* (< *бік ~ бäк* «бек»), которая значит также (вероятно, это — первое значение) «сговоренная девица, невеста, девица, девушка» (Б Сл, I, стр. 303). *Кӧрпä* «десятидневный ягненок» и его уменьшительные формы: *кӧрпэ-ш, кӱрпэ-ң* (стр. 114) восходят к слову *кӧрпä* (турецк.) «свежий, молодой».

Эчкі «домашняя коза», вероятно, представляет собой уменьшительную форму на *-кі* (Räs., стр. 101) от *эчä/эчі/ічі...* «старший родственник, мать, отец» (оно приводится в статье Л. А. Покровской, стр. 28—29): *эчі + кі* > *эчкі* — трехсложное слово в связи с ударением на последнем слоге > двухсложное; ср.: *інäк* < < **іні + -гäк* (см. выше); может быть, по этой же модели образовано и слово *эшгäк* «осел» (стр. 123) <*эш<**эчі + -гäк* (уменьштительный аффикс).

Слово *эркэч* «холощенный козел», по мнению автора, образовано от глагольной основы **äрік-* (**сäрік-*?) «облегчиться, ослабеть» (стр. 118). Не проще ли: *эркэч* < *эр* «муж, самец» + *кэчі* «домашняя коза» (?); ср. еще: *сэркä* (стр. 118) < *сэр ~ эр* «самец» + **-кä* < *кäчі*, или *сэркä* < *сэр ~ эр + -ка* (уменьшительный аффикс). О слове *оɒлаң* см. выше — стр. 133).

Анаі «козленок, теленок» (Р Сл, I, стб. 227), а также *энік, энӱк, јэнік, јэнӱк* (стр. 119) «щенок, медвежонок, детеныш диких животных» и другие фонетические варианты этого слова (стр. 128—129) — уменьшительные формы от *ана, інä, энä* «мать»: по Щербаку, *јэнік* < *јэні-* «рождать» (стр. 126). Как справедливо замечает А. М. Щербак, «существует большое количество примеров перекрещивания обобщенных наименований потомства животных и человека» (стр. 119).

В составе слова *чэбіш/чäпіш* «годовалый козленок», которое, как отмечает автор, «в тюркских языках... не этимологизируется» (стр. 120), выделяется уменьшительный аффикс *-іш* и основа *чэб, чäп*, которую можно условно сопоставить с азербайджанским словом *чоп* (?) «верблюженок в возрасте от двух до трех лет» (стр. 107).

Слово *кӧпэк* «собака (самец)» можно, до подыскания более убедительного объяснения, сопоставить со словом *кэпэ, кэбэ, кӧбэ* «ягненок раннего приплода», (стр. 114) + *-к* (уменьшительный аффикс); ср.: *кӧпэ + -ш* (уменьшительный аффикс) «ягненок позднего приплода» (там же); ср. монгольское *кӧбегӱн* «сын, молодец»[20].

[19] А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.— Л., 1960, стр. 71.

[20] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1953, стр. 135.

Слово *қанчің* «сука» представляет собой уменьшительную форму на *-чің* (Р, стр. 186) от *қан* (что подтверждается монгольским, маньчжурским, тунгусским эквивалентами, которые также являются уменьшительными формами на *-гчін, -хэн, -чэн*, см. стр. 128); по Рамстедту (Р, стр. 186), нивхское *қан* «собака»; ср.: самодийское *қаноң* «собака»[21].

Казахское *бӧлтірік*, киргизское *бӧлтӱрӱк*, тувинское *бӧрзäк ~ мӧрзэк* «волчонок» являются уменьшительными формами от основы *бӧрӱ* «волк» (*l* : *р*); уменьшительный аффикс *-тірік/-тӱрӱк*[22] < *-ті/-сі* + *-рік/-рақ* (*-лақ*) (другие этимологии см.: Räs., стр. 97, 122); *-зэк* — уменьшительный аффикс < *-з/-с/-ш/-ч* + *-(э)к*. На других содержащихся в статье примерах, подтверждающих положение: уменьшительные формы имен существительных служат для обозначения внутривидового названия животных,— ввиду его очевидности,— можно не останавливаться.

А. М. Щербак вслед за Б. Я. Владимирцовым[23] аффиксы *-лаі, -кчін* (< *-к* + *-чін*), *-чін* считает «морфологическим средством обозначения пола» (стр. 121; ср. еще стр. 117). «Принадлежность особи к женскому полу» грамматически выражалось уменьшительной[24] формой от соответствующей исходной основы, в чем следует усматривать известные социальные (для обозначения людей) и хозяйственные (для обозначения животных) основания.

В статье Ф. Г. Исхакова «Наблюдения по (!) лексике в области (!) прилагательных в тюркских языках» (стр. 173—231) рассматриваются имена прилагательные со значением: 1) «бедный (=неимущий)» 2) «бедный (=несчастный)», 3) «высокий», 4) «далекий», 5) «близкий»— с соответствующими словарными статьями, содержащими материал 18 современных тюркских языков (стр. 173). Статья насыщена обширным хорошо подобранным фактическим материалом; большой интерес представляют многие фонетические, грамматические и этимологические наблюдения автора.

Говоря о слове *јоқ* «нет» автор замечает, что первоначальный фонетический облик этого слова и его значение неизвестно

[21] См. еще: G. J. Ramstedt, Studies in Korean etymology, Helsinki, 1949, стр. 84—85.

[22] Примеры см.: А. М. Щербак, Об алтайской гипотезе в языкознании, ВЯ, 1959, 6, стр. 62.

[23] Б. Владимирцов, Следы грамматического рода в монгольском языке, ДАН.— В, 1925.

[24] Собственно, это уменьшительно-ласкательная форма, так как в тюркских языках уменьшительно-уничижительная форма, как правило, выражается описательно.

(стр. 180), хотя существует объяснение, предложенное А. Габен: *jo-ŋ-* «nicht vorhanden» (ATG, § 127, 153).

Киргизское *жоқчу* «разыскивающий пропажу» (стр. 183) восходит к корню *joқ-*, заключенному в турецком глаголе *joқ-ла-мақ* «проверять».

На основании того, что слово *ярлы* по-русски переводится «'бедный', 'скудный', 'неимущий', а также 'бедняк'», оно рассматривается употребляющимся «то в качестве прилагательного, то в качестве существительного. Оно может употребляться также и в качестве наречия» (стр. 185); примерно то же говорилось выше о слове *joқ*. Морфологическое строение (наличие аффикса *-лы*) точно определяет принадлежность слова *ярлы* к разряду имен прилагательных: как всякое имя прилагательное, оно может субстантивироваться, а также использоваться в функции определения как при имени, так и при глаголе, оставаясь тем же именем прилагательным. Среди возможных предположений о составе этого слова следует, конечно, упомянуть этимологию Вамбери (V, § 127 — II).

Говоря о корне *муң* (стр. 202—203), необходимо добавить его исходный фонетический вариант *буң* (ПДТП, стр. 374).

Слово *ырақ/ерақ* (как и *узақ*) по своему строению является глагольным прилагательным на *-ҡ*, а не существительным (стр. 212); очень заманчиво слова *ырақ* (< *ыр* + *a-ҡ*), *узақ* (< *уз* + *a-ҡ*) возвести (по закону соответствия *р* : *в*) к единому корню **°р* : °*в*; ср. еще: *ӧр* «верх», *ӧрӱ* «вверх» (стр. 230—231) и *ӧз*, *ӧзӓ*.

К сказанному о слове *ӱ̈ксӓк* (и его фонетический вариант) «высокий» можно добавить, что его исходная основа *ӱӱксӓ-* (<**ӱӱк* + *-сӓ-*) первоначально могла значить «стремиться вверх».

Прилагательное *уча/уҗа/* встречается не только в азербайджанском языке (стр. 227), но и в турецком языке — *уйсе* «1) высокий, высший, верховный; 2) возвышенный, благородный; 3) высокое место, вершина, верхушка, макушка» (М Сл, стр. 682). «Прилагательное *уча*, по-видимому, заимствовано из персидского языка»,— пишет автор (стр. 228).

П. М. Мелиоранский, анализируя слово *jokары*, *jоʁары*, замечает: «весьма вероятно, что было два корня *jö* и *jo*...: от первого из них есть и теперь в османском языке слово ,,высокий, высоко" с несколькими производными»[25].

В статье Э. Р. Тенишева «Глаголы движения в тюркских языках» (стр. 232—293), как указывает сам автор (стр. 233), рассматриваются глаголы только собственно или преимущественно движения, среди которых выделяется прежде всего группа глаголов, передающих действие в его наиболее общей форме («глаголы общего значения»); другие глаголы движения («глаголы частного значения») на основе некоторых частных признаков (способ, скорость движения, наличие преграды) поддаются классификации. «Каждый разряд в данной статье представлен глаголами, наиболее употребительными в тюркских языках; учитывается семантика корня и производных от него форм» (стр. 233). К числу многих достоинств данной статьи следует отнести тщательную систематизацию материала и широкий сравнительный характер сопоставлений.

З а м е ч а н и я. Глагол *бар-* в составе сложных форм типа *адырылу бардым*, *уча барды* (стр. 237) выступает в своем «служебном» (т. е. модифицирующем) значении, о чем хорошо сказано на стр. 238—239. Глагол *ҡайт-* в примерах *оҡуп ҡайтти*, *көрӱп ҡайтти* (стр. 243) выступает в своем самостоятельном значении.

К числу языков, имеющих сложную глагольную форму на *-(ӓ)асы* + глагол *кӓл-* (стр. 248), следует добавить турецкий[26].

Глагол *чыҡ-* (стр. 257) М. Кашгарский (МК, стр. 116), как на то впервые обратил внимание Ж. Дени, сопоставляет с глаголом *таш-ыҡ-* : [*та*]*ш-ыҡ* > *чыҡ-*.

Может быть, глагол *аш-* «перевалить, миновать» (стр. 279) следует производить от *таш* «наружная часть»; ср.: *таш-* «переливаться через край; выступать из берегов; разливаться» (М Сл, стр. 590).

Глагол *йоры-* с его фонетическими вариантами «ходить», «идти» (стр. 271) является «учащательной», или «интенсивной» формой[27] от глагола *йор-*; ср.: узбекск. *юр-* «идти».

Нельзя ли в составе глагола *ӱйгӱр-* (и его фонетических вариантов) «бегать» (стр. 288) выделить корень *ӱй-* (ср.: *ӱй* + *р-/ӱй* + *р* + *ӓ-* «ходить») + *-гӱр-* аффикс понудительного залога.

К числу имен прилагательных, образованных от глагола *чап-* (стр. 290), следует прибавить турецкое *çab-uk* «быстрый скорый, ловкий, проворный; беглый» (М Сл, стр. 105).

К списку анализируемых в статье глаголов следует добавить: *ташы-* «тащить, влечь по земле, возить» (Р Сл, III, стб. 935); *долаш-* «обходить, гулять, странствовать» (Р Сл, III, 1717); *долан-* «идти кругом» (Р Сл, III, 1715); *каз-* 1) «проходить, пробегать»; 2) «шататься, ходить по всем странам» (Р Сл, II, 1171);

[25] П. М. Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-Тегина, СПб., 1899, стр. 82.

[26] См. М. С. Михайлов, О форме на *-(y)asы* в турецком языке, сб. «Вопросы языка и литературы стран Востока», М., 1958, стр. 150—152.

[27] См. П. М. Мелиоранский, Араб Филолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. LIX—LXIV; Räs., стр. 152—153.

gez- «гулять, прогуливаться, ходить, расхаживать» и др. (М Сл, стр. 209); *gät-* «водить, погонять» и др. (М Сл, стр. 223); *қон-* «остановиться, расположиться на жилье; садиться (о птицах)» и др.[28] (Р Сл, II, 531—535; М Сл, стр. 357); *gönder-* «отправлять, посылать» (М Сл, стр. 214); *yolla-* «посылать, отправлять» (М Сл, стр. 679); *irakla-*; *iraklan-*; *iraklaş-* (М Сл, стр. 280); *ičik-* «входить во внутрь, подчиняться» (ПДТП, стр. 379; ATG, стр. 310); *tašyq-* «распространяться, выйти (из центра на периферию)» (ПДТП, стр. 427) и целый ряд других.

Как первый опыт классификации глаголов движения, казалось бы, заслуживает внимания диссертация В. Ф. Вещилловой «Глаголы движения в турецком языке» (1951; указание на ее автореферат есть на стр. 232); однако Э. Р. Тенишев обошел эту работу полным молчанием...

В статье А. А. Юлдашева «Глаголы чувственного восприятия (verba sentiendi) в тюркских языках» (стр. 294—321) важная и для лексикологии и синтаксиса тема впервые разрабатывается на большом фактическом материале. Определяя специфику этих глаголов, автор указывает, «что они обозначают не действие, активно вызываемое субъектом, а чувственное восприятие, констатируемое субъектом», и «... в силу указанного своеобразия своей семантики они (глаголы чувственного восприятия.— *А. К.*) не допускают форм, в которых заключено указание на действие, исходящее от самого субъекта произвольно или сознательно...» (стр. 295).

Глаголы чувственного восприятия А. А. Юлдашев делит «на две группы: 1) глаголы, выделяемые только по указанным общим для всех них признакам, 2) глаголы, требующие особого построения» (стр. 296). К первой группе отнесено «сравнительно небольшое число корневых глаголов типа тат. *сизү* „чувствовать", *күрү* „видеть", *ишетү* „слышать", *телә* „хотеть", *сызлау* „ныть" и единичные сложные глагольные лексемы типа казах. *таң қалу* „восхищаться", татар. *гашыҡ булу* „влюбляться"» (стр. 296). Таким образом, оказались не включенными в первую группу такие общеупотребительные глаголы чувственного восприятия как: *сан-* «думать, считать»; *сай-* «считать»; *бил-* «знать, считать» (а также их арабские дублеты: *zannet-*, *addet-*, *farzet-*) и др. Во вторую группу входят «сложные глагольные лексемы типа киргиз. *ачу келүү* „злиться"» (стр. 306). Но чем отличается *таң қалу* от *ачу келүү*?

Обратимся к рассмотрению первой группы глаголов чувственного восприятия. Глагол *сез-* «чувствовать», вопреки утверждению (стр. 296), широко употребляется и в азербайджанском (*сез-*), и в туркменском (*сыз-*), и в турецком (*sez-*). Синонимом глагола *сез-*, *сыз-* является глагол *туй-*, *дуй-* и в известной мере — *мат-* (стр. 297—298); если принять во внимание соответствие *т*(*д*) : *с*(*з*); *т*(*д*):*й* (Ряс., стр. 150 и сл.), то эти три глагола, с известной долей вероятия, можно будет возвести к единому корню *^{o}m + ^{o}m(*д*).

Очень важен вопрос о соотношении форм *көр-* «видеть» и *көз-* «глаз» (стр. 300); автор полемизирует с Г. Д. Санжеевым, не называя работы, в которой последний излагает свою интересную точку зрения (к сожалению, цитация оставляет желать лучшего и в других местах — см. стр. 296, примеч. 5; стр. 300, примеч. 18). Приведенные на стр. 301 примеры не дают никаких оснований приписывать глаголу *көр-* значение «испытать, пережить» (стр. 301): в уйгурском *bu atni minip kө*(*r*) «попробуй поездить на этой лошади» *kөr-* выступает при деепричастии на *-ip* в качестве модифицирующего глагола (см. стр. 303); примеры типа *куп күргән — куп белгән* могут быть переведены: «кто много (по)видал, тот много знает».

Вопрос о составе глагола *тилә-* (стр. 304) обычно решается так: *тилә-* < *ти-* + *-л* + *-ә*, где *ти-* «говорить», *-л* — аффикс отглагольных имен (*тил* «язык», см. Вг., § 72), *-ә* — аффикс отыменных глаголов; см. еще в рецензируемом сборнике стр. 379—382.

А. А. Юлдашев много внимания и соответственно места уделяет рассмотрению глаголов чувственного восприятия второй группы, которые «ничем не отличаются от обычных сложных слов вообще, от сложных глагольных лексем типа „именная основа + служебный глагол", в частности» (стр. 307). Увлекшись семантико-морфологическим анализом сложных глагольных лексем (чем до сих пор тюркологи занимались не очень много), автор учел далеко не все существующие типы подобных образований, с одной стороны, и совершенно не осветил один из важнейших вопросов, связанных с изучением первой группы глаголов чувственного восприятия, с другой стороны, — их особую синтаксическую роль[29].

В обстоятельной статье Н. З. Гаджиевой, А. А. Кокляновой «Глаголы речи в тюркских языках» (стр. 322—460) на большом, тщательно систематизированном материале исследуются глаголы речи, которые авторы делят на два больших разряда: 1) глаголы речи с общим значением, которые «обозначают лишь чистый акт говорения» (стр. 322,— к ним относятся глаголы *де-*, *айт-*, *сөйлә-*, *чу-*

[28] Ср.: *ан-/ән-/ин* (стр. 269).

[29] Об этом см.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.— Л., 1956, стр. 515—521.

гаалаар-, чоохта-, глаголы, производные от *чап-, кэпсээ-, даныш-, копыҫ-*; 2) глаголы речи с дифференцированным значением, среди которых «одни... определяют характер или способ речи, другие называют объект речи с акцентуацией на форму высказывания и т. д.» (стр. 322),— к ним относятся глаголы: *söylemek, anlatmak, nakletmek, dilemek, билдир-, хабарлан-* и ряд других. В этой работе заслуживает быть отмеченным, прежде всего, обстоятельное освещение морфологических, синтаксических и фразеологических функций глаголов *де-* (стр. 324—341) и *айт-* (стр. 341—350), а также система подачи исследованного материала.

Глагол *айт-* (стр. 341, 342, 343) в современном турецком литературном языке не употребляется; в 3-м издании «Türkçe Sözlük» этого глагола нет. Глубокие и тонкие наблюдения над функциями и значениями *айт-* следует пополнить одним интересным фактом: чужая речь в ее прямой передаче в «чагатайских», староосманских сочинениях и в некоторых современных тюркских языках (например, в узбекском) обрамляется глаголами *айт-*, который, как правило, стоит перед прямой речью, и заключающим ее *де-* [30].

Нельзя считать правильной этимологию аффикса *-да(-ла)* < *айла-/-эйла-* (стр. 351), так как сама эта основа состоит из *ай-/эй-* + *-ла/-лэ*; о составе аффикса *-да* (*-ла*) существует целый ряд предположений [31].

При рассмотрении слова *диамач* (и его фонетических вариантов, стр. 380) полезно было бы сослаться на литературу предмета [32].

Обстоятельный морфолого-семантический анализ глагола *сор-/сур-* (стр. 384—388) необходимо было бы подкрепить анализом этимологическим, рассмотрев старый вопрос об отношении глагола *сор-/сур-* к имени существительному *сöз* «слово».

Глагол *қарғы-/қарға-* «проклинать» (стр. 418) сопоставляется с именем существительным *қарға* «ворона» (стр. 419); по Вамбери (V, § 84), в основе этого глагола лежит слово *қара* «черный» («чернить > проклинать»).

Глагол *алда-* «обманывать» (стр. 421) < *ал* «хитрость, обман, уловка» (Р Сл, I, стб. 349) + *-да/-ла* — глаголообразующий аффикс (V, § 13). «Возможно,— пишут авторы (стр. 425),— что слова *жала/яла* и *жалган/ялган/ялан* „ложь", „клевета" (и др. значения.— *А.К.*) восходят к одному слову с корнем *жал/ял*». Весьма вероятно, что *жал/ял* (*йал*) восходит к *ал* «обман» с протетическим *й*: *йал* > *жал* (ср. *аҕач/йаҕач/йыҕач* «дерево» — см. Ряс., стр. 163). Что касается хакасского глагола *алда-* «утешать» (стр. 422), то он, видимо, имеет прямое отношение не к глаголу *алда-* «обманывать», а к хакасскому глаголу *ал* + *да*+*ы* «утешать» (стр. 395), корень которого обнаруживается в глаголе *йалбар-/йалвар-/йалын-* «умолять» (стр. 395), т. е. в этом случае *ал-* = *йал-*; по Будагову, *йалвар-* < *йалы-* + *вар* (Б Сл, II, 338; ср. V, § 127 — I).

Приступая к рассмотрению группы глаголов речи, которые образованы от междометий при помощи аффиксов *-қыр* и *-қай* (и их фонетических вариантов), авторы пишут, что аффикс *-қыр* «видимо, восходит к звукоподражательному слову *гыр-гыр*»; «...что касается аффикса *-қай*, то нам представляется возможным связать его с междометием *хай*! „о", „ой!"» (стр. 432). Существует, однако, значительная литература по вопросу о составе этих аффиксов; наиболее вероятным представляется следующее предположение: *-қыр/-ғыр/-қар/-ғар...*<*-қы/-қа*+*-ра*(: *-ла*)[33]. Что касается аффикса *-қай*, то в литературе нет указаний на его словообразовательные функции, а примеры, приведенные на стр. 433: *айқайлау, айҳайламоқ*, не могут служить подтверждением, так как *айқалау* < *ай* + *қ*(*ҳ*)*ай* + глаголообразующий аффикс *-ла* +*-у*; *айҳайламоқ* < *ай* + *-ҳай* +*-ла* +*-моқ*, где *ай* — *ҳай* — междометие «эй — ой»; таким образом, остается только один пример (сомнительный!), в котором аффикс *-қай* выступает в словообразовательной функции: *айқай-* (значение не указано, стр. 433).

Может быть, корень глагола *ин* + *да-* (стр. 443) имеет значение «стон» (*ин*), а не «звук», «голос» (*ӱн*)?

*

Сборник [34] в целом оставляет благо-

[30] Примеры см.: А. Н. Кононов, Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского, М.— Л., 1958, стр. 176; В. Д. Смирнов, Образцовые произведения османской литературы в извлечениях и отрывках, СПб., 1903, стр. 17.

[31] Räs., стр. 145—146, 147—148; J. Deny, указ. соч., § 139, 142; ср. также: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 246.

[32] См. P. Jyrkänkallio, Zür Etymologie von russ. *tolmač* «Dolmetscher» und seiner türkischen Quelle, «Studia orientalia», XVII, 8, Helsinki, 1952, стр. 3—11; J. Németh, Zur Geschichte des Wortes *tolmács* «Dolmetscher», «Acta Orient. Hung.», VIII, 1, 1958, стр. 1—8.

[33] Другие этимологии см.: Z, стр. 134—135; 139—141; Br., §§ 163, 164; Räs., стр. 146—147.

[34] Название его — «Историческое развитие лексики тюркских языков» — не отвечает содержанию; сборник следовало бы назвать «Тюркская лексика (Материалы и исследования)» или «О тюркской лексике».

приятное впечатление; самая сильная (и наиболее полезная) сторона сборника — богатый фактический материал, подаваемый, как правило, в строгой, хорошо продуманной системе. Слабой стороной наших лексико-грамматических исследований остается изучение состава слов и форм, т. е. этимологические исследования, которые приобретают особое значение в настоящее время, когда проблема создания Тюркского этимологического словаря остается весьма актуальной. Существенным недостатком, характерным почти для всех статей сборника, является отсутствие указаний на работы своих предшественников; нет уверенности в том, что учтена вся специальная литература исследуемых проблем.

Первый опыт изучения целого ряда разделов тюркской лексики, представленной в сборнике, даже при строгой его оценке следует признать вполне удавшимся; положено хорошее начало планомерному изучению тюркской лексики, сулящему заманчивые перспективы.

А. Н. Кононов

St. Kałużyński. **Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache.** — Warszawa, Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1961. 171 стр.

Как известно, алтайское языкознание все еще находится на начальной ступени своего развития. Многочисленные исследования В. Шотта, Г. Рамстедта, В. Котвича, Б. Я. Владимирцова, Ю. Немета и других ученых освещают различные стороны взаимных исторических связей так называемых алтайских языков. Однако степень изученности этих языков ныне такова, что их исконное родство никак не может считаться научно обоснованным. Мнения различных ученых относительно генетических связей алтайских языков резко расходятся между собою: Г. Рамстедт, Б. Я. Владимирцов и другие родство этих языков признавали несомненным, тогда как Дж. Клоусон, А. М. Щербак и другие полагают не без основания, что общие элементы, имеющиеся в монгольских, тюркских и особенно тунгусо-маньчжурских языках, являются результатом длительного исторического контакта между носителями этих языков; В. Котвич и Л. Лигети генетическое родство алтайских языков считают гипотетическим и нуждающимся поэтому в научном обосновании. Иными словами, алтаистика пока в общем представила лишь гипотезу о родстве названных языков, которая должна быть подтверждена в дальнейшем путем применения строгих методов сравнительно-исторического анализа при исследовании накопленного несколькими поколениями ученых и предварительно изученного материала[1].

В настоящее время благодаря кропотливым исследованиям многочисленных языковедов более или менее точно очерчен круг фонетических и грамматических явлений, которые оказываются общими для большинства алтайских языков, выявлены определенные закономерности в фонетических и грамматических соответствиях и установлены известные фонетические законы, оправдывающие подобные сопоставления. Остается лишь определить, являются ли эти соответствия в алтайских языках результатом исконного генетического родства указанных языков или они оказываются следствием образования общего фонда языковых элементов в процессе длительных контактов между народами и племенами, по языку именуемыми алтайскими. В общем можно сказать, что алтайское языкознание представляет собою такое поле лингвистического исследования, где применение строгих методов сравнительно-исторического языкознания необязательно сопровождается признанием исконного генетического родства изучаемых языков, причем эти методы никак не должны смешиваться с методами так называемого сопоставительного языкознания.

Если фактическая сторона в фонетическом и грамматическом строе алтайских языков может считаться в настоящее время более или менее изученной (как уже замечено выше, спорной остается сравнительно-историческая интерпретация изученного), то лексика этих языков по-настоящему в сравнительно-историческом и историко-этимологическом отношении все еще остается вне поля зрения исследователей, хотя материал накоплен значительный в виде различных словарей

[1] Л. Лигети обращает внимание на весьма любопытную деталь: монгольские и тюркские языки находятся в такой тесной связи друг с другом, что это как будто бы позволяет говорить об их исконном генетическом родстве; то же самое можно сказать и относительно тесных связей между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками. Связи же между тюркскими и тунгусо-маньчжурскими языками не столь тесны, и их генетическое родство является далеко не очевидным, а между тем все эти языки — монгольские, тюркские и тунгусо-маньчжурские — считаются родственными и восходящими к одному и тому же алтайскому праязыку (см. об этом: Г.Д. Санжеев, Академик Лайош Лигети и развитие алтаистики в Венгрии, «Народы Азии и Африки», 1962, 5, стр. 159—162).

и других справочных пособий. По-настоящему же лексику алтайских языков можно будет считать изученной в указанных отношениях только тогда, когда будут точно определены тюркские элементы в монгольских языках и, наоборот, монгольские в тюркских языках; то же самое необходимо сделать и с тунгусо-маньчжурскими элементами в монгольских и тюркских языках. Для этого необходимо определить, например, из каких монгольских языков и когда (в плане относительной или даже абсолютной хронологии) соответствующие слова проникали в те или иные тюркские языки. Известно, что одни монгольские элементы имеются лишь в одном или некоторых тюркских языках, тогда как другие монголизмы обнаруживаются во всех тюркских языках. То же самое надо сказать и о тюркизмах в монгольских языках. Лишь после установления этого окажется возможным говорить о таком общем лексическом фонде, который восходит к гипотетическому алтайскому праязыку[2]. Разумеется, монгольские слова, проникшие в различные тюркские языки, имеют неодинаковый фонетический облик, неодинаковую семасиологическую окраску, что зависело от условий и времени соответствующего заимствования и чему в исследованиях алтаистов до сих пор совершенно не уделялось внимания. Поэтому надо приветствовать недавно опубликованный опыт исследования монгольских элементов в якутском языке, осуществленный в указанном выше направлении молодым польским алтаистом С. Калужиньским.

Труд С. Калужиньского состоит из исследования фонетических (стр. 13—67) и морфологических (стр. 68—118) особенностей монгольских элементов в якутском языке, заключения (стр. 119—128) и приложений — списка монгольских слов (стр. 129—150) и указателя разобранных якутских слов (стр. 151—170).

Автор справедливо отмечает, что при отсутствии каких-либо достоверных сведений о ранней истории якутского народа анализ лингвистического материала в какой-то степени может пролить некоторый свет на далекое прошлое этого народа. До сих пор наукой не выяснено, когда и какими путями предки якутов из какой-то области Центральной Азии направились на север — сначала, по-видимому, в Приангарье, а затем — в бассейн реки Лены. Пока же С. Калужиньский, основываясь на изучении монгольско-якутских языковых параллелей, датирует тесные исторические связи предков якутов с монголами периодом становления «мирового монгольского государства», а также следующим, лингвистически «среднемонгольским», периодом, т. е. XII—XIII и затем XV—XVI вв. Автор полагает, что «большое количество монгольских заимствований социально-политического содержания определенно свидетельствует о социальном и политическом подчинении якутов монголам. Можно с уверенностью утверждать, что якуты оказались на севере не раньше XIII в.» (стр. 120). При этом автор обосновывает свое утверждение анализом значений имени Чингисхана (якут. *чыҥыс* «великий, сильный», *Чыҥыс-хаан* «одно из древних якутских божеств, живущих будто бы на небе, бог жестокий») и этнонимов «монгол» (якут. *мо ол* ~ *мо ул* ~ *моҥол* «большой, великий») и «урянха» (якут. *ураҥхаі* «старинное название якутского племени»). Одних этих данных для такого ответственного вывода было бы недостаточно, однако далее автор приводит в пользу этого положения убедительные лингвистические доказательства общего характера, анализируя, во-первых, такие монгольские заимствования в якутском языке, которые были известны в ранних памятниках монгольской речи, но не встречаются в более поздних памятниках этой же речи и современных монгольских языках. Таковы, по мнению автора, в якутском монголизмы типа, например, *бäл* «даже», *боһоі* «мешать, препятствовать», *дäгä* «чрезмерно, слишком» и т. п. (соответственно монг. *бел*, *босо* и *дегее-*). Во-вторых, С. Калужиньский справедливо указывает на такие признаки монголизмов в якутском, которые отражают древнее состояние монгольской фонетики, например: а) сохранение в первом слоге гласного *i*, подвергшегося перелому в среднемонгольский период, примерно в XV—XVI вв., б) наличие аффрикатов *дж* и *ч*, которые в определенных позициях в современных монгольских языках, кроме южномонгольских, развились в свистящие аффрикаты *дз* и *ц* (в бурятском и калмыцком соответственно *з*, *с* и *з*, *ц*). Следовательно, определенная группа монголизмов в якутском появилась, с одной стороны, после того, как древнемонгольские *д* и *т* в положении перед гласным *i* превратились в аффрикаты *дж* и *ч*, а, с другой стороны, до того, как эти шипящие аффрикаты в центральных монгольских языках стали свистящими *дз* и *ц*, т. е. примерно в XV—XVI вв. Мы уже не говорим о том, что соответствующие монголизмы проникали в якутский язык в период, когда в этом языке общетюркские согласные *ч* и *j* ← **дж* давно развились в спирант *с*.

В общем автор устанавливает, что тот монгольский язык (или же языки), из

[2] Общие элементы неалтайского (индоевропейского, арабского, тибетского и китайского) происхождения выявляются, конечно, без особого труда. Правда, сложным является обнаружение палеоазиатских элементов, проникших в алтайские языки в весьма давние времена.

которого некогда якутский заимствовал множество слов, характеризовался следующими признаками: 1) наличием долгих гласных и дифтонгов вместо более ранних двоеслогов; 2) началом перелома гласного *i* (если не считать некоторого количества исключений); 3) сохранением конечного согласного *-н*, ныне наличного лишь в бурятском, калмыцком и афганско-монгольском языках; 4) сохранением начальных шипящих аффикатов *дж* и *ч* (некоторые исключения имеются, однако, и здесь); 5) отсутствием гортанного *h*, известного некоторым монгольским диалектам среднего периода. Установление этих весьма существенных особенностей монголизмов в якутском, которые не могут быть объяснены на якутской почве, уже позволяет определить примерную хронологию тесных языковых связей якутов с монгольскими племенами, поскольку перечисленные признаки монголизмов в якутском более или менее точно приурочиваются к определенным периодам развития определенных же монгольских языков.

В связи с изложенным автор ставит чрезвычайно интересный вопрос: каково отношение монголизмов в якутском к тому, что характерно для современного бурятского языка? Такая постановка вопроса вполне оправдывается беглым взглядом на географическую карту, которая как будто бы подсказывает, что из монгольских племен прошлого именно бурятские прежде всего были теми, с которыми якуты должны были бы иметь тесные культурные, языковые и прочие контакты. Как бы в ответ на данный вопрос автор указывает на следующие явления: 1) общемонгольский спирант *с* в конце слога и слова в бурятском языке отражается как *д*, тогда как в якутском *с* остается без изменения; 2) общемонгольский согласный *г* перед гласным *i* в бурятском изменился в *j*, а в якутском *г* остается без изменения; 3) гласный *i* в позиции перед слогом, имеющим в своем составе *i* или *е*, изменился в *е* в бурятском языке, но сохраняется в монголизмах, бытующих в якутском. Однако, как это отмечает и сам автор (стр. 124), перечисленные особенности бурятского языка являются новейшими, и поэтому, основываясь только на них, нельзя отрицать возможность проникновения соответствующих монголизмов в якутский язык через бурятский в более ранний период, примерно до XVI в. Как известно, уже в первой четверти XVII в. (т. е. в период появления русских в Восточной Сибири) непосредственные контакты якутов с бурятами не были интенсивными и во всяком случае осуществлялись не всеми якутскими родами и племенами, расселившимися к тому времени на всей территории нынешней Якутии. А ведь монголизмы ныне имеются во всех якутских говорах, в том числе и в таких, которые распространены очень далеко от территории расселения бурятского населения.

Автор обращает внимание читателя на те монголизмы в якутском, которые имеются лишь в бурятском языке и отсутствуют в других монгольских языках. Таковы, например, слова типа *сајып* «весенний снег», *сап* «нитка», *соппоң* «малопитательный» и другие (соответственно бурят. *hайб* «половодье», *hаб* «нитка», *hобхон* «малопитательный»). Если верно, что эти слова являются монголизмами, точнее — бурятизмами, то они проникли в якутский язык до того, как в бурятском языке предвокальный *с* превратился в гортанный *h*, но после того, как в якутском языке тот же предвокальный *с* превратился в гортанный *h* и затем вообще исчез. Следовательно, проникновение означенных бурятизмов в якутский язык во времени локализируется более или менее точно. Мы ставим под сомнение монгольское происхождение перечисленных слов потому, что эти слова в бурятском языке являются весьма загадочными, так как отсутствуют в других монгольских языках. Поэтому очень возможно, что эти слова являются, наоборот, якутизмами в бурятском языке, проникшими туда после того, как в якутском языке общетюркские *ч* и **дж* → *j* развились в спирант *с*, и также до того, как в бурятском этот *с* превратился в гортанный *h*. Во всяком случае эти монголизмы в якутском, или якутизмы в бурятском должны быть подвергнуты дополнительному исследованию наряду с бурятскими словами типа *соол* «дом, печь», которые совершенно неизвестны в других монгольских языках. Очень возможно, что наши поиски в данных случаях должны идти по направлению к неалтайским языкам, например, к палеоазиатским.

Автор приводит также некоторое количество иноязычных — санскритских, китайских и иранских — заимствований, которые проникли через посредство монгольского языка в якутский в очень позднее время, например: *сандалы* «древний стол», *манја* «мзда, награда, плата», *мāны* «почтение, почет, уважение», *болот* «меч», *бујан* «благодать», *бахсы* «хозяйка; часть сложного имени; название одного рода и наслега», *тојон* «господин, князь» и т. п.

В ходе исследования С. Калужиньским учтено более 500 слов и около 60 грамматических морфем (словообразовательных суффиксов и глагольных формантов, преимущественно деепричастных) монгольского происхождения, имеющихся в якутском языке. Весьма любопытно, что многие из этих грамматических морфем оказываются продуктивными и в современном якутском языке. Это обстоятельство еще раз подтверждает возможность за-

имствования грамматических форм одним языком из другого, что особенно относится к языкам одной и той же типологии, не говоря уже о родственных языках или тех, родство которых предполагается (напоминаем, что родство тюркских и монгольских языков пока еще не доказано). Автор, говоря о большом влиянии монгольского языка на якутский, отмечает конструкцию, которая неизвестна в остальных тюркских языках, но вполне обычна в монгольских: *аҕа иҕэ іккі* «отец и мать» (буквально: «отец мать два», ср. монг. *эх эцэг хоёр* в том же значении).

Приведенные С. Калужиньским данные о монголизмах в якутском представляют большой интерес также в отношении возможности определения продолжительности соответствующих эволюционных изменений в историческом развитии языков вообще, поскольку дело касается прежде всего фонетического и грамматического строя последних. Как известно, в какую-либо одну историческую эпоху изменяется, как правило, не вся фонетическая или грамматическая система того или иного языка, а лишь ее отдельные звенья. Так, например, в историческом развитии якутского языка можно говорить об изменении общетюркских *ч* и *j* (← **дж*) в спирант *с* и общетюркского же спиранта *с* в гортанный *h* и затем в ноль звука. В центральных же монгольских языках примерно в XVI в. происходило развитие шипящих аффрикат *дж* и *ч* в свистящие *дз* и *ц* (а затем в бурятских диалектах — соответственно в *з* и *с*). Кроме того, в бурятских диалектах спирант *с* развивается в гортанный *h* (перед гласным) и смычный *д* (в конце слога). Поскольку эти изменения в монгольских языках хронологизируются более или менее точно, постольку же установление периода проникновения монгольских элементов в якутский язык не представляет большой сложности. А сопоставления периодов соответствующих эволюционных изменений в якутском и монгольских языках позволяют говорить о том, что продолжительность этих изменений едва ли превышала период жизни двух-трех поколений, т. е. примерно 60—70 лет.

В целом же С. Калужиньский, как уже выше отмечено, относит период интенсивных исторических связей якутов с монголами к XII—XVI вв., оговаривая условность этих хронологических рамок; возможно, замечает автор, контакты имелись и раньше, но это трудно обосновать: он «почти не нашел ничего такого, что было бы древнее среднемонгольского, а, наоборот, многие из этих якутских монголизмов относятся к концу данного лингвистического периода или даже к более поздним временам» (стр. 122).

Таким образом, рассмотренный нами труд С. Калужиньского является в алтаистике первым, где заимствования из одного языка в другой изучаются так обстоятельно и глубоко с вполне оправданной попыткой их относительной и отчасти абсолютной хронологизации. Только продвигаясь таким путем и при условии именно дифференцированного изучения исторических связей между различными тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, современная алтаистика может подняться на новую, многообещающую ступень своего дальнейшего развития. Дело в том, что алтаистика в современном своем состоянии нуждается именно в глубоких сравнительно-исторических и историко-этимологических исследованиях лексики изучаемых ею языков, поскольку в отношении основного лексического фонда и особенно его наиболее древних пластов эти языки существенно расходятся между собою,— это своего рода «ахиллесова пята» алтайского языкознания.

Труд С. Калужиньского показывает также те возможности, которые открывает перед историками сравнительно-историческое языкознание. В данном случае несомненно, что историки якутского народа с необходимым вниманием отнесутся к тем результатам, к которым пришел С. Калужиньский, исследуя якутско-монгольские языковые связи.

Г. Д. Санжеев

Г. А. Зограф. **Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала.** — М., Изд-во Восточной литературы, 1960. 134 стр. (Серия «Языки зарубежного Востока и Африки» под общей ред. проф. Г. П. Сердюченко) [ротапринт. изд.].

Бесспорным достоинством серии «Языки зарубежного Востока и Африки» является то, что она знакомит читателя с рядом малоизученных языков и диалектов, дает представление о лингвистическом многообразии этих стран. Со времени выпуска первых работ серии прошло немногим более трех лет, но мы уже располагаем значительной частью материала. По-видимому, еще преждевременно давать полную и развернутую оценку серии в целом. Ряд очерков, несомненно, заслуживает особого рассмотрения. Однако в данной рецензии позволим себе остановиться лишь на одном из них, а именно на книге Г. А. Зографа — первом сводно-обзорном очерке.

В лингвистической серии общим сводным очеркам придается первостепенное значение, поскольку они должны систе-

матизировать наблюдения и факты по отдельным языкам, наглядно отразить особенности той или иной группы языков и наряду с этим в конкретной и краткой форме охарактеризовать отдельные языки, рассмотренные более подробно в специальных очерках. Отмеченные две основные задачи и выполняет работа Г. А. Зографа[1], хотя описание отдельных языков в ней явно преобладает над общим, сводным обзором.

Книга Г. А. Зографа ставит перед собой задачу систематизировать основные данные по языкам и важнейшим диалектам Индийского субконтинента и острова Цейлона, принадлежащим к четырем различным семьям: индоарийской, дравидийской, тибето-бирманской и австроазиатской (мунда и мон-кхмер), выяснить характерные черты их грамматики, фонетики и лексики, показать их место и роль среди других языков в пределах данной группы и по отношению к другим группам данной семьи. Очерк Г. А. Зографа опирается на большой фактический материал. Основным источником работы (как особо отмечается в предисловии) был «Лингвистический обзор Индии»[2].

Четкость изложения, лаконичность общих формулировок, соблюдение единого плана в подаче языкового материала — неоспоримые достоинства рецензируемой книги, а некоторый схематизм описания при изложении языковых данных, к сожалению, в такого рода работах неизбежен. Языки индоевропейской семьи, в основном индоарийские, а также дравидийские, рассматриваются как в целом, так и в отдельности. Краткое описание каждого языка проводится по следующему плану: вначале даются общие сведения о языке, его различные наименования, географическое местоположение, количество говорящих; определяется его место в общей группе языков, указывается, на какие диалекты он делится. В конце вводной части приводятся некоторые сведения о литературе на данном языке. Конкретная часть описания языка строится так: фонетика, морфология (имя, местоимение, глагол), синтаксис (этот раздел имеется не во всех языках); в конце приводятся сведения об используемой системе письма. Таково содержание разделов по отдельным языкам.

Наиболее полно представлено описание литературного хинди и его диалектов. С этого языка, как самого распространенного на Индийском субконтиненте, и начинается конкретная часть книги. Разделы по некоторым диалектам хинди (кхари боли, авадхи, бходжпури) по своему объему не уступают разделам по отдельным языкам, а иногда даже превосходят их. Отчасти это объясняется тем, что до XIX в. литература хинди в основном развивалась на этих диалектах, кроме того, они занимают центральное положение среди других североиндийских языков и диалектов и на них говорит значительная часть индоарийского населения. Более подробное — сравнительно с другими — освещение диалекта западного хинди, известного под названием кхари боли, также имеет основание. Во-первых, этот диалект лег в основу литературного хинди, ставшего государственным языком современной Индии; во-вторых, это дает основание автору не повторять при описании других диалектов, например близкого к нему диалекта браджа, ряда общих грамматических форм. Грамматические таблицы, лингвистические карты и тщательно подготовленный индекс (насчитывающий 355 названий различных языков и диалектов)— все это значительно облегчает пользование книгой как общим руководством и как пособием-справочником.

Книга не лишена и недостатков, хотя следует отметить, что они не столь многочисленны, как можно было бы ожидать от первой работы такого рода. Естественно, что многие вопросы не могли получить должного освещения или вообще не были затронуты автором ввиду ограничного объема статьи. Даже очерки по отдельным индийским языкам этой серии, занимающие иногда несколько больший объем, носят далеко не всесторонний характер. В связи с этим возникает вопрос, существует ли необходимость включать

---

[1] Рецензируемая книга предваряет издание целого ряда очерков по отдельным индийским языкам. В данной серии вышли в свет следующие работы: З. Н. Петруничева, Язык телугу; М. С. Андронов, Тамильский язык; его же, Язык каннада; Ч. Секхар и Ю. А. Глазов, Язык малаялам; В. В. Иванов и В. Н. Топоров, Санскрит; Т. Е. Катенина, Язык хинди; Н. И. Толстая, Язык панджаби; В. Д. Бабакаев, Ассамский язык; З. М. Дымшиц, Язык урду. Подготавливается издание отдельных очерков по языкам пали, ория, маратхи, непальскому, сингальскому, бенгальскому, гуджарати, синдхи, а также издание сводно-обзорного очерка по дравидийским языкам. Помимо издания очерков по важнейшим литературным языкам, предстоит работа по изучению и подготовке очерков ряда других значительных современных индийских языков и диалектов: раджастхани, лахнда (западный панджаби), бходжпури, майтхили, двух важнейших в историко-литературном и лингвистическом отношениях диалектов хинди — брадж и авадхи, а также языков промежуточной, индо-иранской группы («дардских» языков), в первую очередь — кашмирского (кашмири).

[2] G. A. Grierson, Linguistic survey of India, I—XII, Calcutta, 1899—1928.

в общеобзорный очерк лингвистической серии языки различных семей и типов. При определении тематики общих, сводных очерков следовало бы руководствоваться в первую очередь лингвистическим, а не географическим или какими-либо другими факторами. Причиной объединения в одном очерке разносистемных языков, распространенных на территории четырех государств, видимо, послужил географический и историко-культурный критерий.

В результате охвата в книге неоднородного в лингвистическом отношении материала такие обширные семьи языков, как австроазиатская (мон-кхмер и мунда) и тибетобирманская, не получили достаточного освещения. Группа же иранских языков в обзоре фактически не представлена. Естественно, что для ознакомления с этими семьями языков необходимы специальные очерки. Поэтому в дальнейшем целесообразно разделять общие очерки, объединенные по страноведческому, политико-географическому и т. п. принципам, на обзорные очерки по отдельным семьям или даже группам, что даст реальную возможность в общих чертах описать их грамматический строй[3].

В книге Г. А. Зографа во вводной части к индоарийским языкам значительное место уделено вопросам их классификации. Здесь излагаются две основные классификации: Дж. Гирсона и С. К. Чаттерджи. Нельзя полагать, что они лишены принципиальных расхождений и в главных чертах совпадают одна с другой. Вопрос здесь не в распределении языков по группам (кстати сказать, оно не может существенно различаться, так как исходит из территориального деления), а в генетическом взаимоотношении этих групп, что является центральной проблемой в классификации родственных и — тем более — близкородственных языков. При рассмотрении диалектов бихари в составе языков восточной группы следовало бы отметить черты сходства с восточными диалектами хинди. Бходжпури хотя и относится к восточной группе, но более близок к авадхи (восточному диалекту хинди), чем к бенгальскому или ассамскому языкам. Хорошо было бы вообще указать на черты сходства языков, относимых к различным группам, но территориально близких друг к другу. Это подтвердило бы как тезис автора об условности любой классификации новоиндийских языков, так и упоминаемое наблюдение Дж. Гирсона о постепенности перехода одного диалекта в другой, о слитности смежных диалектов — безразлично, относят ли их к одному или разным родственным языкам (см. стр. 20).

К иллюстративному материалу, включенному в характеристику строя отдельных языков, желательно было бы добавить ряд наглядных примеров, общих по смыслу фраз или предложений на каждом из специально рассматриваемых языков и диалектов. Следовало бы для большей наглядности привести ряд сводных таблиц не только по языкам, как это сделано, но также и по отдельным группам языков.

Грамматический раздел к новоиндийским языкам (точнее — новоиндоарийским) лучше было бы дать несколько подробнее, учитывая то, что последующие разделы (классификация и словарный состав) написаны с большей детализацией. В связи с этим — для соблюдения пропорции в подаче отдельных сторон языка — и в разделы по языкам следовало бы включить общую характеристику словарного состава, его специфику. Таким образом, характеристика языка в целом включила бы все его аспекты: фонетику, грамматику, лексику.

Было бы полезно проиллюстрировать основные положения вводной части — о многообразии древнеиндийской флексии, о ее распаде в пракритах и — главное — о переходе в новоиндийских языках от флексии к анализу и затем, в некоторых случаях, от анализа снова к флексии. Хорошо было бы также дать характеристику грамматического рода в индоарийских языках в целом и по языкам в отдельности. В такой же общей характеристике нуждались наблюдения над конструкцией с послелогом деятеля в индоарийских языках. (Отметим попутно, что автор вполне прав в том, что избегает употребления термина «эргативный», так как он может вызвать неправильное представление о природе и характере этого явления в новоиндоарийских языках.)

Неясна в работе трактовка новоиндийского склонения и аналитических способов выражения падежных отношений. Наряду с названиями отдельных падежей употребляются термины «прямой» и «общекосвенный» падеж. Неясен вопрос соотношения между «общекосвенным падежом» и отдельными косвенными падежами. «Общекосвенный падеж» можно понять как общий термин, обозначающий совокупность косвенных падежей, т. е. все падежи, кроме именительного. Однако этот термин обозначает особый падеж; в таком случае следовало бы говорить об

[3] Развернутый сравнительно-исторический очерк дравидийских языков, впервые привлекающий данные целого ряда слабоизученных и неизвестных в нашей индологической литературе бесписьменных языков и диалектов, уже подготовлен М. С. Андроновым. Возникает необходимость и в специальном очерке индоарийских языков. Основой для последнего может послужить соответствующая часть рецензируемой книги.

отсутствии отдельных косвенных падежей. Под «общекосвенным падежом» имеется в виду, собственно, не падеж, а основа, выступающая в сочетании с послелогами (например, в хинди) или падежными суффиксами (как в маратхи). Падежные же отношения выражаются не самой основой, а общим сочетанием основы и послелога или суффикса. (Поэтому обычно основу и обозначают терминами «косвенная основа» или «основа косвенных форм»). В частности, едва ли можно согласиться с трактовкой маратхского склонения, наиболее развитого среди современных индоарийских языков, как двухпадежного (прямой и общекосвенный падежи). Аналогичное деление на «прямой» и «общекосвенный» падежи применено также к дравидийским языкам. Стремление к единой схеме подачи материала привело автора к тому, что при изложении фактов именного склонения и аналитических форм выражения падежных отношений общими терминами обозначаются несколько отличные друг от друга явления.

Касаясь лексики индоарийских языков, автор достаточно подробно определяет основные группы традиционной индийской классификации: т а д б х а в а, т а т с а м а, а р д х а т а т с а м а (стр. 16—17). На каждую из названных групп следовало бы дать примеры. Менее удачно, на наш взгляд, такое определение понятия т а т с а м а: «литературные заимствования из санскрита, сохранившие фонетический и орфографический облик, несвойственный новоиндийским языкам..» (стр. 17). Термин «татсама» обычно употребляется в более широком смысле. К татсама причисляют также и все новые слова, созданные на базе заимствований из санскрита. Фонетика и орфография татсама далеко не всегда расходятся с новоиндийскими нормами.

Все эти отдельные спорные толкования не снижают общей ценности работы, насыщенной конкретным материалом, обобщениями и выводами. Книга содержит не только основные сведения, но и множество приведенных в систему, тщательно продуманных и упорядоченных деталей и фактов и, таким образом, сможет послужить хорошим справочным пособием и общим руководством, дающим правильное представление о многообразии и богатстве индоарийских и дравидийских языков — двух основных и важнейших типов современной индийской речи.

Можно надеяться, что эта небольшая по объему, но весьма значительная и добросовестно подготовленная книга явится хорошим почином, и в данной серии наряду с очерками отдельных языков выйдут в свет аналогичные работы обзорно-справочного характера по языкам как общих семей, так и отдельных близкородственных групп.

А. С. Бархударов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ОБ ОДНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Для теории моделей языка, несомненно, плодотворен тот интерес, который начали проявлять к ней чешские лингвисты [1]. В данной заметке мы остановимся на модели синтаксического анализа, предложенной Л. Небеским[2].

Прежде всего изложим (с некоторыми упрощениями) основные идеи работы. Большая часть исходных понятий в сущности здесь та же, что и в теоретико-множественной концепции советских ученых[3]. Считается заданным некоторый словарь (совокупность словоформ) и некоторое множество «отмеченных фраз». Существенно новым моментом в модели является то, что в ней считается заданным множество «смыслов»; причем каждой «отмеченной фразе» (в дальнейшем вместо «отмеченная фраза» мы будем просто говорить «фраза») ставится в соответствие одно и только одно значение, или один и только один смысл (význam).

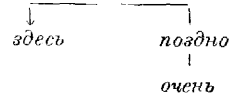
Считается, что мы для любых двух фраз A и B можем определить, построен ли смысл A на основе смысла B или нет. Например, смысл фразы *Говорят, что здесь поздно светает* и смысл фразы *Поздно светает* построены на основе смысла фразы *Светает*. Смысл фразы *Утром светает* не построен на основе смысла фразы *Поздно светает*. Подчеркнем, что данное понятие берется как понятие интуитивное, т. е. исходное для модели и в ней не определяемое.

Одним из стержневых понятий модели является понятие подфразы фразы A[4]. Предлагается говорить, что B входит в A, если B совпадает с A или A получена из B путем вычеркивания некоторых слов. Если B входит в A и смысл A построен на основе смысла B, то считается, что B есть подфраза фразы A. Например, *Здесь светает* есть подфраза фразы *Здесь очень поздно светает*.

Возьмем теперь два разных слова x и y, входящих в некоторую фразу A. Мы будем говорить, что x подчиняет y, когда для любой подфразы C фразы A верно следующее: если y входит в подфразу C, то x входит в подфразу C. Например, легко проверить, что во фразе *Здесь очень поздно светает* слово *светает* подчиняет слова *очень*, *здесь*, *поздно*, слово *поздно* подчиняет слово *очень*.

Мы будем говорить, что слово x непосредственно подчиняет слово y во фразе A, если x подчиняет y и не существует слова z, отличного от x и y и такого, что x подчиняет z и z подчиняет y. Если x непосредственно подчиняет y, то это обозначается при помощи стрелки: $x \rightarrow y$.

Таким образом, для любых двух слов x и y фразы A мы можем определить, имеет ли место отношение $x \rightarrow y$ или нет. Это обстоятельство дает возможность поставить каждой фразе в соответствие некоторый ориентированный граф или, как часто говорят применительно к синтаксису, «дерево фразы». Так, фразе *Здесь очень поздно светает* соответствует граф:



В «Моделях языка» уже обращено внимание на удивительное совпадение подобных формальных схем со схемами школьного разбора.

---

[1] Ср. ряд статей, появившихся в чешских лингвистических журналах и посвященных обсуждению работ по моделированию, например: A. a M. Jaurisovi, Užití teorie množin v jazykovědě, SaS, 1960, 2; K. Berka, O některých aplikacích moderní formalní logiky v jazykovědě, SaS, 1961, 3; P. Novak, Některé otázky syntaktické analýzy, SaS, 1962, 1.

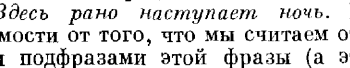
[2] L. Nebeský, O jedné formalizaci větného rozboru, SaS, 1962, 2, стр. 104—107. (К сожалению, краткое резюме на русском языке не дает никакого представления о том новом, которое вносится данной работой в теорию моделей).

[3] Ср. И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962, гл. III.

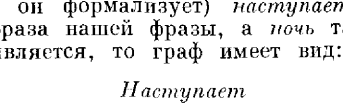
[4] В этой связи можно напомнить понятие «подконструкции некоторой конструкции», введенное Гринбергом (J. Greenberg, Essays in linguistics, Chicago, 1958).

Заметим теперь, что схема Небеского обладает большей гибкостью, чем схема, предложенная в «Моделях языка». Это особенно ярко видно на примере анализа двусоставных предложений. Возьмем фразу *Здесь рано наступает ночь*. В зависимости от того, что мы считаем отдельными подфразами этой фразы (а это зависит лишь от того, каким фразам ставится в соответствие законченный смысл), мы получаем разные деревья.

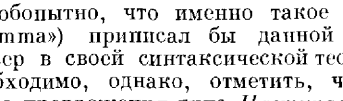
Если (как считает сам Небеский, следующий за Шмилауэром[5], теорию которого он формализует) *наступает* есть подфраза нашей фразы, а *ночь* таковой не является, то граф имеет вид:



Любопытно, что именно такое дерево («stemma») приписал бы данной фразе Теньер в своей синтаксической теории [6]. Необходимо, однако, отметить, что реально предложения типа *Наступает* возможны лишь как эллиптические, а, наоборот, предложения типа *Ночь* встречаются (ср. у Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, Все будет так. Исхода нет»). Если принять, что *ночь* есть подфраза нашей фразы, а *наступает* не является ею, то граф будет иметь вид:



Если же считать, что ни *ночь*, ни *наступает* не являются подфразами фразы A, что соответствует наиболее типичным ситуациям, то получим дерево такого же вида, как и в «Моделях языка»:



Четвертый случай, когда и *ночь* и *наступает* суть подфразы нашей фразы, приводит в рассматриваемой модели к дереву, противоречащему нашему интуитивному восприятию грамматических связей во фразе. Дело в том, что для лингвистической значимости модели требуется, чтобы дерево фразы (во всяком случае фразы, соответствующей простому предложению) было бы с в я з н ы м в следующем смысле: для любых двух разных слов x и y, входящих в данную фразу, должно иметь место $x \to y$ или $y \to x$ или найтись слово z, подчиняющее одновременно и x и y (см. «Модели языка», § 43). Это соответствует интуитивному требованию о наличии единого, не разорванного нигде дерева, соответствующего фразе.

Можно показать, что в рассматриваемой модели имеет место следующее утверждение, устанавливающее критерий связности дерева: д л я т о г о ч т о б ы д е р е в о ф р а з ы A б ы л о с в я з н ы м, н е о б х о д и м о и д о с т а т о ч н о, ч т о б ы с у щ е с т в о в а л о х о т я б ы о д н о с л о в о, п р и с у т с т в у ю щ е е в о в с е х п о д ф р а з а х ф р а з ы A[7]. Отсюда, между прочим, следует, что во фразе, дерево которой связно, ни одна подфраза не делится на две подфразы (а у нас *Ночь наступает* делится на подфразы *ночь* и *наступает*). Таким образом, если ограничиваться только связными деревьями, то мы должны выбирать для нашей фразы одно из трех первых из рассмотренных выше.

Определить, какое дерево лучше соответствует грамматическим фактам, можно только вне модели посредством анализа реального материала, но самое многообразие выводов в зависимости от разных исходных предпосылок — несомненное достоинство модели. Другое важное преимущество этой модели перед конфигурационной в том, что в ней для анализа некоторой фиксированной фразы не нужно оперировать всем множеством фраз, проверяя распределение некоторой группы слов, как это предлагается в «Моделях языка» (§ 39).

Основной упрек, который можно было бы сделать автору рассматриваемой модели, состоит в том, что, по-видимому, в его теории обращение к значению не вполне оправдано. Во всяком случае мы покажем, что можно построить систему понятий, аналогичную во всех основных чертах изложенной выше и не прибегающую к явному введению значения (неявное введение значения через понятие «отмеченной фразы» имеет место во всех моделях).

---

[5] См. V. Šmilauer, Novočeska skladba, Praha, 1947, стр. 224—225.

[6] См. L. Tesnière, Éléments de syntaxe structurale, Paris, 1959.

[7] В самом деле, пусть существует слово x, присутствующее во всех подфразах нашей фразы; тогда для любых слов y_1 и y_2 из определения отношения подчинения следует: x подчиняет y_1 и x подчиняет y_2, а значит дерево фразы связно. Достаточность доказана. Пусть теперь дерево фразы является связным. В силу конечности фразы найдется слово x, максимальное в том смысле, что для любого y верно: x подчиняет y. Но тогда по определению подчинения слово x должно присутствовать во всех подфразах фразы. Необходимость тоже доказана.

Итак, пусть нам задано лишь множество отмеченных фраз. Прежде всего введем понятие «несократимой группы слов», а именно такой группы, часть которой не может быть вычеркнута из отмеченной фразы без сохранения отмеченности (например, *к мосту*, *на стол*, *буду писать* и т. п.).

Будем теперь говорить, что *B* есть подфраза отмеченной фразы *A*, если *B* есть отмеченная фраза и *B* получена из *A* или из подфразы фразы *A* путем вычеркивания одного слова или несократимой группы слов. Отметим прежде всего рекурсивный характер этого определения: подфраза определяется как бы через подфразу. На самом деле здесь никакого круга нет [8]; сначала проверяются на свойство «быть подфразой» все фразы, полученные вычеркиванием одного слова из *A*, затем эти подфразы используются для определения новых подфраз и т. п. Представляется, что такая процедура исключит или во всяком случае сократит элемент случайности, из-за которого Небеский и счел необходимым обращение к смыслу [9].

Если понятие «подфразы» определено, то остальные определения могут быть использованы без всяких изменений, а именно в этих понятиях, как мы видели, основная ценность изложенной концепции. Заметим, однако, что, хотя «значение» или «смысл» фактически не обязательны для дальнейшего, саму идею конструирования синтаксических моделей, использующих понятие значения или смысла (ср. круг идей трансформационного анализа), следует всячески приветствовать.

Здесь следует отметить, что на самом деле Небеский исходит не из значения как такового, а из отношения включения на множестве значений (т. е. из того, что значение одной фразы есть часть значения другой фразы). При таком подходе, хотя на первый взгляд это и кажется парадоксальным, вообще говоря, необязательно знать, что точно значат (например, каким внеязыковым ситуациям и при какой их категоризации соответствуют) две фразы *A* и *B*. Заметим, что информанты (носители языка) гораздо легче и единообразнее дадут ответ на вопрос о том, составляет ли значение одной фразы часть значения другой, чем на вопрос о том, что точно значит данная фраза. В этой связи целесообразно напомнить идею У. Куайна [10], состоящую в том, что в лингвистике в сущности используется не значение как таковое, а понятия значимости и, что для нас здесь особенно важно, одинаковости значения (синоним в широком смысле). Между прочим, если отношение включения на множестве значений действительно определено, то отношение тождества значений может быть получено как производное. Все это показывает, что рассматриваемая модель заслуживает всестороннего обсуждения.

И. И. Ревзин

---

[8] См. по поводу подобных определений мою статью «О логической форме лингвистических определений» («Применение логики в науке и технике», М., 1960).

[9] Л. Небеский в личном разговоре согласился с тем, что «смысл» не является органическим элементом его конструкции, но одновременно он указал на случаи, анализ которых средствами его модели неосуществим без привлечения понятия «смысл», например, генетивные цепочки типа *Разберем функции матриц второго порядка*, где по предложенным определениям выделяется подфраза *Разберем функции второго порядка*, а значит слова *второго порядка* оказываются не подчиненными слову *матриц*, что противоречит смыслу. Подобные трудности должны повести к более глубокому исследованию модели и ее интерпретаций. Думаю, однако, что любая модель применима лишь к некоторой части всего множества фраз, так что применимость тех или иных моделей может служить характеристикой некоторого «подъязыка» (ср. плодотворность подобной идеи применительно к трансформационной грамматике).

[10] W. Quine, From the logical point of view, Cambridge (Mass.), 1953 (см. гл. «Meaning in linguistics»).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КООРДИНАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

20—24 ноября 1962 г. в г. Алма-Ата проходила координационная конференция, посвященная закономерностям развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху; в организации конференции приняли участие Научный совет по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», Институт языкознания АН Каз. ССР, Институт языкознания АН СССР и Институт русского языка АН СССР. Открывая конференцию, председательствующий президент АН Каз. ССР акад. К. И. Сатпаев подчеркнул, что в решениях XXII съезда КПСС со всей ясностью сформулирована роль общественных наук как научной основы руководства развитием общества; среди общественных наук важное место занимает и наука о языке. На конференции подлежит обсуждению ряд языковедческих проблем, имеющих теоретическое и практическое значение для развития советских наций в эпоху развернутого строительства коммунизма.

С докладом «Основные итоги разработки вопросов письменности и развития литературных языков народов СССР», подготовленным В. В. Виноградовым (руководитель), Б. А. Серебренниковым, В. В. Решетовым, Ю. Д. Дешериевым и П. Я. Скориком, выступил акад. В. В. Виноградов.* Отмечая, что решением проблем языкового строительства и полной ликвидации неграмотности в стране языковеды внесли неоспоримый вклад в культурное строительство, В. В. Виноградов указал, что при этом перекрещивались практические и теоретические задачи, связанные с изучением и развитием языков народов СССР. Показав, как по мере развития Советского государства происходило планомерное расширение функций национальных языков союзных и автономных республик, в связи с чем значительное развитие получили соответствующие литературные языки, докладчик осветил также широкие общественные функции русского языка и прежде всего — его функции языка межнационального общения народов СССР. Выполняя эти функции, русский язык не только служит важнейшим средством взаимообщения и сотрудничества советских народов, но и является источником обогащения и развития языков советских народов. Вместе с тем он сам обогащается путем заимствования из языков народов СССР слов, отражающих специфические явления в их материальной и духовной жизни.

В связи с рассмотрением проблемы взаимодействия языков В. В. Виноградов указал на то, что подвергнутая критике теория «слияния языков» И. В. Сталина находилась в противоречии с процессами развития языков народов СССР. Серьезные противоречия имелись и в постановке вопроса о скрещивании языков; отрицая возможность образования смешанного языка в результате скрещивания языков, И. В. Сталин ссылался на устойчивость грамматического строя и основного словарного фонда, но тем не менее он считал неизбежным слияние национальных языков в один общий международный язык в эпоху после победы социализма во всемирном масштабе. Вопрос о смешении и скрещивании языков в брошюре Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» представлен весьма упрощенно.

Неотложная задача советских языковедов — определить наиболее важные направления развития всех областей советского языкознания и, выдвигая те проблемы изучения языков в социологическом аспекте, которые непосредственно связаны с теоретическими и практическими задачами развернутого коммунистического строительства, внести посильный вклад в дело построения коммунизма в нашей стране. Признавая одной из наиболее важных комплексную проблему «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», В. В. Виноградов указал на необходимость углубленного исследования сложных процессов формирования и развития различных литературных (письменных) языков народов СССР; необходимо также изучение всех возможных форм (типов) взаимодействия языков,

* Доклад будет опубликован в № 3 нашего журнала за 1963 г.

наиболее разительные примеры которых дает советская действительность; важным представляется и исследование в социологическом аспекте связанного с проблемой взаимодействия языков вопроса о двуязычии. В докладе была выдвинута также задача всестороннего освещения опыта языкового строительства, языковой политики СССР.

Доклад «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР» (подготовленный И. К. Белодедом, Е. А. Бокаревым, С. К. Кенесбаевым, Н. Г. Корлэтяну) сделал акад. АН УССР И. К. Белодед (Киев). Русский язык, подчеркнул докладчик, способствуя формированию и обогащению национальных литературных языков народов СССР, активизирует также творческие лексико-фразеологические и структурно-образовательные средства и возможности всех этих языков. Для национальных языков Советского Союза характерен процесс постепенного накопления общей лексики, связанный с неуклонным сближением социалистических наций и систематическим заимствованием русских и интернациональных слов. И. К. Белодед охарактеризовал также своеобразное развитие двуязычия в СССР.

М. Д. Каммари (Москва), выступивший с докладом «Язык и нация», указал на необходимость комплексной работы языковедов и философов при изучении социальных аспектов развития языка, проблемы языка и нации. Касаясь работ по национальному вопросу, докладчик отметил, что здесь культ личности Сталина проявился главным образом в том, что положения, разработанные Марксом, Энгельсом и Лениным, приписывались Сталину. Мы писали об огромном историческом значении работ Сталина по национальному вопросу и по вопросам языкознания,— сказал докладчик,— но выдвинутые Сталиным положения об отношении языка к базису и надстройке ничего не давали языкознанию, тем более что при этом было запутано само понятие надстройки. Докладчик подверг критике то представление о развитии языков, согласно которому в языке не происходит никаких коренных качественных изменений, а совершается процесс постепенных изменений. В истории языка, как и в истории других явлений, развитие которых осуществляется путем постепенных количественных и частичных качественных изменений, нужно, как указывал Ф. Энгельс, выделять коренные повороты, узловые пункты, в которых начинается изменение направления и характера внутренних процессов.

Касаясь проблемы национальных языков в период развернутого строительства коммунизма в СССР, докладчик в качестве общей закономерности указал на развитие пользования двумя языками: одним — национальным, другим — интернациональным, каковым уже сейчас является русский; по вопросу о перспективах развития национальных языков он высказал предположение о возможностях дальнейшего сближения близкородственных языков на основе все более развивающегося регулярного повседневного общения носителей этих языков и отражения этого в языках и литературах.

На заседании секции русского языка (оно проходило как пленарное) было прослушано сообщение И. Ф. Протченко (Москва), который, рассказав о составленном в Институте русского языка АН СССР проспекте «Русский язык и советское общество» и отметив важность и актуальность этой темы, призвал участников конференции к детальному критическому разбору проспекта. С докладом «О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX в.», представляющим основные положения проспекта, выступил М. В. Панов [1].

После четырех пленарных заседаний, на которых были прослушаны вышеуказанные доклады, а также ряд выступлений по этим докладам (тематическое изложение выступлений см. ниже), работа конференции продолжалась на заседаниях секций.

На заседании секции тюркских языков с докладом «О современном состоянии и путях дальнейшего развития литературных тюркских языков», подготовленным коллективом ученых (Н. А. Баскаков, Ф. А. Абдуллаев, П. А. Азимов, М. Б. Балакаев, М. Ш. Ширалиев, Б. М. Юнусалиев), выступил руководитель темы Н. А. Баскаков (Москва); с содокладом о современном состоянии азербайджанского литературного языка выступил акад. АН Азерб. ССР М. Ш. Ширалиев (Баку). Доклад «О нормах казахского литературного языка», также подготовленный группой ученых (С. К. Кенесбаев, А. Н. Искаков, Г. Г. Мусабаев, Р. Г. Сыздыкова), сделал акад. АН Каз. ССР С. К. Кенесбаев (Алма-Ата).

На заседаниях секции отдельных национальных языков с давней литературной традицией были прослушаны доклады И. Р. Круопаса (Вильнюс) «О современном состоянии и путях дальнейшего развития литовского литературного языка», В. С. Расторгуевой (Москва) «О развитии современного таджикского литературного языка», А. Х. Каска (Таллин) «О современном состоянии и путях дальнейшего развития эстонского литературного языка», а также сообщения акад. АН Тадж. ССР Б. Н. Ниязмухамедова (Душанбе) «О развитии современного та-

[1] См. ВЯ, 1963, 1.

джикского языка», А. С. Мельничука (Киев) «О современном состоянии и путях дальнейшего развития отдельных национальных языков с давней литературной традицией», А. Я. Блинкиной (Рига) о развитии латышского литературного языка, К. В. Ломтатидзе (Тбилиси) «Развитие грузинского языка в связи с развитием грузинской социалистической нации».

Участники заседания секции младописьменных языков (финно-угорских, кавказских, северных и иранских) прослушали доклад П. Я. Скорика (Ленинград) «О роли родных и русского языков в культурном развитии малых народностей Севера» с содокладами Н. М. Терещенко (Ленинград) и Г. А. Меновщикова (Ленинград), осветивших современное состояние самодийских и эскимосских языков и их соотношение с русским языком в плане выполняемых ими общественных функций. С докладом «О современном состоянии и путях развития младописьменных языков финно-угорских народов», подготовленным группой ученых (В. И. Лыткин, Н. Т. Пенгитов, П. Н. Перевощиков, А. П. Феоктистов), выступил В. И. Лыткин (Москва).

В прочитанных на секциях конференции докладах были освещены важнейшие проблемы структурного и функционального развития литературных языков народов СССР; при этом выявилась общая направленность процессов, происходящих в разных национальных литературных языках.

В обсуждении докладов приняли участие языковеды исследовательских и педагогических институтов, университетов Москвы, Ленинграда, союзных и автономных республик и областей, ученые — представители многих наций и народностей Советского Союза. Почти все выступавшие говорили о роли русского языка как средства межнационального общения; А. Т. Борщ (Кишинев) подробно остановился на функциях русского языка.

Выступавшие в прениях участники конференции подробно осветили вопрос о влиянии русского языка на литературные языки народов СССР: на материалах таджикского языка построил свое сообщение Д. Т. Таджиев (Душанбе), на материалах литовского — И. И. Палёнис (Вильнюс), на материалах калмыкского — Ц. Д. Номинханов (Элиста); о фактах воздействия русского языка на казахский и узбекский языки сообщили Д. Т. Турсунов (Алма-Ата) и А. А. Азизов (Ташкент); Х. Х. Махмудов (Алма-Ата) проиллюстрировал фактами казахского языка появление под влиянием русского языка подвижного ударения в языках с постоянным ударением. П. Н. Перевощиков (Ижевск) осветил в своем выступлении историю воздействия русского языка на удмуртский в области синтаксиса, рассмотрев на большом фактическом материале заимствование отдельных моделей словорасположения, некоторых структурных моделей предложения и союзных средств образования сложных предложений.

Выступивший на заседании секции тюркских языков с содокладом о современном состоянии узбекского литературного языка Ф. А. Абдуллаев (Ташкент) осветил процессы, происходящие в синтаксисе узбекского литературного языка под воздействием русского,— изменения в глагольном управлении, развитие номинативных предложений, а также калькирование фразеологических устойчивых и полуустойчивых словосочетаний. Об аналогичных явлениях в синтаксисе словосочетаний туркменского языка говорил С.-Н. А. Атаев (Ашхабад); синтаксическим инновациям в казахском посвятил свое выступление С. Нурханов (Алма-Ата). А. К. Хасенова (Алма-Ата) поделилась своими наблюдениями над степенью проницаемости частей речи казахского языка для лексических заимствований из русского. Калькированию с русского и отличиям калек от заимствований посвятил свое выступление Л. П. Ефремов (Алма-Ата). О необходимости разграничивать мотивированные и немотивированные заимствования из русского говорили Б. Х. Балкаров (Нальчик) и А. Я. Блинкина; Б. Х. Балкаров указал, что изобилие немотивированных заимствований в таких функциональных стилях кабардино-балкарского литературного языка, как стиль газет, радио и публицистики, затормозило внутренние лексико-семантические процессы в этом языке.

Х. Р. Курбатов (Казань) полемизировал с тенденцией истолковать факты лексических заимствований, сохраняющих словообразовательные аффиксы, как проявление воздействия русского языка на морфологию языка заимствующего. Критически отнесся к тезису о проникновении в современные национальные языки СССР грамматических моделей русского языка Т. А. Бертагаев (Москва): он полагает, что, несмотря на отсутствие в языке той или иной модели, само состояние языковой системы может быть уже подготовлено к возникновению данной модели при известном воздействии со стороны русского языка. Е. И. Убрятова, присоединившись к высказанной в докладе С. К. Кенесбаева мысли о необходимости изучения диалектных основ литературного языка, подчеркнула, что такое изучение не позволило бы щедро приписывать влиянию русского языка, например, развитие сложноподчиненного предложения в тюркских языках или появление в них

синонимических рядов с дифференцированными значениями.

Б. А. Серебренников, говоря о практических целях, которые стоят перед конференцией, и останавливаясь на методике исследований по теме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», особо подчеркнул, что при изучении влияния русского языка на лексику и синтаксис национального языка необходимо выявлять частотность и сферу употребления лексического заимствования или синтаксической конструкции. Подобное исследование поможет устранить немотивированные заимствования и кальки; позитивные же результаты исследования должны получать соответствующее отражение в словарях, различных орфоэпических справочниках и грамматиках.

Характеризуя двуязычие как социально обусловленное явление в развитии многонационального общества, К. Х. Ханазаров (Ташкент) подчеркнул, что межнациональный язык не только не вытесняет национальный, а, напротив, является условием и предпосылкой его развития. Практика,— сказал П. Я. Скорик в своем докладе,— показала, что при объективно правильном разделении общественных функций родного и русского языков в жизни малых народов Севера эти языки дополняют друг друга и находятся в определенном взаимодействии. А. Т. Борщ полагает, что развивающееся в нашей стране национально-русское двуязычие помогает разрешить проблему «универсального второго языка». О взаимодействии языков Поволжья и Предуралья говорил Т. М. Гарипов (Уфа).

С. К. Кенесбаев в свою очередь указал, что без применения новых методов, в том числе сравнительно-типологического, невозможно добиться всестороннего и глубокого изучения закономерностей развития и взаимообогащения языков народов СССР.

Попытка некоторых исследователей классифицировать современные национальные языки Советского Союза, исходя из объема выполняемых ими общественных функций, подвергалась критике в выступлениях Д. Г. Киекбаева (Уфа), Х. Р. Курбатова, А. Ф. Патачоковой (Абакан), И. А. Андреева (Чебоксары), а также Т. А. Бертагаева, который полагает, что факт отсутствия, например, делопроизводства на языке той или иной автономной области никоим образом не влияет на развитие современного литературного языка данного народа, в частности бурятского. В то же время необходимость разработки социологической классификации языков была подчеркнута М. И. Исаевым (Москва). На необходимость полного учета роли родного языка в развитии мышления и овладении русским языком указал П. Н. Перевощиков, который в качестве практической задачи поставил проблему соотношения родного и русского языков при обучении в национальной школе, а также определение объема учебников по этим языкам для начальной школы. Н. Т. Пенгитов (Йошкар-Ола) остановился на вопросах методики сопоставительных грамматик.

В ходе дискуссии по этим вопросам выявилась необходимость уточнить понятия «второй родной язык», «слияние языков», «сближение языков». К. Х. Ханазаров предложил различать собственно лингвистический аспект и социологический аспект понятия «второй родной язык», причем на современном этапе развития социалистических наций СССР имеется в виду именно социологический аспект этого понятия, т. е. то место, которое занимает русский язык в развитии данной нации. Н. А. Баскаков полагает возможным говорить о слиянии близкородственных языков (ср. карачаево-балкарский). Ю. Д. Дешериев, уточняя термин «сближение языков», указал, что лингвисты понимают под ним прежде всего унификацию терминологии, разработку вопросов алфавита и усовершенствование орфографии, а также, добавил Н. А. Баскаков, появление общей лексики и сближение алфавитов, например тюркских. Проблема унификации алфавитов (особенно это касается алфавитов тюркских языков), как и вопрос о нормализации существующей орфографии, затрагивалась почти в каждом докладе и содокладах, а также в выступлениях Ф. К. Камолова (Ташкент), К. Убайдуллаева (Нукус), Ш. Ш. Сарыбаева (Алма-Ата). В выступлениях М. С. Сильченко и Ж. Д. Доскараева (Алма-Ата) отразилась дискуссия о диалектной основе современного казахского литературного языка.

При обсуждении затрагивался вопрос о перспективе развития национальных языков в далеком будущем.

Б. А. Серебренников, отмечая, что гипотеза Сталина о зональных языках, которые рационально и органично объединяли бы различные черты существующих современных национальных языков, утопична, подчеркнул, что то состояние национальных литературных языков, которое типично для их развития в настоящее время, продлится, очевидно, неопределенно долго. Аналогичного мнения придерживается и Х. Адибаев (Алма-Ата).

Высказываясь на поводу признания М. Д. Каммари «коренных поворотов в языке», В. П. Аврорин (Сиб. отд. АН СССР) предложил в развитии языков рассматривать две связанные между собой, но достаточно самостоятельные стороны — развитие струк-

туры языка и развитие общественных функций языка, или функциональное развитие языков. Функциональная сторона развития языка, несомненно, может претерпевать очень значительные качественные переходы, иногда и довольно резкие, что не свойственно структурной стороне развития языка. В свете этого разграничения станут ясны и другие проблемы, о которых докладывал М. Д. Каммари; в частности, о сознательном вмешательстве в процессы развития языка, как полагает В. П. Аврорин, можно говорить только в плане функционального развития языка.

Подвергнув, далее, критике положение Сталина о культуре, национальной по форме, т. е. по языку, В. П. Аврорин указал, что развитие языка и развитие культуры — это явления разного порядка, и те процессы, которые происходят в области культуры, нельзя механически приписывать развитию языка; в частности, когда речь идет о слиянии национальных форм культуры, едва ли правильно это переносить на языки.

Касаясь доклада М. Д. Каммари, Б. А. Серебренников сказал: в настоящее время в среде некоторых философов существует мнение, что вопрос о взаимоотношениях развития языка и надстройки, выдвинутый Сталиным в брошюре «Марксизм и вопросы языкознания», несуществен, так как ничего нового для понимания языка не дает. При этом забывают, что ситуация дискуссии 1950 г. была такова, что этот вопрос нужно было поставить уже потому, что вопрос о языке как надстройке был краеугольным камнем марровского учения. Но хотя и Сталин и Марр в данном случае в вопросе о взаимоотношениях языка и надстройки придерживаются, казалось бы, полярно противоположных мнений, тем не менее между ними есть точки соприкосновения: как Марр, так и Сталин понимали надстройку неправильно, упрощая эту сложную проблему. По мнению Б. А. Серебренникова, вопрос надо ставить так: может ли надстройка оказывать влияние на развитие языка? В определенных исторических условиях надстройка может оказать существенное влияние на отдельные стороны развития языка. Наиболее яркий пример тому — развитие языков народов СССР.

Касаясь утверждения М. Д. Каммари о возможности коренных поворотов в языке и критикуя упрощенную трактовку вопроса об эволюции языка у Сталина, Б. А. Серебренников указал, что есть более медленные формы развития языков и есть ускоренные периоды развития языков. Это не моментальные скачки и не революционные перевороты, а такие периоды в истории языков, когда язык начинает быстро изменяться (примером этого является развитие фонетики, например, французского или финского).

В обсуждении проспекта «Русский язык и советское общество», которое развернулось на заседаниях секции русского языка, приняли участие более 20 человек. В. М. Жирмунский (Ленинград), отмечая широкую актуальность поставленной на обсуждение темы «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», особо подчеркнул ее практическое значение в перспективе лингвистической работы, о чем может свидетельствовать проспект «Русский язык и советское общество». Ценность работы он видит прежде всего в историческом подходе к изучаемой проблеме. Многие из выступавших указывали на недостаточную разработку социологического аспекта проспекта: на необходимость разработки в проспекте темы «Язык и государство» указал И. Р. Емельченко (Гурьев), сделавший также замечания по разделу проспекта «Письмо» и по поводу определения нормы; Ю. Д. Дешериев подчеркнул необходимость предпослать исследованию специальное методологическое вступление, а также привлечь к разработке темы «Русский язык и советское общество» лингвистов национальных республик с тем, чтобы исследовать русский язык как средство межнационального общения. На фактах воздействия удмуртского на язык русского населения Удмуртии кратко остановился П. Н. Перевощиков. В. Н. Мигирин (Симферополь) высказал критические замечания по разделу «Синтаксис»; на неполноту проблематики в этом разделе, а также на неясность критериев выделения стилей русского литературного языка в проспекте указал также Х. М. Сайкиев (Алма-Ата). Предметом выступления В. М. Никитевича (Алма-Ата) явились предложенные в проспекте принципы разграничения словообразовательных и словоизменительных аффиксов, а также единиц, равных слову и морфеме. Е. А. Земская (Москва) сообщила, как протекает работа над темой «Словообразование». Она осветила наметившиеся уже в XIX в. тенденции развития языковой системы в части словообразования как исходный пункт исследования. Т. А. Бертагаев высказал свои замечания по разделу «Словообразование», предложив, в частности, различать сложные суффиксы и интерфиксы; он усомнился в надобности моделирования значений, а также в возможности подведения под понятие «агглютинативность» тех явлений словообразования в русском языке, о которых говорится в проспекте. О возможности употребления термина «агглютинативность» не в его этимологическом значении, а для обозначения лишь одного из признаков агглютинации (именно: взаимооднозначное соответствие обозначаемого и обозна-

чающего) говорил М. М. Копыленко (Алма-Ата). Д. Н. Шмелев (Москва) остановился на семантических изменениях, происходящих в лексике русского языка.

В своем заключительном слове М. В. Панов отметил: упреки некоторых из выступавших в том, что социологический аспект проблемы в проспекте отражен слабо, вряд ли справедливы. Новые работы по социологии современного русского языка должны быть основаны на подлинно научных лингво-социологических принципах. Задачи исследования «Русский язык и советское общество» заключаются в том, чтобы изучить самодвижение языка по его внутренним законам и на этом фоне показать воздействие на него социальных условий существования, которые оказываются не безразличными для развития языка (они тормозят одни языковые процессы, обостряют и ускоряют другие, а эти количественные изменения могут дать в конце концов и качественный результат, когда между замедленно эволюционирующими и ускоренно развивающимися участками системы складываются отношения, которых не могло быть при изменении языка в других социальных условиях). М. В. Панов на конкретных примерах показывает, что излагаемая концепция нашла последовательное отражение в проспекте. Он признает необходимым предпослать исследованию методологическое вступление, где должен быть освещен также вопрос о влиянии государства на язык, т. е. о языковой политике.

Отвечая на вопрос, что́ составители проспекта считают принципиально новым в разделе «Лексика», М. В. Панов особо остановился на впервые выдвинутом С. И. Ожеговым понятии «обиходно-разговорная речь». Обиходно-разговорная речь возникает в результате происходящего в современном русском языке процесса перетирания локально разобщенных типов речи в нечто общее, локально неограниченное. Изучить эту форму нашего общенационального языка, определить степень ее влияния на литературную речь особенно важно для настоящего исследования. Затем М. В. Панов критически рассмотрел высказанные в ходе дискуссии замечания по грамматическим разделам проспекта. Отстаивая свою трактовку агглютинативности русского языка, Панов возражал против требования объяснять социологически причины возникновения агглютинации. В вопросе о том, как изучать стили современного русского литературного языка, М. В. Панов считает возможным ограничиться крайними случаями, которые в весьма насыщенной мере воплощают закономерности данной языковой области; именно в качестве такого крайнего случая в области языка литературы взят язык лирического стихотворения. Отвечая тт. Емельченко и Копыленко, указывавшим в своих выступлениях на чрезмерную строгость понятия нормы, которого придерживаются составители проспекта, Панов подчеркнул, что для уяснения нормы необходимо широкое статистическое обследование материала с использованием специального аппарата математической статистики.

Подводя итоги работы секции русского языка и итоги обсуждения проспекта, В. В. Виноградов указал, что в труде под названием «Русский язык и советское общество» необходимо поставить прежде всего две очень большие проблемы, а именно воздействие русского языка на другие языки Советского Союза и изменения в самом русском языке, возникшие в результате взаимодействия его с национальными языками. В решении этих проблем, как и в изучении говоров с тем, чтобы установить связь между литературным языком и диалектами в советскую эпоху, необходимую помощь должны оказать языковеды национальных республик и те специалисты по русскому языку, которые работают в разных районах нашей страны и непосредственно связаны с местной русской языковой средой. Разработка проблемы соотношений стилей русского литературного языка, которая должна быть поставлена в таком труде в полном ее объеме, также не может быть осуществлена силами одного только института. Признавая справедливыми упреки в неполноте раздела «Синтаксис» в проспекте, В. В. Виноградов выразил также свое несогласие с главой, которая называется «Стилистика»: здесь нет разграничения функций стилей языка, стилей языка и речи, нет ясного представления, в каком соотношении стиль речи находится со стилем художественной литературы. При всей важности структурных изменений составители должны в этом труде очень четко провести линию социологическую. М. В. Панов согласился с необходимостью осветить в подготовляемом труде проблемы, указанные В. В. Виноградовым.

Работа этой широко представительной и авторитетной по составу своих участников конференции завершилась выработкой обращенных ко всем языковедам Советского Союза «Рекомендаций», в которых определены ближайшие задачи по координации деятельности научно-исследовательских лингвистических учреждений всей страны, направленной на всестороннее исследование новых процессов в языках народов СССР.

Принимая во внимание результаты развернувшейся дискуссии, в ходе которой выявилось, что разработка таких важных теоретических проблем, как язык и общество, закономерности развития и взаимодействия языков народов СССР, роль русского языка как языка межнационального общения, до настоящего

времени велась недостаточно, конференция считает, что комплексная проблема «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» должна занять значительное место в планах центральных и местных научно-исследовательских институтов. В качестве основных координационных тем выделены проблемы «Закономерности развития и взаимодействия языков народов СССР», «Русский язык и советское общество».

Большое значение конференция придает проблеме культуры речи — это относится как к русскому, так и к другим национальным литературным языкам; говоря о культуре русской речи, следует иметь в виду роль русского языка как языка межнационального общения.

В числе наиболее важных теоретических проблем, нуждающихся в новом освещении, отмечена проблема «Нация и национальные языки», которая должна решаться совместно с философами, историками и представителями других общественных наук в свете новых теоретических положений и задач, выдвинутых в Программе КПСС.

Было указано также на необходимость разрабатывать и упорядочивать научно-техническую и общественно-политическую терминологию; была отмечена и острая практическая потребность в организации работы по улучшению и усовершенствованию алфавитов и орфографий.

Конференция признала необходимым проведение специальной научной сессии, посвященной обсуждению вопросов, относящихся к проблеме двуязычия и характеристике основных типов двуязычия в СССР. Принято решение издать материалы конференции.

24 ноября, после окончания конференции там же состоялся III пленум Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций». В повестке дня пленума было обсуждение следующих вопросов: 1) итоги конференции, 2) о координации научно-исследовательских работ по комплексной проблеме, 3) о планах работы на 1963 г.

На пленуме был также прослушан и обсужден доклад члена-корр. АН СССР В. М. Жирмунского «О задачах работы Научного совета по теории советского языкознания».

Г. Ф. Благова (Москва)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25—26 сентября 1962 г. в Ленинградском университете состоялся второй семинар по исторической фонологии германских языков. Исследования в области исторической фонологии всегда связаны с изучением какого-либо конкретного языка. В то же время лингвист здесь неизбежно решает общие вопросы языкознания. Эта мысль, высказанная М. И. Стеблиным-Каменским (Ленинград) во вступительном слове, нашла подтверждение в ходе дискуссии.

Четыре доклада из семи были посвящены древнеанглийскому вокализму: «Проблема древнеанглийской системы кратких гласных» — И. П. Иванова (Ленинград), «К вопросу о кратких дифтонгах древнеанглийского языка» — С. Ю. Комиссарчик (Харьков), «Развитие древнеанглийского вокализма в кентском диалекте» — А. И. Степанавичус (Ленинград) и «К предыстории древнеанглийского вокализма» — Я. Б. Крупаткин (Севастополь). Естественно, что в центре внимания оказались вопросы древнеанглийской фонологии, и в частности проблема «кратких дифтонгов»: особые ли это единицы и дифтонги ли они? С. Ю. Комиссарчик думает, что «дифтонги преломления» — это особые единицы — фонемы, хотя и не уверена в их дифтонгическом характере. Напротив, И. П. Иванова и А. И. Степанавичус склонны считать их дифтонгами — двугласными комплексами, имевшими глайды. В связи с этим был затронут общий вопрос о месте диахронии в синхронном исследовании. А. И. Степанавичусу, по мнению которого при определении места фонемы в синхронном разрезе нельзя ограничиваться только синхронными данными, возражала И. П. Иванова, считающая необходимым полное отвлечение от истории. По-видимому, однако, данные истории (предыдущей и последующей) все же могут и должны привлекаться фонологом, и их роль особенно важна для отдаленных эпох, где сведения о синхронном состоянии никогда нельзя считать сколько-нибудь полными. Поскольку синхронный разрез связан с предыдущим и последующим разрезами причинной связью, установление такой связи и может как раз явиться одним из средств при определении места фонемы в системе.

Впервые при обсуждении древнеанглийских «кратких дифтонгов» были привлечены аргументы просодического порядка. Если древнеанглийский язык был моросчитающим [1], то отсутствие преломления долгих перед *r*, *l* можно объяснить невозможностью трехморовых слогоносителей в языке с просодической корреляцией геминации. Не вызвало возражений и предложенное автором этих строк объяснение фонологизации аллофонов

[1] См. «Brno studies in English», III, 1961, стр. 45—47

преломления: она связывается с появлением в языке сходных в фонетическом отношении «долгих дифтонгов» (из германских сочетаний *au*, *eu*, *iu*). По наблюдениям А.И. Степанавичуса, и в кентском диалекте развитие кратких дифтонгов параллельно развитию долгих, в чем он также видит довод в пользу их фонематической самостоятельности. Своеобразие кентского развития докладчик объясняет неустойчивостью системы гласных в отношении степени раствора. Слияние *eo* и *io* (как долгих, так и кратких) осуществлялось, по А. И. Степанавичусу, через «расщепление» дифтонгов на полугласный и гласный и связывается им с развитием др.-англ. *æ*$_1$, *æ*$_2$ > *i* и др.-англ. *æ* > *e*, а в конечном счете — с «общей тенденцией к сужению». Был затронут общий вопрос, с у щ е с т в у ю т л и « ф о н е т и ч е с к и е т е н д е н ц и и»? По-видимому, сказал М. И. Стеблин-Каменский, ссылкой на «тенденцию» мы ничего не объясняем, а лишь иначе называем известные факты. И все же не вполне ясно, можно ли окончательно сбросить «тенденцию» со счета. Выступавшие предлагали уточнить понятие фонетической тенденции.

В докладе «О причинной обусловленности германских умлаутов» В. Я. П л о т к и н (Новосибирск) исходит из того, что редукция безударных гласных не всегда ведет к фонологизации обусловленных ими аллофонов ударных гласных. Поэтому предложенные до сих пор объяснения умлаутов нельзя считать исчерпывающими: они указывают лишь на факторы, сделавшие умлауты возможными. Фактор же, включение которого сделало умлауты неизбежными на определенном этапе истории, обнаруживается в функционально-фонологической плоскости. Превращение корневой морфемы в важнейший компонент фонетической структуры слова и становление ее продуктивной модели «согласный — гласный — согласный» резко повысили информационную нагрузку на различительные средства фонологической системы. В докладе было показано, почему увеличение различительных мощностей в соответствии с потребностями лексической и морфологической систем не могло быть достигнуто путем обогащения консонантизма. Давление, исходящее из других ярусов языковой структуры, вызвало максимальное развертывание различительных средств, заложенных в вокалической системе, которая была относительно слабо развита в древних германских языках.

В оживленной дискуссии М. В. Р а е в с к и й (Петрозаводск) отметил, что достоинство доклада — в установлении взаимосвязи фонологической системы с другими системами языка, и предложил связать рассматриваемые изменения с изменением германского ударения, которое и привело к изменению строения слова и далее к потребности увеличить репертуар гласных. По мнению М. И. С т е б л и н а-К а м е н с к о г о, доклад содержит ценную попытку исследовать дистрибуцию и нагруженность фонем. На замечание М. И. Стеблина-Каменского, что переход от «слогового» строя к «морфемному» мог быть вызван редукцией, В. Я. Плоткин ответил, что перестройка слова, слога началась д о редукции безударных гласных, со сдвигом ударения; возможно, что редукция сама была результатом этой перестройки.

М. В. Р а е в с к и й посвятил свой доклад исследованию древневерхненемецкого передвижения согласных (положение релевантности). Корреляция звонкости могла в доверхненемецком смениться корреляцией придувания. При усилении придувания появлялась тенденция к совпадению глухих смычных с гоморганными щелевыми, и *t*, которое имело здесь зубную смычку, а не альвеолярную, как на севере, оказывалось под особой угрозой слияния с *f*. Сохранить противопоставление *t*—*f* можно было, лишь превратив шум придувания в свистящий призвук; при этом корреляция придувания заменялась корреляцией аффрицирования. Со временем такое же изменение произошло и в пучке *p*—*b*—*f*; пучок *k*—*g*—*χ* не знал этого развития в связи с ранним переходом *χ*- в *h*-. Изменение корреляции сопровождалось оглушением звонких смычных. Щелевые *f*, *f* либо сохраняются, как *f*, либо твердеют, как *f*, давшее к IX в. *d*. В итоге были перестроены группировки согласных (трехчленные пучки превратились в коррелятивные пары) и изменилось распределение смычных и гоморганных щелевых (аффрицированные превратились в сочетания смычного и щелевого). Схема, предложенная М. В. Раевским, в целом встретила одобрение присутствующих. Внимание привлек вопрос, насколько далеко можно идти в поисках п е р в о н а ч а л ь н о г о т о л ч к а в цепи изменений. В. Я. Плоткин полагает, что такие поиски должны простираться до выхода за пределы фонологии; он сослался на «увеличение лексики», сделавшее необходимыми изменения по умлауту.

Темой доклада М. И. С т е б л и н а-К а м е н с к о г о была «История альвеолярных и какуминальных в норвежском и шведском». Поскольку эти согласные никогда не обозначались особыми буквами, их история восстанавливается в основном путем внутренней реконструкции. Поворотным пунктом явилось расщепление раскатистого (нелатерального) плавного на две фонемы — альвеолярное и какуминальное *r*. Противопоставление альвеолярного раскатистого какуминальному создало предпосылки для синтагматического слияния этих раскатистых с последующими *t*, *d*,

n, *s*, *l* в новые альвеолярные и какуминальные фонемы и противопоставления альвеолярных и какуминальных дентальным. Таким образом, плавные включались в локальные корреляции, а переднеязычные расщеплялись на три коррелятивных локальных ряда — дентальные, альвеолярные и какуминальные. Вновь возникающие фонемы, однако, оказываются неустойчивыми и сливаются парадигматически с родственными фонемами. Так, какуминальный раскатистый стал сливаться с латеральным плавным, который был тогда согласным с наиболее широким фонологическим содержанием. Но поскольку его содержание стало сужаться в результате появления какуминального и альвеолярного латерального, это слияние осталось незавершенным. В общем плане М. И. Стеблин-Каменский приходит к выводу, что вернее было бы говорить не о существовании системы, а о стремлении к системе в языке. По мнению В. Я. Плоткина, материал доклада подтверждает тезис, к которому пришел и он, а именно — наличие общей тенденции к сокращению числа возможных групп согласных в исходе корневых морфем.

Следующий семинар по исторической фонологии германских языков намечено провести в Ленинграде в сентябре 1963 г.

Я. Б. Крупаткин (Севастополь)

С 27 ноября по 1 декабря 1962 г. в 1-м МГПИИЯ проходила межвузовская конференция на тему «Язык и речь». На конференции присутствовали представители 75 вузов и научных организаций (свыше 500 участников из 60 городов). Конференцию открыл ректор института Н. А. Сидоров. Во вступительном слове председатель оргкомитета конференции Л. И. Базилевич указал на важность четкого определения терминов «язык» и «речь» и выработки такого понимания их соотношения, которое соответствовало бы современному уровню развития языкознания.

На пленарных заседаниях было заслушано 26 докладов. В докладе акад. В. В. Виноградова (Москва) «Основные проблемы стилистики речи» предлагалось выделить в стилистике три соотносительных и пересекающихся уровня исследования: 1) стилистику языка как систему систем, или структурную стилистику; 2) стилистику речи, изучающую все виды и акты речевого употребления; 3) стилистику художественной литературы. В соответствии с тремя основными функциями языка — сообщением, общением и воздействием—В. В. Виноградов различает обиходно-бытовой, обиходно-деловой и художественный стили. Докладчик призвал изучать стилистику речи, а в ней — вопросы монолога и диалогической речи и их взаимоотношения. В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «О соотношении языка и речи» высказалась против противопоставления языка и речи, так как их свойства не контрастны, а взаимодополняющи. С точки зрения исторических изменений речь больше связана с экстралингвистическими факторами, нежели язык. В. Н. Ярцева считает, что необходимо учитывать количественный элемент, по-разному отражающийся в языке и речи.

В коллективном докладе Н. Д. Андреева и Л. Р. Зиндера (Ленинград) «Понятия языка и речи» содержалась конкретизация идей Л. В. Щербы, представляющая понимание языка и речи в виде четырехчастной системы понятий: 1) «речевой акт» как процесс говорения и понимания; 2) «речевой материал» как последовательность материализованных знаков, создаваемая в речевом акте; 3) «речь», представляющая собой теоретико-вероятностную абстракцию от речевого материала; 4) «язык» как теоретико-множественная абстракция от речевого материала.

Доклад Г. В. Колшанского (Москва) «О правомерности различения языка и речи» был посвящен анализу общетеоретических и конкретных лингвистических фактов, которые приводятся сторонниками разграничения языка и речи в доказательство реальности существования языка как абстракции, как идеальной системы, и индивидуальной речи как способа использования этой абстракции. Автор доклада пришел к выводу о неправомерности различения языка и речи как реальных данностей, но считает, что разграничение этих понятий может быть условно допущено в исследовательских целях. Е. М. Галкина-Федорук (Москва) в докладе «О языке и речи» рассмотрела проблему соотношения этих понятий в истории лингвистических учений — в гумбольдтианстве и соссюрианстве. Докладчик считает, что язык и речь соотносятся как сущность и явление и находятся в диалектическом единстве, проявляющемся в их взаимосвязи и различии. В. А. Артемов (Москва) прочитал доклад «О предложении и фразе». По мнению докладчика, предложение — это языковой вариант, в речи оно выступает как вариативная фраза. Докладчик предложил использовать при изучении фраз современные электроакустические методы.

В докладе Н. А. Слюсаревой (Москва) «О соотношении лингвистиче-

ского и экстралингвистического» смысл рассматривается как экстралингвистическая категория — связь между понятиями. Значение слова — это реализация смысла в системе языка. Ю. М. Скребнев (Уфа) в докладе «О правомерности противоположения понятий „язык" и „речь" предложил заменить дихотомию «язык» — «речь» дихотомией «язык» — «индивидуальный язык». В коллективном докладе Р. Г. Пиотровского, П. М. Алексеева и Е. А. Чернядьевой (Ленинград) «Статистика речи и закономерности языка» были сообщены результаты двух экспериментов статистического моделирования речи. Авторы высказали мнение, что так как система языка не поддается статистическому моделированию, целесообразно строить статистические модели речи, которые важны как для решения прикладных задач, так и для аппроксимации теоретико-множественных моделей языка к речевому материалу. Н. Д. Андреев и Л. Д. Андреева (Ленинград) рассказали в своем докладе об эксперименте установления системы языка на основе исследования статистических и комбинаторных свойств речевого потока, предпринятом на электронной быстродействующей цифровой машине. Алгоритмы статистико-комбинаторного моделирования осуществлены для ряда языков, и уже получены первые положительные результаты их реализации.

Р. М. Фрумкина (Москва) в докладе «От статистического описания речи к статистическим моделям языка» рассмотрела соотношение языка-системы, понимаемого как порождающее устройство, и речи как процесса функционирования языка. Она высказала мысль, что статистическое изучение речи имеет две цели: 1) изучение самой речи и 2) изучение порождающего речь устройства. Для описания языка автором были предложены три модели: а) «модель с внешней статистикой» (статистическая аппроксимация детерминированной модели), б) «модель с внутренней статистикой» (вероятностная модель) и в) детерминированная модель. Г. С. Клычков (Москва) в докладе «Статистика речи и структура языка» защищал необходимость разграничения языка и речи как двух разных предметов исследования лингвистики. Докладчик указал на то, что при статистическом исследовании речи не всякая информация есть информация о языке-системе; такой информацией является только функция от относительных вероятностей отклонения частот языковых единиц от своих вероятностей, т. е. вероятность второго порядка.

Б. М. Беляев (Москва) в своем докладе «О взаимоотношении между языком и речью с психологической точки зрения» пришел к выводу, что язык и речь обладают различной психологической характеристикой, что язык связан в мышлении с понятиями как первичными элементами человеческого мышления, а речь связана в мышлении с суждениями. В докладе А. Г. Волкова (Москва) «Язык и речь как объекты лингвистики» предлагалось заменить дихотомию «речь—язык» дихотомией «речь как совокупность отдельных актов общения и оптимальная структура (система), поддерживающая общие закономерности и определяющая направление их развития». В своем докладе «О системах воспроизведения речи-языка» Г. П. Щедровицкий (Москва), отрицая соссюровское понимание языка и речи, предложил в качестве предмета исследования первого порядка выделить семиотическую модель речи и в зависимости от этого определять все другие лингвистические предметы исследования.

М. М. Копыленко (Алма-Ата) в докладе «Об изоморфизме соотношений „язык — речь", „сознание — мышление"» выдвинул предположение, что изоморфизм этих противопоставлений неполон. В то время как мышление является лишь процессуальной формой сознания, речь — это не только процессуальная форма языка, но и объективизация, материализация языка. В коллективном докладе О. С. Ахмановой, М. В. Давыдова, П. Н. Денисова и Э. А. Афонова (Москва) «К вопросу о единицах языка и речи» была рассмотрена проблема приведения в соответствие единиц естественно-фонетического членения речевой цепи на слоги, слова, предложения и единиц семантической системы с традиционно-структуралистической системой соотношения единиц этического и эмического уровней. В своем докладе «Рациональная аспектизация языкового общения и ее значение для теоретического и прикладного языкознания» Э. П. Шубин (Пятигорск) подверг резкой критике традиционное противопоставление языка и речи и предложил различать лингвистику языковых знаков и коммуникативную лингвистику, изучающую деятельность «коммуникативных аппаратов». Главной и практической задачей языкознания является, по мнению докладчика, выработка наиболее рациональных способов включения людей и машин в языковое общение.

В. Г. Гак (Москва) в докладе «Грамматика языка и грамматика речи» высказался за необходимость различения этих двух типов грамматик. К грамматике языка автор относит структуры, значения и системные соотношения грамматических форм, а к грамматике речи — закономерности грамматической организации высказывания с точки зрения отбора языковых средств. В докладе В. П. Конецкой (Москва) «О взаимоотношении некоторых микросистем языка и речи» были изложены результаты иссле-

дования словосочетаний в терминах микросистем и микромоделей. Т. П. Ломтев (Москва) прочитал доклад «Взаимоотношение языка и речи». Докладчик предложил четко различать язык как область конструктивных лингвистических объектов и речь как область естественных лингвистических объектов; язык относится к речи как отображение к отображаемому. В конструктивных лингвистических объектах отражаются только те свойства речи, которые имеют существенное значение в данном конкретном отношении.

В докладе Т. С. Глушак (Оренбург) «Проблема разграничения языка и речи как двух объектов лингвистического исследования» было подвергнуто критике соссюровское соотношение языка и речи как социального и индивидуального; более правомерно противопоставление языка как «социально-всеобщего» и речи как «социально-индивидуального». А. А. Леонтьев (Москва) выступил с докладом «Языковая система и языковая способность». Считая двучленную дизъюнкцию «язык — речь как индивидуальный узус», характерную для младограмматического и социологического направлений, менее удачной, чем проводившуюся в школе И. А. Бодуэна де Куртене трехчленную (язык как абстрактная система, язык как функция индивида, речь как коллективный узус), докладчик предложил модификацию последней (языковая способность — языковая деятельность — языковой стандарт). А. И. Ефимов (Москва) в докладе «Задачи стилистического изучения работ и публичных выступлений В. И. Ленина» указал на необходимость создания словаря языка В. И. Ленина и фразеологического словаря. Весьма важным является статистическое изучение стиля, создание стилистики речи как научной дисциплины, введение ее в качестве обязательного предмета в средней и высшей школе.

В докладе В. Д. Аракина (Москва) «Язык и речь и их соотношение» подчеркивается неразрывность связи речи и языка. Если система языка выполняет организующую функцию для речи, то речь выполняет коммуникативную функцию, являясь средством общения. В своем докладе «Поток звуков и система фонем» О. С. Широков (Черновцы) изложил предпринятое им дистрибутивно-статистическое исследование потока звуков в албанском языке с целью установления системы фонем. Докладчик предложил считать системой языка в фонологии реляционный каркас абстрактных дифференторов, в то время как в речи выступают их физические субстраты.

Прослушанные доклады вызвали оживленную дискуссию и широкий обмен мнениями по вопросам как наиболее общего, так и частного характера. Основными проблемами, привлекшими внимание участников конференции, были: 1) правомерность разграничения языка и речи, 2) методы лингвистического анализа речи, 3) создание стилистики как научной дисциплины, 4) разграничение языка и речи в методике преподавания. В ряде выступлений подвергалось критике различение языка и речи как двух самостоятельных сущностей. По мнению И. А. Хабарова (Москва), объектом языкознания является не язык в его соссюровском понимании, а речь. Р. А. Будагов (Москва) возражал против разграничения языка и речи, поскольку это разграничение дублирует противопоставление общего и отдельного. Б. А. Серебренников (Москва) высказал мнение, что противопоставление языка и речи закономерно только в том случае, если под языком понимать крайне абстрагированную систему, максимально удаленную от речи. Указав на неправомерность этого подхода, Б. А. Серебренников призвал к более глубокому изучению понятия системы в лингвистике. К. А. Аллендорф (Москва) также высказалась против некритического перенесения в советское языкознание терминов и идей, возникших в социологической школе. А. А. Реформатский (Москва) отметил большое значение конференции в четком определении основных лингвистических понятий, унаследованных от В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра, которые, дав дефиниции языка и речи, на многие годы опередили развитие науки. Задача нашего времени — разработать идеи, выдвинутые этими «романтиками науки». А. А. Реформатский высказался за тот вариант уточнения понятий языка и речи, который был предложен в докладе Л. Р. Зиндера и Н. Д. Андреева.

Ряд выступавших предложили понимать соотношение речи и языка как двух уровней исследования: фонетический и фонологический (Р. Р. Каспранский, Москва), синтагматический и парадигматический (И. Б. Хлебников, Москва), сообщение и код (Ю. В. Рождественский, Москва) и др. О пользе разграничения языка и речи для методики преподавания языка говорили С. М. Бурдин (Ташкент) и Е. Д. Белый (Полтава). А. Я. Шайкевич (Москва) и В. А. Никонов (Москва) указали на необходимость шире использовать при изучении речи методы статистики. По вопросам стилистики выступали А. И. Ефимов, И. Р. Гальперин (Москва), М. И. Натадзе (Тбилиси), А. В. Степанов (Москва).

На заседаниях секции грамматики было заслушано 8 докладов. М. Д. Степанова (Москва) прочитала доклад «Грамматическая модель в языке и речи». Грамматическая модель определя-

лась как единый набор грамматических и лексических образцов в языке, находящийся в непосредственной связи с их конкретным словесным наполнением в речи. В докладе О. Д. Боева (Орел) «О взаимодействии коммуникативного содержания и грамматической структуры в сложном предложении» предлагалось различать уровень языка (структуру предложения) и уровень речи (формирование коммуникативного содержания). М. В. Раевский (Петрозаводск) выступил с докладом «Фонологический аспект проблемы речевых стилей». Докладчик рассказал о некоторых результатах наблюдений над фонологическими различиями речевых стилей в немецком языке. Он пришел к выводу, что в обиходном стиле отражается наличие слабых мест в системе эталона (в языке), что приводит к необходимости пересмотра нормы.

М. Н. Янкошвили (Тбилиси) проанализировала в своем докладе свойства слова как элемента структуры в языке и речи. По мнению докладчика, структура слова в языке слагается из фонологической, лексико-грамматической и семантической структур, в речи же происходит соединение этих структур, так что из множества оппозиций реализуется лишь одна — конкретный лексико-грамматический ифонологический образ. Доклад Л. М. Уман (Орел) «Об изучении некоторых грамматических категорий путем исследования интерференции в речи» был посвящен изложению результатов наблюдения над интерференцией в речи учащихся явлений родного и иностранного языков. Докладчик указала на необходимость учета этого явления в методике преподавания иностранных языков. В докладе Е. Н. Шерстовой (Орел) «Некоторые типы предложений и их место в языке и речи» рассматривались синонимы предикативных оборотов и соответствующих придаточных предложений в английском языке.

В своем докладе «Язык и речь как различные системы связи» Б. С. Хаймович (Харьков) подробно проанализировал концепцию языка и речи А. И. Смирницкого и предложил считать компонентами языка и речи: а) звучание, б) звуковой образ и в) отражение в сознании предметов и явлений внешнего мира. В. Л. Юхт (Харьков) в своем докладе «Предложение как единица речи и языка» высказал мнение, что неприемлемость соссюровского понимания соотношения языка и речи не является основанием для отказа от различения этих понятий. Докладчик поддержал ту точку зрения, что предложение как модель относится к уровню языка, а как конкретная форма — к речи. В прениях приняли участие Л. С. Бархударов (Москва), Т. С. Глушак, Н. Ф. Иртеньева (Москва), А. Н. Копылов (Рязань), Е. П. Логачева (Ленинград), З. М. Цветкова (Москва), Е. И. Шендельс (Москва). Все выступавшие высказались за необходимость разграничения языка и речи.

На секции лексики было заслушано также 8 докладов. В докладе А. А. Нелова (Грозный) «Проблема слова и значение слова в языке и речи» были рассмотрены понятия слова и его значения. Докладчик указал, что каждый акт общения оказывается стимулом изменения смысловой структуры слова. В своем докладе «К вопросу о лексико-стилистической дифференциации в языке и речи» И. М. Владер (Ленинград) изложила опыт названной дифференциации английских прилагательных на основе ряда дифференциальных признаков слова. Доклад М. В. Косиловой (Москва) «Стилистическая значимость языкового факта и стилистическое значение выразительного средства как соотносительные понятия стилистики языка и стилистики речи» был посвящен вопросам уточнения основных теоретических понятий стилистики.

И. М. Крейн (Одесса) в докладе «Проблема ассимиляции заимствований и разграничение языка — речи» сообщила о разработанной ею методике формального определения степени ассимиляции заимствованной лексики. В проведенном исследовании применялся метод корреляционного анализа. В докладе Н. И. Еремеевой (Ленинград) «Значение и употребление (сочетаемость) слова» рассматривалось грамматическое, лексико-грамматическое и лексическое значение слова в связи с его сочетаемостью. Ю. Л. Лясота (Владивосток) посвятил свой доклад «О специфике некоторых лингвистических понятий и терминов относительно языка и речи» детальной аргументации в пользу моносемантической природы слов языка и их полисемантизма в речи. В докладе Н. А. Шехтмана (Ленинград) «О методике изучения семантической структуры слова» сообщалось об оригинальной методике выделения семантических множителей слов путем анализа их совместной встречаемости в тексте.

В. А. Москович (Москва) в своем докладе «Взаимосвязь и взаимообусловленность значений слов в речи и в языке» предложил способ построения грамматики сочетаний смыслов при помощи ряда алгоритмических процедур анализа текста, выполняемых электронной вычислительной машиной. В прениях выступили И. Р. Гальперин, М. М. Копыленко, А. Н. Копылов, В. И. Корольков (Москва), Ф. А. Литвин (Орел), М. И. Натадзе, И. М. Сидякова (Вологда), С. М. Черемисина (Тула).

В развернутой резолюции, принятой

на конференции, отмечается актуальность обсуждавшейся проблематики. Одним из достижений конференции является критический подход к господствующему до сих пор мнению о правомерности соссюровского положения безусловной дихотомии язык — речь. Конференция показала, что дихотомия языка и речи в том виде, как она была предложена Ф. де Соссюром, не соответствует современному состоянию лингвистики. Многие участники конференции высказались за пересмотр этой концепции в том или ином направлении. С этой точки зрения конференция имела то значение, что на ней удалось вскрыть моменты, объединяющие стремления лингвистов самых различных направлений и школ уточнить теоретические вопросы соотношения языка и речи. Итоги конференции позволяют обратить также внимание на практическое преломление высказанных теоретических положений и в области преподавания языка.

В. М. Андрющенко, В. А. Москович (Москва)

27 августа — 1 сентября 1962 г. в Мюнхене (ФРГ) состоялся съезд Международной федерации по обработке информации. На съезде было прочитано 109 докладов по проблемам теории автоматов, применения вычислительных машин в обучении, машинного перевода и прикладной лингвистики. На секции лингвистического анализа и машинного перевода было прочитано пять докладов: О. С. Кулагиной (СССР) «Применение вычислительных машин для лингвистического анализа в целях машинного перевода» (доклад зачитал акад. А. А. Дородницын); С. Куно и А. Эттингера (США) «О различных путях синтаксического анализа»; К. Чулика (ЧССР) «Об одной аксиоматической системе формальных грамматик и языков»; М. Кэя (США) «Правила интерпретации — сообщение о проблеме машинного исчисления семантики естественных языков»; К. Г. Селлина (Дания) «Машинный перевод и/или международный язык?».

В. А. Москович (Москва)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. — 122—125.

Древнерусский язык. Практические и контрольные задания для студентов-заочников исторических факультетов университетов.— Ташкент, 1962. 102 стр.

Ежегодник общества родного языка. VIII.— Таллин, 272 стр. [на эст. яз.].

Исследования и материалы по украинскому языку. V.— Киев, 1962. 160 стр. [на укр. яз.].

Нахичеванская группа диалектов и говоров азербайджанского языка.— Баку, 1962. 326 стр. (Ин-т лит-ры и языка АН Азерб. ССР) [на азерб. яз.].

Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. Опыт словаря-справочника. (Под ред. С. И. Ожегова).— М., 1962. 184 стр.

Сборник трудов по языкознанию, 2(6). — 1962. 198 стр.

Славянский филологический сборник. Посвящается V Международному съезду славистов.— Уфа, 1962. 428 стр. (Башк. гос. ун-т).

Труды Одесского гос. ун-та. 152 — Серия филол. наук, 15—Вопросы славянской филологии. Языкознание.

И. Г. Голанов. Морфология современного русского языка.—М., 1962. 262 стр.

Н. И. Дукельский. Принципы сегментации речевого потока.

Д. Земзаре. Латышские словари (до 1900 г.).— Рига, 1962. 561 стр. [на латыш. яз.].

А. Кондратов. Математика и поэзия. (Новое в жизни, науке, технике. IX Серия. Физика и химия. 1962). 48 стр.

Г. И. Рихтер. Лекции по введению в языкознание. Раздел «Лексикология»: 1. Слово и его значение; 2. Лексические разряды слов, эвфемизмы, табу; 3. Терминологическая лексика, фразеология, этимология слов; 4. Словарный состав языка, лексикография. (Пособие для студентов-филологов). — Донецк, 1962.

Г. А. Шелюто. Русское ударение. Часть первая. (Пособие для студентов-филологов).— Ужгород, 1962. 272 стр.

Actes du colloque international de civilisations, littératures et langues romanes organisé par la commission nationale roumaine pour l'UNESCO l'Académie de la République populaire roumaine.— Bucarest, 1959. 304 стр.

Annali. Sezione slava. IV, 2.—Napoli, 1961. 184 стр.

Cahiers de linguistique théorique et appliquée. I.— Bucarest. 257 стр.

Culegere de studii de psihologie (Academia RPR, Institutul de psihologie), IV, 1962. 362 стр.

Československá rusistika. VII, 4.—1962. Стр. 193—260.

Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani.— Bucureşti, 1958. 946 стр.

Probleme de lingvistică generală.— Bucureşti, IV.— 1962. 204 стр.

Slavia orientalis, XI, 3.— Warszawa, 1962. Стр. 275—434.

Studia et acta orientalia. III.— Bucarest, 1961. 356 стр.

Zpravodaj. Místopisné komise ČSAV. III. 3—4. 1962. стр. 190—359.

E. Benveniste. Hittite et indo-européen. Études comparatives.— Paris, 1962. 142 стр.

A. Koutsoudas. Verb morphology of modern Greek. [Indiana University research center in anthropology, folklore, and linguistics, publication 24 («International journal of American linguistics», XXVIII, 4, pt. II)].— Bloomington, 1962. 72 стр. [ротапринт].

W. Mańczak. Phonétique et morphologie historiques du français.— Lódź — Warszawa — Kraków, 1962. 203 стр. [ротапринт].

CONTENTS

Articles: Editorial article; V. K. Žuravlev (Minsk). From the history of vocalism in Proto-Slavonic of the latest period; **Discussions**: V. I. Georgiev (Sofia). The Russian «akanje» and its relation to the phonemic system of Proto-Slavonic; V. G. Rudelev (Orenburg). On the phonological interpretation of the Russian «akanje»; A. V. Isačenko (Berlin). Binarity, privative oppositions and grammatical meanings; S. K. Šaumjan (Moscow). The engendering linguistic model based on the principle of the two-level analysis; N. A. Baskakov (Moscow). Some observations on the new classifications of the Turk languages; **Discussion of problems of Russian orthography**: M. V. Panov (Moscow). On the improvement of Russian orthography; **Materials and notes**: E. N. Prokopovič (Moscow). Functions of the iterative prefixless verb-forms in the Russian literary language of the second half of the XIX century; N. F. Alieva (Moscow). The interrelation of word-forming and syntactic functions of verbal affixes in Indonesian; E. A. Makajev (Moscow). Word-structure in the language of the earliest runic inscriptions; **Critics and bibliography**; **Letters to the editorial office**: I. I. Revzin (Moscow). Concerning one syntactic model; **Scientific life**: G. F. Blagova (Moscow). The coordinating conference devoted to the development-laws of literary languages of the peoples of the USSR in the Soviet epoch.

SOMMAIRE

Articles: Article de fond; V. K. Žuravlev (Minsk). De l'histoire du vocalisme en proto-slave de l'époque posterieure; **Discussions**: V. I. Georgiev (Sofia). L'«akanje» russe et sa relation au système phonémique du proto-slave; V. G. Rudelev (Orenburg). Sur l'interprétation phonologique de l'«akanje» en russe; A. V. Isačenko (Berlin). Binarité, oppositions privatives et significations grammaticales; S. K. Šaumjan (Moscou). Modèle génératif linguistique fondé sur le principe de l'analyse biphasé; N. A. Baskakov (Moscou). Quelques observations sur les classifications nouvelles des langues turques; **Discussion du problème de l'orthographe russe**: M. V. Panov (Moscou). Sur l'amélioration de l'orthographe russe; **Matériaux et notices**: E. N. Prokopovič (Moscou). Fonctions des formes itératives verbales sans préfixe en russe littéraire du deuxième moitié du XIX siécle; N. F. Alieva (Moscou). L'interrelation des différentes fonctions (fonction de formation de mots et fonction syntactique) des affixes verbaux en indonésien; E. A. Makajev (Moscou). La structure du mot dans la langue des plus anciennes inscriptions runiques; **Critique et bibliographie**; **Lettres à la rédaction**: I. I. Revzin (Moscou). À propos d'un modèle syntactique; **Vie scientifique**: G. F. Blagova (Moscou). Réunion de coordination consacrée aux lois du developpement des langues littéraires des peuples de l'URSS pendant l'époque soviétique.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

ИСПРАВЛЕНИЯ

в журнале «Вопросы языкознания», № 2, 1963 г.

На стр. 66 в схеме следует читать: товарищ.

На стр. 153, строки 5—6 сверху левой колонки следует читать: А. Я. Блинкэной.

На стр. 153 строку 33 снизу правой колонки следует читать: А. Я. Блинкэна.